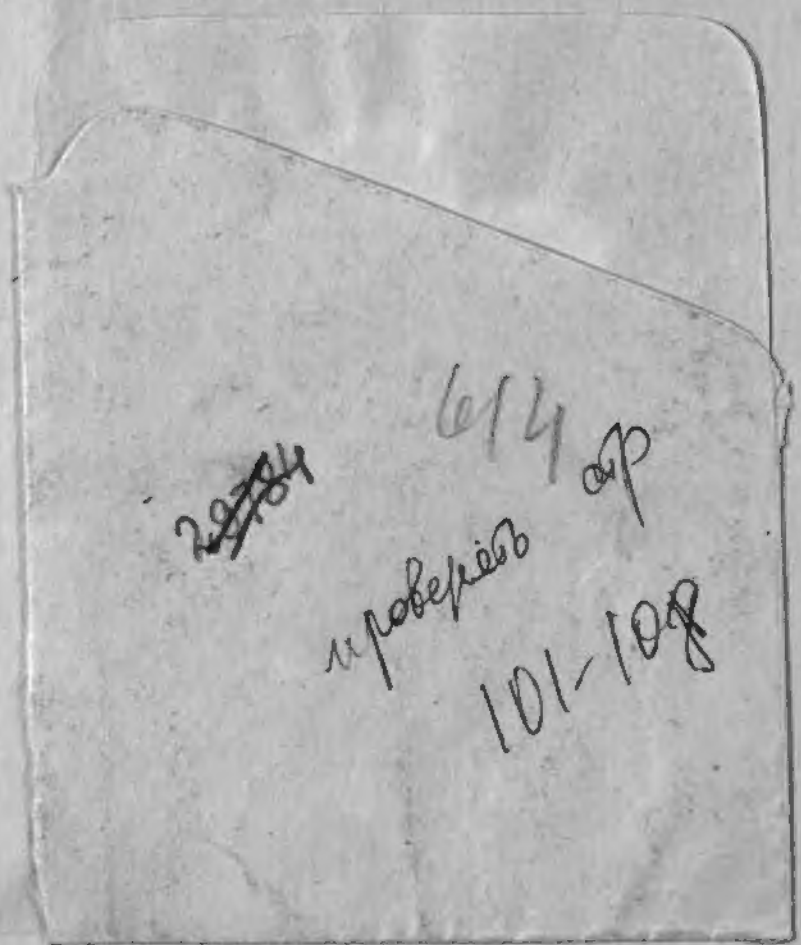
Сибирские
огни.

1924 5.



614

~~29784~~

проверить стр

101-108

СИБИРСКИЕ ОГНИ

5

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

1924

СОДЕРЖАНИЕ.

		Стран.
П. Долецкий.	*Зеленый клин.*—Повесть	3
Л. Мартынов.	*Адмиральский час.*—Рассказ в стихах	53
О. Рунова.	*Опара.*—Повесть	58
	СТИХИ: Георгия Павлова, Мих. Скуратова, П. Драверта, Серг. Вологодского, Н. Изонги, Кс. Львовой	95-100
Бор. Шумяцкий.	*Первый Сибирский Совет Рабочих и Солдатских депутатов 1905 г.*	101
Як. Шумяцкий.	*Туруханка.*—(Очерк по истории политической ссылки в Туруханский край)	113
Б. Кубалов.	*Декабристы и амнистия*	143
Н. Бакай.	*К биографии М. А. Бакунина.*	160
Д. Чудинов.	*Забытый предтеча.*	170
В. Васильев.	*Северный морской путь*	190
В. Правдухин.	*Художественная литература за семь лет.*	213
Г. Вяткин.	*Лицо интервенции.*	228
Е. Яницкий.	*Памяти В. В. Сапожникова*	235
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ		238-252
Содержание пяти №№ „Сиб. Огней" за 1924 год и библиографический указатель		I—VIII
ОБЪЯВЛЕНИЯ.		

Гублит 3920, от 23 декабря 1924 г. Зак. № 689. Тираж 2000 экз.

Г. Новониколаевск. Тип. Сибкрайсоюза. Советская, 6.

С. С. С. Р.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

05(57)
С-34

Сибирские Огни

Художественно-литературный
и научно-публицистический
журнал

Сибревком

ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В ДВА—ТРИ МЕСЯЦА

№ 5
Ноябрь—Декабрь
1924

Третий год издания

41656

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ПЕРИОДИКИ

СИБИРСКОЕ
КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НОВОНИКОЛАЕВСК

85(52)
С-34

Зеленый клин.

Павел Долецкий.

I.

Бухта в июне—самое мягкое масло. Почти пуста. Только китайцы—юли. И паруса у них квадратные, белые, черные и коричневые.

Но сейчас запахнулась ветром у Чуркина шкуна и вдали—точно облако, упавшее и застрявшее между берегами.

Вечером часто туман. С юга накатывается он низко по земле. Вкрадчивый, неторопливый. Зверь о тысячу ног.

Тогда сразу холодно. Белизна женских платьев зябка. Хочется им запахнуться в какое-нибудь пальтишко, да нет под рукой. Не итти же домой.

Фонари сочатся молоком. Можно подставить котелок и набежит полный.

Председатель Совдепа задумчиво ходил по кабинету, длинной, уже успевшей погрязнеть комнате, в которой стояло два длинных стола, накрытых синей оберточной бумагой, и несколько стульев...

Председатель—студент. Но забыл о книгах. Хороша, конечно, толстая книга и горение мыслей в тишине рабочей комнаты. Так иногда в степи, в безлюдии запылает заласканный солнцем стог душного сена.

Но и жизнь—книга. И разве не радостно перелистывать ее своими руками? Есть голодные в жизни. Может быть в них что-то от ребят: скорее долистать до конца. Но это не любопытство, это—голод.

Председатель, товарищ Сух, небольшого роста, черен. Голос глух. Оттого редко говорит на митингах. Ведь обаяние голоса для многих красивее самой правды.

Но глаза спокойные и далеко запавшие,—хороши. У много думающего человека глаза всегда спокойны.

Он ходит по кабинету, засунув руки в карманы, в черной рубашке, перепоясанной шнуром.

— Так ты думаешь, что это уже окончательно.

Высокий юноша, Ланковский, у окна кивает головой.

Из окна видна часть бухты. И как раз та, в которой сереют японские крейсера... На корме одного—большое полотнище с непропорциональной красной кляксой.

— Какой скудный флаг придумали. Могли бы устроить синее поле. Ну, вот из-за закроя золотой кусок солнца, и тонкие лучи расчесывают воздух,—говорит юноша.

— Да,—неопределенно соглашается Сух.

Он вынимает из кармана помятую бумажку, прочитывает:

Командующий японскими экспедиционными войсками, генерал Ооий, на хорошем русском языке извещает население, что императорское японское правительство приходит на помощь дружественному русскому народу и не допустить междуусобицы. А также, соблюдая интересы иностранных подданных и т. д. и т. д.

Ланковский садится на подоконник.

— Я думаю, что наши рабочие безнадежны в полную меру. Какие они здесь пролетарии. У каждого земля, дом. Посмотрит на крейсер. Подумает, как аппетитно шлепнется снаряд в Рабочей Слободке... Ну и все. Вот разве грузчики...

— Знаешь, Вася,—говорит Сух, подходя к нему и трогая за плечо,— это все ничего. Это меня нисколько не тревожит. Наш Зеленый Клин не боец. Борьба разрешится там. А мы... а мы здесь только почетные жертвы.

— Ты никогда не испытывал жути, Сух? И даже в пятом году под сплошными пулями?

Сух пожал плечами.

— Это не геройство. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь считал меня героем. Геройство там, где напряжение и победа. Мне же просто несвойствен страх.

Он смотрел на Ланковского спокойными, немного мечтательными глазами, худое лицо его неуловимо покрасивело.

— Бояться... боятся чаще всего те, у которых что-то есть, а вдруг может не быть. А у меня какие привязанности, Вася? За мной ничего нет. Прошлое .. шаром покати: пустырь. У меня только будущее. И потом, я, давно еще в детстве, усвоил удобную привычку: я решил раз навсегда, что живущий не должен ничему удивляться, ко всему быть готовым... Наш опыт слишком мал... Бояться... Боязнь странное чувство. Иногда я его не понимаю даже и в других.

Солнце широкое, темно-золотое солнце мимоходом проникло в окно. И по-новому торжественно стало в неприглядной комнате. Точно цветы пепельные, пунцовые и розоватые, точно оборванные лепестки лежали небрежные бумажки. На стенах веселые торопливые узоры. Шопотком переливаются тени.

Сух закурил трубку.

Солнце упало на далекие вершины. Пронизала его одна острая и прямая и из раны выливало фиолетовое молоко.

— Но будет...—опять заговорил Сух дымовитыми густыми словами,— разболтались. Не люблю героев.

Он улыбнулся, и странное какое-то впечатление от этой улыбки. Точно заморская, радужная птица опустилась в наш хмурый заселок. И не разберешь, что суть картины: эта ли залетчица или хмурь.

Небо на западе тонкое, вот-вот куда-то совсем ухнет... бледно-голубое и бледно-розовое. Как вода, разлитая в цветные стаканы. Низко повисла звезда... светло-желтая, в добрый кулак величиной. И вся трепетная. Через полчаса над Крестовой горой ее не разгадаешь: то ли она электрический фонарь, то ли рядом с ней все звезды. Трепещет. Как важная породистая курица трепыхается всеми перьями в небесном песке.

Ланковский выглянул из окна, вздохнул.

— А меня вот привязывает все. И вода, и звезды, и человек. Но расстаться не жалко: знаю, что наше поколение какой-то гастролер на земле и поэтому на все это смотришь, как на чужое.

— Ну, пойдем, что-ли,—вытряхнул золу Сух.—Завтра жду генерала Евсеева. Хочет востребовать трибунал. Старик уже. Не глуп. Не разберешь: от сердца или от безработицы. Но это не важно.

Нахлобучил студенческую фуражку с линялым околышем, надел пальто, застегнулся. Оглянул комнату.

— Пошли.

В общей канцелярии еще работали. Постукивали измученные машинки хриповатыми басками. Две лампочки горели над столами. Пахло табаком, шинелями.

На скамейке у под'езда сидели, переговаривались, лущили семячки и китайские орехи.

Сух и Ланковский смешались с прохожими.

Улица движется ровным тихим потоком. Человеческая река самодовольно созерцает, говорит и смеется. Грязно. Ветер, выскакивая из поморских переулиц, гоняет кучки едкой пыли, собирает в горсточку, рассыпает, точно хозяйка добротно солит пищу. И грузовики, громыхающие цепями, и легковые -невыносимы вонючим перегаром. А из некоторых дворов несет кисло-сладкой удушливой вонью. Дышишь и как будто легкие обливаешь помоями.

Но гуляют. Медленно, важно. Парами, группами, в одиночку.

Сух думает, как они довольны и спокойны. Как они прекрасно презрительны к запломбированным вагонам. А что, если бы ахнуть залп?

От здания Земской Управы прошел патруль красной гвардии. Парни. Кто в рубашке, кто в шинели без кушака и пуговиц. В сапогах, в обмотках, а там двое отшлепывают босиком.

Улица смотрит. Весело. Смешки.

Но старые, любившие славу, думают огорченно: «И этим, негодяи, заменили нашу великую армию. И это все, что осталось от опоры русского народа и государства. Где же разумные, самоотверженные сыны своей родины? Но придет час.. Мститель уже поднимается.. да, да».

На обрывистом берегу Амурского залива, около Семеновского базара, где пристань шаланд и рядом купальни—прохладно и пустынно. Только небольшие группы мужчин над женскими купальнями. Но в погасшем воздухе уже не разглядеть купальщиц; только плеск и веселый смех.

Сух сел на скамью, набил трубку. Ланковский опустился рядом.

Обнаженный, сжатый в золотое лезвие месяц и звезда та, светло-желтая, с кулак величиной. Вода тихая, мягкая. От нее веет теплом. Какая приманчивая...дорога!

— Когда я прихожу сюда вечером,—говорит Ланковский,—у меня всегда одно желание.., Сесть в небольшую лодочку, окрылить ее парусом и туда и туда... Вода голубая, потом оранжевая... и, наконец, черная. И только из-под кормы веер фосфорического света. Туда, туда... исследователь, открыватель.

— Тебе сколько лет?—задумчиво спрашивает Сух.

— А что? Разве эта лодочка не стала у нас кораблем революции

Сух улыбнулся.

— А все-таки скажи.

— Девятнадцать,

На юге берега раздвигались и пропадали. Стемнело. Но вода еще светила, как перевернутым ковшем, накрытая небом .. Переплески купальщиц стихли. В стороне стучали шаги по доцатой лестнице, закинутой с берега на скалы...

— Пойдем,—сказал Сух.—Будет, отдохнули.

II.

Красный мыс.

Красный мыс может быть по двум причинам.

Берег обрывается грядою скал... И ползают в них красные прожилки. Человек любит подмечать мелочи и определять ими целое.

Но красный может быть и потому еще, что рядом, на соседнем выступе, бойня.

Около Красного мыса, прорвав ущелье,—речка. В сущности ручей, пересыпанный мелкими камнями. Всегда прозрачный и звучный. В густой зелени. Звездолапые клены, пятнистые ясени, бархатные дубы разбежались по перекатам сопок.

Красный мыс по колена в воде. Морщинистый, бугорчатый. Ступни выступают редко, а в иные приливы волна хлещет высоко за бедра. Чтобы сбежать к морю ущелистая тропинка Цепляешься за скалы, стволы, за ветки, прыгаешь, как коза. Берега засыпаны гладкими камнями: широкими, плоскими, круглыми, как пухлые хлебы. Волны непрестанно шелестят ими. Но на заре море неподвижно. Ясная дорога. У берега подмешано немного серебра. А дальше голубель до того кроткая, что хочется верить в святость мира и самому стать святым.

На заре по ущелистой тропинке, как коза, сбегает Муза...

Она небольшого роста и волосы ее, черные, всегда затянуты в крепкий узел. Лицо продолговатое и нос с горбинкой. И глаза пристальные черны, остороженные колючими ресницами.

Думается, что давно когда-то, по берегам другого моря бегали такие же девушки... на которых жизнь положила свою горячую лапу.

На заре, зябко запахнутая в полосатый халатик, как коза ущелится она по тропинке. Пальцы, похолодевшие на росе, цепляются за скалы, руки ловят ветви.

На берегу сбрасывает халатик. И он падает, как оглушенная птица, раскинув крылья.

И тут все видят: и скалы, и деревья, и жадные глазастые крабы, которые подбегают на заре к самому берегу, что хороша Муза, очень хороша вся.

На заре, когда многие вредные глаза спят, Муза любит побегать по берегу. Любит сорвать несколько горстей белого и пунцового шиповника и, садясь на поезд, сунуть его за лиф.

На краю утеса дом. Свежей стройки. Вокруг расчищена небольшая площадь; пара шагов в сторону и густота.

Широко из окон дома. Залив, разинутый в море. Восход и закат.

У Музы большая комната... уставленная простыми вещами.

В доме живут Муза и отец ее, смотритель бойни. Мать умерла. Муза, занятая в гимназии, а вечерами на службе, ведет хозяйство при помощи девушки Тани. Муза здесь, на берегах Тихого океана, два года. Родилась и выросла на Черном море. А отец ее, Архип Афанасьевич, несет на своем лице свирепую печать юга.

С революцией Архип Афанасьевич не мирился. Большевиков ругал.

— Ведь ты же крестьянин,—улыбалась Муза,—твои братья пашут, а в деревне и ты пахал.

— Дура,—сердился Архип Афанасьевич,—так что-же с того, что крестьянин. Да честный, а они подлецы.

Хода его мыслей Муза не улавливала, но возражала:

— Ну уж, все и подлецы.

— А разве не подлецы, когда сделали такое с Россией... Всех уравнять... У всех отнять. Да как отнять, когда я своим горбом...

— Да что у тебя отнять?—смеялась Муза.—У тебя, если и есть имущество, то в голове. Такого имущества не отнимают.

Беседа умиротворялась.

— Но связалась ты с ними напрасно,—говорил он.—Союзники никаких большевиков не потерпят. Подожди только.

— Но что делать, папа. Возвращаться к старому?

— А то как-же. Плохо тебе было в старом?

— Мне-то, может быть, и хорошо, да другим плохо.

— Кто работал,—заявлял убежденно Архип Афанасьевич,—тому не было плохо... А пьяницам, да лежебокам... А теперь вы хотите всех уравнять... Да никогда этого не будет. Умные всегда будут все равно сыты, а дураков все равно запрягут.

— Все это, может быть, и правда,—тихонько говорила Муза,—но надо-же итти вперед, папа. Нельзя же все на месте топтаться.

— Разваливать, жечь... это называется итти вперед. Как колода...—выразительно стучал он пальцем по лбу.

Но разноголосица не влияла на их отношения.

Втайне Архипу Афанасьевичу было даже приятно, что его дочь—большевичка, и иногда в некоторых кругах позванивал Музой, любуясь неподдельным ужасом слушателей.

Красный мыс в 14-ти верстах от города.

В двух минутах ходьбы по тропиночке в чаще ореха и винограда—полотно железной дороги и небольшая площадка. Дачные поезда останавливаются на площадке. Первый утренний поезд идет в город в 6 часов, последний из города в 12 ночи. Муза ездит вторым поездом. Но она несчастлива, всегда опаздывает: платформа так близко, чего торопиться. Таня взбирается на вершинку ближайшей сопки и кричит: «Барышня, Музочка, бегите, уже показался!»...

Муза знает, что от поворота, с которого виден поезд, до мыса. поезду пять минут. Значит, в распоряжении еще три минуты. Надо приколоть передник, заколоть волосы, зашнуровать ботинок.

Но вдруг гудок.

Тогда вскакивает возмущенная и в отчаянии несется. Но поезд стоит всего секунду. Хорошо, если удается вскочить в последний вагон.

— Что за нелепость,—раздумывает она, тяжело дыша,—почему это я всегда опаздываю? Нет, нет, это уже в последний раз.

Поезд идет по обрывам, над самым морем. Смотреть из окна—не видно земли, только море, но и море внизу... точно летишь, тихо погудывают чугуны колес и скреп.

Муза всегда раскачивается на подножке. Обдаваемая ветром и размашистым дымом, а в груди бегает маленькая ящерица, пестрая, с тяжелым хвостом и греется на каждом камне и блестит глазком на каждую траву.

— Как хорошо жить и узнавать... Жить и узнавать,—шепчет она в такт колесам.—Жить и узнавать... работать и жить... ре...во...лю...ция... Как хорошо, что революция...

Но с левой стороны голый гранит: разорвали сопку динамитом для того, чтобы уместить полотно. Посмотрит Муза туда и там хорошо. Солнце, как по льду, скользит по граниту. И душа ее—это ковш, налитый золотым вином.

— Здравствуйте, тов. Ланковский,—говорит Муза, останавливая его на углу Китайской улицы.—Хотите, я вам сообщу приятную новость. Да снимите вашу шляпу.

— Приятную? Это хорошо. Но сначала я вам сообщу печальную. А хорошую на закуску, согласны?

— Печальную?—на минуту задумывается Муза,—это не политическое-ли?

Ланковский кивает головой.

— Тогда утешьтесь, тов. Ланковский, это новость не печальная. Революция не может иметь печальных вестей.

— Не может? А если революцию раздавят?

— Революцию раздавить не могут. Ее могут сковать и посадить на цепь в каземат. Но, дорогой друг, у ней всегда будут поклонники, она обладает секретом вечной юности и счастливец когда нибудь непременно собьет все девять замков с ее дверей. Памятуя об этом прекрасном будущем, самое черное настоящее нам не будет черно.

— Вы очень горячи, тов. Муза.

— А я не знаю, зачем мне быть очень холодной?.. Право, так надоела тепленькая слякоть. Дайте пожить сердцу.

Она пошла.

— А что же новость?

— Теперь не скажу: сердита.

Муза сидит в гимназии на задней скамейке.

Еще неделя... А жаль, все-таки жаль зеленого платьица с черным монашьим передником. Наплечья передника широки и напоминают свернутые крылья...

— ...Ах, если бы вы все, мои товарки, хотели лететь!

Город беспечен и любопытно весел. На большевиков смотрят, как на явление курьезное и немысленное. Там, в России, пройдет еще неделя, другая, конечно, сбросят. К какой борьбе годны эти голодранцы со всего свиту? Никто не сопротивлялся, вот и обнаглели...—Знаете, беда в том, что каждый думает про другого: вот Петр Петрович восстанет и сбросит, а уж я его поддержу. А Петр Петрович думает то же про Ивана Ивановича: вот подождите—Иван Иванович уже готов. А большевики, благодаря этакой неорганизованности, нашей вечной славянщины, и расселись. Ну, а здесь, во Владивостоке, все обойдется и так. Иностранцы никаких социалистических опытов не допустят.

Но все-таки в защиту от ночных налетчиков домовладельцы организовали Лигу Охраны и самозащиты. Ночными сторожами были приняты безработные офицеры. Совдеп разрешил им оружие.

Муза обедала в знакомой семье. Глава, старый офицер, служил в Лиге ночным сторожем. За столом рассказывал новости. Музы не стеснялся, потому что считал ее большевизм ребячьей блажью.

Вопрос был так ясен.

Была Россия мощная, страшная врагам. Единая, неделимая. Большевики вонзили нож в Россию и, думая, что мертва, как падаль стали кромсать. Но нет, ошиблись. Великая страна никогда не умрет. Затмение народное пройдет. Народ увидит, где его истинные друзья.

Вопрос был так ясен. Любовь к отчизне так почетна и сладка.

И когда Муза с горячностью пыталась вставить слово, он обрывал ее:

— Молода еще, матушка, молода.

Но в конце, когда бывали высказаны все новости и построены все соображения, Муза скатывала пару тугих хлебных шариков и, гоняя между посудой:

— А все-таки я вас не понимаю, Леонтий Порфирьевич, или вернее, мне кажется—вы сами не понимаете себя.

Поднимала на него глаза и тихо улыбалась.

— Ну-ну?—вопрошал Леонтий Порфирьевич, делая вид, что он совершенно беспристрастен... и в настоящую минуту вопрос для него действительно под сомнением.

— Ну, почему вы не принимаете большевиков?

— Да, милая, что мне делать у них? Разве сапоги шить для Красной гвардии.

— Да разве Красной гвардии руководители не нужны? Почему не поможете?

— Пошел бы, милая гимназисточка, пошел. Да вот скажите: вы поступили бы механиком на пароход, где капитаном сумасшедший?

После обеда Муза шла в редакцию «Красного Знамени» корректировать очередной номер газеты. Поднималась на плоскогорья улица за улицей. Улицы, разбегающиеся по сопкам, немощеные. Правда, повсюду проступает гранит—или широким гулким пластом, или свободным катуном. Деревянные одноэтажные домики, перемешанные с большими каменными зданиями. Но чем выше—последних меньше. Впрочем, настоящие деревянные одноэтажные домики тоже редки; все большие, в полтора этажа, так что с улицы доподлинно два этажа, а зайдешь со двора, едва один: это сопка подкатилась своей крутизной к самому дому и он, точно собака сидит на задних лапах, крепко вытянув передние. Зачастую нижний этаж отесан в гранит, второй деревянный.

Улицы пересекаются пешеходными тропинками. Тропинки бегут по отвесам между цветных скал. Когда поднимешься на верхние улицы, на Нагорную, на Ботаническую, делается хорошо. Воздух прозрачный и крепкий, горьковатый от соли. Аромат желтых глазоедов и толстых, но коротких тигровых трав. А главное—ширь. Куда не оглянись—вода. Небо синее и вода синяя, только кое-где помазана солнцем. На западе Амурский залив. Горы его противоположного берега, как синие вспученные облака. Идут грузной, широкой массой, распластываясь в «столовые», убегая в острые вершины и застывая там на цыпочках.

Внизу Золотой Рог, извернувшись, как змея, между сопками. А левее, на юге, дымчатые хребты Уссурийского залива и ровной, точно приклеенной полоской, сходится с небом Японское море.

Муза идет... все выше. И все чище и душистее.

...Леонтий Порфирьевич: пустота, фантастика. А как же проживешь без фантастики, без фанатизма? Как можно жить, если все—равно?

Надо любить до боли в сердце, до захвата дыхания. Посмотрим, посмотрим, кто будет прав, шепчет она. И даже пусть нас раздавят, пусть. Пусть в золу улизнет огонь... Но все-таки он был.

Редакция «Красного Знамени» на перевале.

Нижний этаж серый, гранитный, верхний деревянный, зеленый. В верхнем этаже занимает одну комнату товарищ Сух. В нижнем—типография и отчасти редакция.

Муза пробирается закоулочками через наборную, по лесенкам, по площадке в корректорскую.

Белые некрашенные столы, заваленные бумагой, газетами, гранками и вырезками, пара табуретов.

В комнате весело. Солнце прямо на столы кладет мохнатую лапу и волосики тянутся во все углы.

Муза распахивает окно. Это ничего, что ветер сейчас хватает листы, сдувает, как паруса. Это ничего: можно привалить камнем. Вот он лежит плоский и шершавый на подоконнике. Его как-то привезла Муза с Красного мыса. Гранок накопилось много. Надо торопиться. Сбрасывает шляпу, кофточку...

—А в чернила удосужилась попасть муха.

...Ах, несчастненькая, даже ножками не брыкается.

Но, извлеченная, поползла по косяку окна, облипшая, кругленькая.

Но за работу, за работу.

Горек запах типографской краски, но и сладок. Жизнь. Эти строчки выдавливают жизнь. А она, Муза, на посту. Как хорошо.

Гранка мелькает за гранкой.

...движение демобилизованных...

...события Европейской войны...

...город и деревня...

...выборы в сельский совет.

Так, так, так.

Что-же с того, что заходит солнце... Что-ж с того, что кто-то, скинув такое же зеленое платьице, нежится на теплом вечернем песке.

Приходит ментраннаж, приносит вкладыш. Он шуршит, как шелковый, и не хочет согнуться...

Муза припадает к листу и припускается по строкам, вооруженная пером, как копьем... И на конце его нависла красная капелька. И даже в груди слегка покалывает от быстроты.

Половина восьмого.

Если поехать девятичасовым, то времени еще полтора часа.

Ветерок посвежел.

Звезды вдохновенно расписали небо... Перемигивается залив с береговыми огнями.

Муза поднимает голову. Окно товарища Суха светло. Добирается по внешней лесенке и стучит в дверь.

— Открыто,—отзывается неторопливый голос.

— Это мы,—улыбается Муза, переступая порог.—Не помешаю?

— Нет, я сейчас отдыхаю.

— Отдыхаю... а это что? -указывает Муза на исписанные листы бумаги перед ним.

— Отдыхать, не значит бездельничать, товарищ Муза... Отдых—смена одной работы на другую.

Комната у Суха большая. Но мебели мало. Большой письменный стол, два столика у окна, заваленные бумагами. Старое, мягкое кресло пестрого ковра, в которое, если сядешь усталый, то и заснешь. Кровать, накрытая красным байковым одеялом.

Спущенная с потолка лампочка затеняет лицо Суха. Муза видит только сжатые губы и черную бородку.

Вдруг Муза спрашивает...

Вопрос ее неожидан. И для нее самой кажется неожидан.

— Вы никогда не были женаты, товарищ Сух?

Сух поднимает голову. Перед ним чудесная девушка. И к ее глазам нельзя привыкнуть.

Он качает головой. Улыбается.

— Даже больше: я никогда не любил. Даже не влюблялся ни подростком, ни юношей.

Муза молчит. Нахмурилась.

Говорит тихо...

— В последнее время я часто думала — надо-ли любить? Ведь много у нас привычных чувств, которым не место. Ведь так?

Сух кивает головой.

— Да, так.

— И знаете (это, впрочем, старая истина: ее протрещали во всех книжках, но для себя ее приходится опять решать)... и знаете, я решила, что любить нужно. Вы знаете, товарищ Сух, ничего не понимаешь, если не любишь. Вот я не люблю математику и ничегошеньки в ней не понимаю...

Сух улыбается.

— А может быть вы ее потому и не любите, что не понимаете?

— О, нет, вот мне не давался английский язык. Просто терпеть его не могла. Какое то собачье чавканье. А в прошлом году, как-то осенью, уже поздно, в октябре, я купалась на 19-й версте. Лежу себе в песке, читаю. Вдруг около меня расположились на купанье. Кошу глаз: женщина и маленькая девочка. Разделись, улеглись. Говорят... англичанки. И вот, верите-ли, товарищ Сух, в продолжении часа я не прочла ни одной страницы... Лежу да слушаю их болтовню. Девочка говорила с такими бесподобными переливами, точно в колокольчики звонила. И у дамы голос был прекрасный. Ну, и что же, вы думаете, влюбилась в английский язык и через два месяца уже немного брела... А до того целый год просидела на азбуке. Нет, нет, если что-нибудь полюбишь—то и поймешь. На той неделе я выдержала бой. Ко мне на Красный мыс приехал товарищ Белянин. Сидели на скалах... говорили, потом молчали. Он насупился:— смотрите, товарищ, только не попадайтесь на эту буржуазную удочку...

Раскрываю широко глаза...

— На какую?—спрашиваю.

— А на любовь... и пошел. Говорил долго. Вы знаете, когда он начнет, он не может остановиться. Его нельзя выпускать на митингах— замаривает... Ну, вот: простой производственный инстинкт, а все прочее— ненужная, грязная надстройка. Если любовь допустима, то переживания ее должны быть коллективны.

Тут я не выдержала, расхохоталась.

— Товарищ Белянин, значит, когда вы целуете вашу жену, и все должны переживать сладость вашего поцелуя?

Обиделся.

— Вы, говорит, товарищ, не так понимаете.

Перебиваю: боюсь, что не остановится.

— Товарищ Белянин, все надстройки. Само хозяйство, сам грядущий социализм—все построено на простой физиологической потребности—есть. Что-ж, поэтому нам отречься от грядущего? Припечатать: надстройка, и разбежаться на четвереньках в леса? Процесс культуры в сущности и состоит в том, что мы физиологию делаем психологией.

Сух отложил в сторону свой бегающий красный карандаш. Вытащил трубку, медленно набил ее, закурил.

— Так, по-вашему, Муза, любить надо... Но, видите-ли, мне кажется, есть две разновидности людей. У одних нерв, по которому течет любовь, или, если хотите, в котором впечатления организуются в любовь, этот нерв разделяется на сотни веревочек и субъект с одинаковым жаром может любить и жену, и музыку, и идею. А у других он толст и одинок. И такой человек любит что-нибудь одно. Жену, так жену. Идею, так идею. Строение нерва определяет его склонность. А вообще, конечно, без какой-нибудь любви—человека нет: прахом рассыпается. Я подтверждаю вашу мысль о любви, но и расширяю ее.

— И вы... всегда равнодушны, совсем равнодушны к женщине, даже к самой прекрасной?

— Почему равнодушен. Она доставляет мне большую радость. Как все прекрасное. Вот перед сном выйду на балкон... И, поверьте, ночь не оставит меня равнодушным. А вот теперь вы... Я смотрю на вас и отдыхаю. Вы ведь очень хороши, Муза.

Муза вспыхнула.

Хорошо, что полутемно, а то краска разбежится по груди и спине, тогда не сдуть ее и в полчаса.

Около ладошки левой руки привиты часики. Оглянула... Возмущено всплеснула руками.

— Опять опоздала.

Торопливо сгребла книжки.

— Прощайте, товарищ Сух... До-свидания...

Прекрасны звезды. Кажется вдохнуть позабористее и захватишь аромат. Ведь нет ничего без аромата. Пахнет камень, пахнет пыль. Как же не пахнуть такому желтому цветку.

На верхних улицах пустынно, но на Светланской трудно пройти. А воздух помоится, в особенности около Алеутской улицы, откуда бьет китайщиной: ароматом их харчевок и немытого, пропитанного чесноком, тела.

Вокзал.

Небольшая площадь. Здесь в пятом году расстреляли манифестантов. Стоит красная трибуна с крестом.

Туфли торопливо выстукивают гранит. Сбегает по боковой, витой лестнице.

— Есть, стоит еще.

Пыхтит паровоз. Из трубы конский хвост.

На перроне пусто.

— Не пришел, думает Муза.. —Хотя... вот... Ах, нет.

— Дуам-дуам-там,—бьет звонок.

Когда едешь ночью над морем и оно тихо погромыхивает—кажется заснувшее чудовище. Но такое милое, такое добренькое. Будто про-

студилось и покашливает. Тянет солью и горечью горных трав. Далеко далеко—перепуганные птицы—полыхают зарницы. И восторг ширит грудь горячая рука захватила сердце и пожимает.

Ночью Муза проснулась: постукивали в окно.

Приподнялась... Но ничего не видно.

Опять стук.

Сбрасывает одеяло. Минуту думает, соскакивает на пол.

За окном фигура.

— Это ты, Вася?

— Я .. я...

Прыгает на подоконник -иначе не поднять тяжелую замочину.

Наконец...

Хочет назад. Но не тут-то было: попалась.

— Пусти,– шепчет,—пусти. Ну как можно... я замерзну.

— А я на что. Я согрею.

— Пусти: увидят.

— Ну, кто увидит?

— Сторож ходит... или Станислав. Подумают, что ты вор...

— Я и взаправду вор.

Ну, что поделаешь, когда уносит... Обернул в плащ и уносит.

— Не тяжело?

— Да пудиков около ста будет.

— Невежа.

На утесе под старым раскоряченным дубом. Тут и жолуди старые, прошлогодние, и трава короткая, славная. И земля намелась черная, пахучая.

— Только сиди смирно, — предупреждает Муза, — и не раскрывай меня.

— Ну, конечно.

Конечно, хорошо посидеть и так с ней.

— Ты колодец?– спрашивает.—Ты колодец, моя Муза?

— Что у тебя за сравнения?—возмущается Муза. –Неужели любовь не научила твой язык нежности?

— Нет, ты колодец. Вот я пришел усталый и пью.

— Ну, ладно, колодец,—соглашается Муза.

Шепчет на ухо:

— А тебе довольно только держать меня?

— Довольно.

Муза прижимается к нему, чтобы совсем пропитать теплотой.

III.

Японский крейсер пришвартован у Адмиральской пристани. Пушки в чехлах тянут из башен длинные морды на город, точно борзые в щелины забора.

На корме флаг. Белое поле, красное пятно и от него широкие полосы—лучи.

Широкие плотные матросы снуют по палубам, сбегают по узким, крутым лесенкам. Босые, в коротких панталонах, в рубахах с короткими рукавами.

Лейтенант Накамура сидит в своей каюте на циновке, скинув соломенные сандальки. Над ним круглый иллюминатор и слышен плеск воды о борта.

Лицо Накамура кругло. Иссиня черные волосы обриты. Лоб слегка покат. Но скулы у него не так выпирают и нос не так приплюснут, как свойственно островитянам.

Между ног его небольшая книжка. Он шепчет, улыбаясь, как будто разговаривает с приятным собеседником:

— Хорасё — ироси... Хорасё — ироси...

Какое сходство слов. Нету ли родства у двух этих соседних народов? Ученым не мешает получше ознакомиться с предметом.

Накамура раскачивается. Кимоно, накинутое на него, позволяет свободные движения.

— Пажааст, гаспадин... хорасё, хорасё... ироси.

Накамура, в сущности, очень образован. Он владеет по крайней мере десятью языками и об этом говорит при всяком удобном случае, каждому новому знакомому.

Но русским как-то странно от его учености: то, что Накамура и японцы вкладывали в понятие «владеть языком» не больше знания двух или трех его слов.

Через несколько дней Накамуре предстоит отпуск на берег.

Он посетит знакомые русские семейства. Там его принимают, как кровного защитника, самурая. И там есть молодые женщины.

О, русские женщины... это—ироси. Русская женщина, что русская саки, которая сразу кружит голову.

Жениться на русской женщине белокурой и белой—мечта Накамура. В Японии женщина не подруга, в Японии женщина -раба. А что же может дать раба?

У Накамуры в шкафике над койкой переводы английских писателей. Но преобладают русские. Толстой, Достоевский, Андреев... Русскую женщину хорошо иметь женой.

Проработав добрый час над словарем, Накамура из плетеной тростниковой корзины достает записную книжку в бледно-голубом шелковом переплете. На лицевой ее стороне—родная страна... Несколько крылатых улетающих домиков; цветут вишни, праздник сакуры. Точно бело-розовые неисчислимые стаи бабочек осели долины и горы. Кусочек моря виден и парус. Маленький парус смелого рыбака. Ах, в Японии, на побережьи, нет ни одной семьи, которая однажды в год не молилась бы ласковому и жестокому Ти. В каждой семье около алтаря висит узкая деревянная дощечка и на ней прихотливыми письменами записаны имена погибших.

А над всем, над всей картиной, точно отделенная от земли, повитая парами, перевитая жемчужным облаком, единственная, несравненная Фузияма...

О, сердца японцев всегда полны восторгом при мысли о тебе, несравненная Фузияма! Нет ни одного художника, который не оставил бы тебе уголочка на своей картине.

Накамура достал карандаш. Развернул книжку. Листы голубоватенькие, шершавенькие.

И тонко заостренным карандашом Накамура вывел стихи:

«Твое тело, как вишневый цвет.
Но придет вечер,
а в сердце,
как черная птица,
тоска».

Накамура вздыхает и складывает книжку. На его лице грусть. Какие могут быть невероятные предрассудки у людей. Люди отказываются приз-

навать людьми других только потому, что они другого цвета. Но есть розы белые, красные, голубые, и все же никто не сомневается, что это розы.

Накамура смотрит на книжку и душа его далеко, далеко. Может быть она у родного домика с пестрыми раздвижными стенками, на том берегу, откуда прямо выходит солнце, у ключа Ого-са-вара. Тут у Накамуры земля. Немножко, совсем немножко. В Японии мало земли, а народу много... И каждому земли по горсточке... Как нужно работать, чтобы горсточка земли пропитала тебя... Люди с деревянными ящиками на спинах взлезают на высокие горы, на обрывистые скалы... в ящиках земля, собранная в долине... И землей посыпают скалы, чтобы потом засеять. Очень мало земли в Японии. А другие народы, у которых пусто и только звери бегают по полям, называют японцев дурными именами за то, что они думают об этой пустой земле.

У Накамуры совсем мало земли. Если разогнаться, то и перепрыгнешь, не заметив. Но цветут курчавые вишни, точно упало облако и застряло в ветвях. Но сюда Накамура отвел водопад. Он прыгает по голубым и красным камням, обливает ярко-зеленую расчесанную траву и цветы.

Вот еще: цветы. При воспоминании о них по лицу Накамуры скользит ясная счастливая улыбка, точно маленькая пестрая ящерица поиграла спинкой на солнцепеке.

В каюте у Накамуры на полу, на цыновках и на столике—цветы.

Дети и цветы—вот две вещи, которые могут разогнать самую старую морщину на лице японца.

Над койкой Накамуры фотографии Микадо и генералов. И выше других победоносный и рыцарственный Ноги.

Против японского крейсера на мостках Адмиральской пристани постоянно народ; ребятишки и досужие взрослые, по часам исследующие японские обыки; и занятые, но на минуту застрявшие среди первых.

Голоногие ребятишки с удочками. Ловится широкая и плоская, как растопыренная ладонь, белосеребрянная камбала и зеленоватые окуни.

Рейд пустует.

Но передают, кто шопотком, а кто и громко, что идут союзные суда, даже Китай на защиту своих подданных намерен прислать крейсер. А пока китайские шампунки, как широкие калошики, пятнают бухту... В переднюю кругловато-приподнятую часть шлепает зыбь. Лодочник стоит на корме и юлит длинным узким веслом. Весло навлечено на винт и верхний конец его притянут упругим канатом к борту. Китаец юлит, раскачиваясь всем телом, и веревка, напрягаясь, сдерживает круговорот весла. Громадные, до верху загруженные, шаланды в безветрие или против ветра передвигаются двумя-тремя гребцами при помощи таких весел.

Сух и Ланковский едут на автомобиле со Второй Речки.

Пригород Вторая Речка на берегу Амурского залива, в его же части, где он поворочен прямо в море. В десяти верстах от города. Залив широк: 15-20 верст. Горы синеют. Далеко впереди вершины Русского Острова. Пригород в долине Второй Речки, маленькой серебристой речушки.

Станция Вторая Речка—двухэтажное кирпичное зданьице. Второй этаж вровень с полотном железной дороги. А железная дорога у самого моря: волны в этом месте залива широкие, неуемные, ополаскивают насыпь.

На Второй Речке рядом со станцией склады артиллерийских снарядов. Снаряды сложены квадратами и пирамидами и сверху накрыты парусиной. Обнесены колючей проволокой... Тонкими шпильками торчат гро-

моотводы... хотя гроз в Приморье не бывает. Впрочем, однажды в несколько лет случаются, но в декабре месяце.

Площадь складов велика. Заботливые союзники беспокоились о русской мощи. Теперь склады не охраняются...

Сух и Ланковский едут на автомобиле со Второй Речки. Осматривали склады и военные мастерские. И те и другие пока безнадежны: нету сил, чтобы использовать. Если интервенция произойдет, она может наделать много дел.

— Знаешь, Вася, — говорит Сух, — если контр-революция восторжествует, уходя, взорвем склады.

— От городка останется одна пыль. А пригород то почти весь рабочий. Гражданская война — жестокая вещь, Вася. Кто не с нами, тот против нас. Середины нет. Кто уйдет с нами, тому не нужно домов; кто останется — у того и не должно быть.

— Нет, ты не прав.

— Знаю, что не совсем прав. Но знаешь, при нашей нищете этими запасами можно расстрелять всю Россию.

— А если погрузить?

Сух улыбается.

— Куда погрузить?.. А ты разве знаешь, какая местность обеспечена от войны? Или ты думаешь, что есть такая точка на советской земле, где-бы буржуазия, офицерщина и прочие и прочие не захлебывались мечтами о нашем свержении?

Сух и Ланковский едут на автомобиле со Второй Речки по военной дороге. Дорога кольцами охватывает сопки... Кругом форты. Неоконченные, обнаженные башни. Крепостные орудия: одни, осевшие на лафеты и, как собаки на луну, вскинувшие широкие рыла к небу; другие тупо уткнувшиеся в землю. Заржавелые двери распахнуты в бетон казематов. Чувствуется затаенный гул в этих погребах. Высоко над головами металлические толстые канаты и на вершинах деревянные, неуклюжие вышки, за которые уцеплены канаты. Канаты бегут в синюю даль с вершины на вершину... военная воздушная дорога. Но она разорена. Местами из кустов выползает и лежит через всю дорогу змея-жгут. И мотор вздрагивает, ударившись о витую сталь.

В долинах, в межегорьях длинные красные здания... в один этаж. Стекла выбиты, двери распахнуты, под'ездные пути заросли неминучим бурьяном. А некоторые приречные стоянки затянулись сплошной паутиной белой сирени. Душно от аромата. Стоят кусты, тяжелые от белых маслянистых капель, и кое-где только, как недоразумение, торчит зеленая ладошка листа.

Ланковский качает головой.

— А какая несуразица эти здания.

— Качество грядущего, — улыбается Сух, — всюду вливать красоту. Торопливому торгашу не до красоты.

Военная дорога круговоротами обегает сопки. Далеко внизу белеют ее кольца и выше на раскатах ее бетонные охранные столбы. С высот открываются синие нежные дали. И воздух чист... И ветер, обвевающий лицо и теребящий плащ, обдает сиренью и душным вином ландыша.

— Вот где собирать-то, — указывает Ланковский на сплошные поляны ландышей. — Если проспать ночь на такой поляне, то, пожалуй, не встанешь.

Автомобиль быстро скатывался с вершины. Не было мотора. Шорохал песок и щебень под шинами. Да ветер, точно шалящая женщина, мешая говорить, захватывал нос, рот, все лицо надушенной ладонью.

Далеко внизу проблеснули озера минного городка.

В Шефнеровских казармах, что расположены около входа в механический и судостроительный завод, в общежитии союза металлистов, в столовой, в длинной, серой комнате, со сдвинутыми в одну сторону некрашеными столами,—собрание рабочих завода.

Трудно пахнет. Немытыми жаркими ногами, промасленной одеждой, кислым черным хлебом. Душно. Окна распахнуты, но окна в застроенную улицу и, даже свежестью не несет. Глаз, брошенный за окно, упирается через узкую улицу в дома противоположной стороны: фигурные лепные дома прежней заводской администрации.

В столовой потаенное молчание. Председатель, переговариваясь с секретарем, разбирает повестку.

Председатель — худой, высокий слесарь. У него пристальные внимательные глаза. Острый нос и островат подбородок.

Огласил повестку:

1. Доклад тов. Пятова по текущему моменту.
2. О заработной плате.
3. О заводском комитете.

Голос нутряной, которому трудно распахнуться в забранной плечами груди. И слова русские, но не по-русски вызвукивают. Председатель товарищ Карпа—эстонец. Обычный председатель общих собраний.

Из-за стола встал Пятов. Небольшой, круглоголовый, черный. Глаза хорошо упираются в каждый встречный предмет. Голос ладный, неторопливый, ровный.

— У меня, собственно, краткая информация, а не доклад, товарищи,— начинает он.—Контр-революция у наших заводских ворот, товарищи; мы получили достоверные сведения о готовящемся выступлении чехов и офицеров. Здесь, во Владивостоке, это особенно удобно, под благословением интервентских пушек... Возможно, что назначенный день бунта будет общим для всех тех мест, где стоят чехи. И вот, товарищи, что вы намерены предпринять?

Серые шуршащие кошки разбежались по собранию и затихли...

— Быть может, кто-нибудь выскажется?—ободрил председатель. Но глаза, в которые он смотрел, опускались или делались непроницаемо равнодушными

— Давайте обсудим,—возвысил голос Пятов,—ведь это прежде всего нас касается.

Из задних рядов поднимается рука...

— Позвольте слово...

Карпа кивает головой.

— Да что обсуждать то?..

Из передних рядов: громче, громче.

Оратор откашливается.

— Да что обсуждать-то?.. в красную гвардию нам что-ли пойтить? Да нас сколько? Три тысячи... голоруких или с берданами...

Оратор замолкает и садится.

Снова по собранию забегали шуршащие серые кошки. Но теперь уже увесистее шаг и бойчее курылканье. Наклоняются, шепчут. Вырываются слова из шумоты, точно летающая рыба из морской пучи.

— Именно... вот... правительство... какое тебе... раскромсают... пусть, а мы... чехи... чехами... чехов.

— К порядку...—зовет председатель,—к порядку... Кто хочет говорить, пусть берет слово.

С боковой скамейки встает парень. Волосы слегка завиты, разобраны дорожкой. Поднимает руку, сжатую в кулак.

— Вот... видели. Пока это у каждого, не бывать здесь чеху. Все в красную гвардию... Что, думаете, нас мало? Так маленькие, да удаленькие... Ребята все идут. Так старикам не старовать... или которые еще не старики, потому что какие у нас на заводе старики...

Помолчал ..

— Я хочу сказать товарищу Пятову, чтобы сейчас же положить на стол белый лист бумаги и чтобы записываться всем после собрания, т. е. сейчас же.

Раздались аплодисменты, крики.

Председатель звонит.

— Это ваше предложение, тов. Афанасьев?

— Мое.

— Итак, я голосую, товарищи... Очевидным большинством принято. Переходим к следующим вопросам.

IV.

На утре, правда, не на раннем, Муза побежала босая в горы за цветами. Торопилась... Цветы нужны... Как же без цветов... Другого послать, и будет он рвать их небрежной рукой... нет.

Саранки, кругом саранки... немного бесстыдные, но роскошные. И шиповник. Этот засыпал кровью все долины. Нахватала по горсточке целый мешок. Исцарапала руки и ноги. Ай, да невеста, вся в ссадинах... Но хороша капелька крови, когда шариком наэреет она на источинке.

Утро в городе ясное. Ветер слегка закуривал пыль. Но ветер неизбежен. Трамваи грузились дачниками... Позванивая, ползли вверх по Алеутской. Крякали автомобили по одному, по два, выкатываясь из рядов.

Китайцы сидели на корточках у корзин со всякой всячиной: трубками, спичками, папиросами, плодами и китайскими сластями: длинные пастилы на меду, обсыпанные миндалем и пшеницей.

Муза быстро застучала по тротуару. Сначала в Совдеп.

Как хорошо утреннее солнце. Утреннее солнце обмывает, что вода. Окна, вывески и люди, даже самые хмурые, покрыты налетом радости. Утро... кто знает... Ведь и для самого несчастного день быть может припрятал радость.

Около Совдепа, как всегда, люди. Стоят, облокотясь на перила. Перебрасываются словами, трещат зернами.

Десятый час. Работа в полном об'еме, работающих мало. Сух постоянно жалуется, что некого посадить за стол...

Она стучит в дверь кабинета.

— Можно,—откликается негромко Сух.

— Здравствуйте, Семен Васильевич,—говорит Муза,—я к вам забежала на минуту.

А из-под большой соломенной шляпы ее глаза, как две растерявшиеся козочки.

Остановилась.

— Ну,—смеется Сух,—что-же дальше? В редакции непорядок?

— В редакции? Нет, в редакции, я думают, все в порядке, хотя я там еще и не была. Сух, вы свободны сегодня вечером? Или, правильнее: можете освободить себя на сегодняшний вечер?

— Какая нужда?

— О, нужда большая..., т.-е. для меня большая... Я выхожу сегодня замуж, Сух.

— ?

— Что вы удивляетесь, Сух. Разве это так невероятно?

— Нет,—смеется Сух,—я удивляюсь не вашему замужеству. Кому же и выйти замуж, как не вам. Я удивляюсь тому, как долго вы от меня таились.

Да все некогда было рассказать, Сух.

Погрозил пальцем.

— К вам на 14-ую версту?

Муза кивает головой.

— Будет несколько человек. С пятичасовым поездом прямо, Сух, пожалуйста.

— Хорошо,—соглашается Сух,—буду.

— Ну, вот,—озаряется Муза улыбкой,—а то я боялась, что вы...

— А, по-моему, вы напрасно меня тянете. Я своей вытянутой физиономией испорчу весь праздник.

— Тише,—возмущается Муза,—тише... вы не знаете, как я вас люблю... да, люблю...

— Вот как,—тихо проговорил Сух, пытаясь улыбнуться.—Ну, а что-же скажет жених?

— Нет, не шутите... Это не шутки. И я вам вовсе этого не хотела говорить, так уж сказалось. Когда я знаю, что вы здесь, в этой комнате сидите, согнувшись, или оспариваете мероприятия с товарищами, я спокойна, совсем спокойна. Меня тогда очень мало волнует клевета, злоба и прочее и прочее, что сыплют на наши головы.

В вагоне душно. Полно. Безбилетные солдаты, беспрестанно кочующие между городом и Второй Речкой, группами занимают скамьи. Лежат на всех полках.

Во втором классе свободнее. Но пассажиры косятся на номер «Красного Знамени», который положила около себя Муза. И задорно ей развернуть и читать. Из соседнего купэ...

— Помилуйте, тысячу лет Россия собиралась... Тысячу лет осуществляла свое призвание... Знаете ее грандиозную мечту о третьем Риме, о кресте на Ай-София... И вдруг чужими, предательскими руками оторвана от всего, за что лилась тысячелетиями кровь. И еще спрошу я вас, что это такое за интернационал? Что может быть нежизненнее, теоретичнее этой теории? Родилась, как Паллада во всеоружии из головы Зевса. И на ложе серой куцой фантазии растянуть несчастную, измученную страну...

Послышалось шарканье спички, шум первой жадной затяжки.

— Интернационал,—продолжал тот же голос,—когда вся культура только и живет национальными об'единениями. Когда в самой нации даже особенно и преимущественно действенны этнографические группировки. Одеть всех в пиджаки... на одном языке говорить.

— Ни один народ никогда не отдаст своего языка,—вмешался женский голос.—Господи, что за крест на нас.

Пахнущий дымком, глуховатый, мужской:

— Нет, комичнее всего их утверждение: основа у нас научная. Так если нас укоряют в незнании народа, что, мол, мы ему какие-то невероятные миссии с третьим Римом навязывали, а он даже имени первого Рима не слышал, с'едаемый голодом и вшей, так я вас спрошу: какого чорта русскому мужику интернационал? Война показала, что не только об интернационале, но даже о своей родине в целом он не может мыслить.

— Все жидовское,—внушительно и вполголоса произнесла дама.—Маркс жид... все комиссары жиды.

— Не слушай,—говорит Ланковский на ухо Музе: он видит ее побледневшее лицо и горячие глаза.—Неужели к этому еще не привыкла?

— Я к этому никогда не привыкну.

— Напрасно, нельзя же, чтобы все люди думали, как по уставу.

— Ну, ладно,—улыбается Муза,—на сегодня я равнодушна.

Поезд, звуча и постукивая, летит высоко над морем. По самому краю скал. У берега несколько беспарусных шампунок рыбачат... Но в заливе пусто. И под заходящим солнцем в воде роятся серебряные и золотые острожалые пчелы. Похлопывают тормаза...

Пора: переезд.

Приехали.

Сразу охватил теплый, душистый воздух. Аромат шиповника, черемухи и горькая соль моря.

На верху насыпи Таня. Смотрит... Увидела... взмахнула руками, что-то крикнула, скрылась.

Идут по дорожке, заросшей торопливыми орехами и ярким шершавым виноградом.

А на крыльце, на пороге, отец... Хлеб и соль.

Лицо его взволновано, руки дрожат. Поднимает правую и обсыпает чем-то блестящим и твердым. Муза осматривается: серебрушки.—Милый, думает она, где ты их набрал?

А сзади Таня, разодетая, но все-таки босая. Смеется, что-то говорит. Не разобрать—и исчезает.

В столовой из угла подымается Сух.., Протягивает руку, пожимает...

— С новой жизнью, товарищ Муза.

...Что это?.. Поцеловал в лоб... Сух поцеловал. О, милый, милый товарищ.

Муза порывисто обнимает его и отдает поцелуй.

— Итак, Архип Афанасьевич, вы все-таки устроили пир.

— Ну, ну, молчи,—смеется Архип Афанасьевич.- Я твоих новшеств не принимаю. Человек не только из души, но и из тела.

В комнате, просторной от залива, длинный во всю длину стол. Кувшин с цветами, полевыми и садовыми. Закуска и вино. Таня в стороне на столике режет пироги.

Муза накромсала записочку, переслала Суху...

«...Дорогой Семен Васильевич, мне ужасно стыдно за «обстановку». Но я решила уступить старику... Зачем ломать стариков в обиходе?.. Они будут только напрасно страдать... Не правда-ли?»

Смотрит на него, пока читает.

Кивнул головой.

— Конечно.

Под конец ужина, когда прошло жареное и вареное и вместо пирогов с капустой, рисом и творогом, заблагоухали яблочные, стало шумно и как-то забылось, что по русскому обычаю инако-мыслящий непременно мерзавец и подлец и с ним не только за стол сесть, но и говорить нельзя.

Архип Афанасьевич рассказывал о Черном теплом море. О степях, в которых по весне разливается цвет, как золото, а небо такое чистое, как будто его сейчас вынесли из мастерской малярщика. По этим степям, по тропочке-змеичке идет он, паренек курчавый и быстроглазый. В руке дубинка... на всякую злюку, безногую, четырехногую, а може и двуногую. За плечом подсумок. Что дома пахать?.. Много ли выпашешь из пары десятин? А семья большая... А теперь вот куда судьба загнала... Но бог даст еще ополоснет лицо в Днепре.

Около полуночи Муза встала из-за стола... Поманила Суха.

— Семен Васильевич, пойдем.

Отвела его в маленькую боковую комнату.

— Вот вам ночлег... Спокойной ночи... и я тоже пойду—устала. А папа пусть еще пирует. Одна у него дочка.

— Как поезда, Муза Архиповна?

— Первый в шесть, второй—половина седьмого, а третий—еще через сорок минут. Поедем вместе вторым...

— Поздновато...

— Нет, что вы, в городе будем в семь десять.

— Ладно, — кивнул головой Сух,—пусть будет по-вашему.

Муза поставила свечу на стол. Вышла, притворила дверь, но вернулась, просунула лицо в щелочку, протянула по-детски:

— Спокойной ночи...

В коридоре столкнулась с кем-то...

— Вася?.. Отдыхать идем?

— Идем.

В комнате у Музы прохладно... Влажно пахнет цветами... Шиповник в вазах и, как куски ароматной крови, рассыпан по полу, кровати, кушетке. Черемуха навесила тяжелые, точно покрытые бесчисленными мотыльками, ветви. А высоко, в углу, горит причудливый китайский фонарик.

— Ну, вот, мы одни, —защелкнула Муза дверь.—Ах, хорошо, что никого не нужно бояться... Ну, что вы скажете, товарищ Вася, вашей жене?

— То скажу, что она еще не моя жена.

Муза покачала головой.

— А вы непременно решили сегодня жениться?

— Да, решил, прекрасный товарищ.

Муза неодобрительно покачала головой. Задумалась... отошла к окну. Потом обернулась, улыбнулась, сказала тихо:

— Ну, что-ж, я, пожалуй, не могу вам сегодня многого возразить... Идите сюда ко мне, я поговорю с вами...

Сух проснулся на заре. За окном голубоватая серота. Громадная утренняя звезда; как восторженная слеза, трепещется над лесом.

Посмотрел на часы: шестой час. Как раз уехать первым поездом. Впрочем и вторым не поздно. Оделся. В доме было тихо. По коридору взад и вперед ходила кошка, запертая здесь. Время от времени возмущенно помяукивала. Но на раннем утре сон крепок, а усталый от ве-

селья подобен смерти... На дворе томилась полынь. Бодро и радостно становилось от ее тяги. Сух пошел по тропинке к железнодорожному полотну. На востоке изумрудное небо и на нем тонко, как на дорогом блюде, налито золото. И тучки... пунцовые. Точно перестыженные подростки. А по морю туман. Белый, лохматый. Несется на запад, как медвежатая конница. Гривы взъерошены, а хвосты помелом, ноги через головы, головы на отлете.

Сух идет по насыпи. Из ущелины на 14 версте дорога по обрывам. Просторно, широко.

Сух идет, помахивая тросточкой орешника, травы оплакали уже обувь. А там, где кровавый кусочек точно вечность отсчитывает, там, за грудью, грусть.

Отчего грусть?

Оттого, что слишком зовет грядущее. Оттого, что слишком далеко оно...

Но о дали тогда грустишь, когда вокруг четыре стены и комнатный порядок... А когда вышел уже и пыль между ногами запорошилась...

Сух идет по насыпи. 14-ая верста скрылась за горой. Сзади в прозрачном воздухе легко ухает паровозный гудок.

Сух думает:

Мы—большевики—делатели по преимуществу. А всякое делание хочет обуздания. И чувства, и страсти, и желанья—в одно. Пусть мы суровы. Мы даже должны быть суровы. Куда придет человек, если по дороге он будет шагать и взад, и вперед, и в сторону. Дойдем до конца—увидим.

Из-за поворота вырвался поезд. Прогремел. В окнах равнодушные службисты и дельцы.

— Пора назад: всего сорок минут.

А солнце уже над горами, как наседка...разбежались белолобые цыплята. Узоры упали на насыпь и вниз по круче. Веселые, золотые узоры. Будто жизнерадостные зверьки размохнатили шерсть. И солнце, лохматое лучами, как ведьма. И море, голубые пальцы заливов, протиснувшее в материки.

Вот и опять деревянная, свежевыструганная площадка 14-ой версты. Дом над голубым заливом, на самом краю, как летящая птица. Все тихо. Окно Музы задернуто белой кисеей. До поезда десять минут. Проспала. Но даже и Тани, птичницы ранней, нет.

Сух набросал записку, приколол к двери Музиной комнаты:

«Доброе утро, маленькие товарищи... Я один из двуногих (даже из птиц) встретил утро на вашем мысу. Маленькие девочки всегда засыпаются, а потом в ужасе кулачками протирают глазенки. Ая-яй, какое высокое солнце! Как оно выросло! Няня, ты разве подбросила к нему вечор в кроватку дрожжей?

Семен».

Сух уехал вторым поездом.

А минут через двадцать вышла из своей комнаты Муза, запахнутая в полосатый халатик. Мягкая, бескостная пантера с головой женщины. Прочла записку. Ахнула.—Ой, стыд, стыд!

— ...Трудно итти,—шепчет Муза.—Хорошо, что спят. Прямо зверушка, хоть на четвереньки встать.

Она вымылась в студеной речонке, напилась прозрачной, сладкой воды.

Поднималась по тропиночке вверх... цеплялась за ветви, стволы и бугровины...

Навстречу, сверху...

— А, Васенька-ясенька... Что, милый?..

Протянула руки, и распахнулся халатик.

Вася приник.

— Какая холодная.

— Холодная,—и укоризненно покачала головой.—Твоя Муза холодная? Неблагодарный...

Прошептала на ухо:

— Или забыл?

Вырвалась и, как ящерица полосатая, проскользнула в ущелину.

— Иди, купайся, и живо назад.

Ланковский и Муза ехали третьим поездом. Сели около окошка потеснее

На Второй Речке поезд почему-то застрял долго. И минута, и другая... и пятая.

Что такое? Муза выглянула в окно.

— Вася,—схватила мужа за руку,—Вася, чехи.

— Поезд дальше не пойдет,—кричит по вагонам кондуктор.—Из вагонов не выходить—будет проверка.

Платформа Второй Речки засыпана чехами.

Характерные лица, кепки с широкими козырьками...

Винтовки...

В руках, у пояса бомбы... Сидят на лавочке выстукивают капсули.

Беготня.

Кто-то скачет на лошади со стороны поселка.

Рассыпалась цепь.

— Ставай!..— выстрелы.

Остановился. Лошадь пляшет.

Подбежали, спешили...

— Вася,—шепчет Муза,—Вася.

— Наконец-то,—раскатывается возбужденным гулом по вагонам,—наконец-то. Слава богу!..

— Валентина Сергеевна, а вы думали, что сегодня, а? Признавайтесь-ка? Каждый вечерок гадали, гадали и прогадали... Хе-хе-хе... Вот и верь после этого вашим картам...

— Интересно, как в городе?.. Говорят—все уже кончено.

— Боюсь, как мамочка...

— Красная гвардия засела...

— Засела. Да куда им, подлецам... Вы знаете, куда им заседать? Куда царь пешком ходит...

— Сух и весь совет уже арестован.. Их еще ночью арестовали. Не ждал, где то в ресторанчике была попойка, ну, и накрыли весь выводок.

Кто-то крестился.—Ну слава богу, слава богу: может быть теперь вздохнем...

— Не это важно—гудит взволнованный басок,—а то, что родина наша получит язык и право сказать свою волю.

— А Сух, говорят, в последнее время прямо десятками тысяч переводил в Шанхайский банк. Да вот не удалось воспользоваться...

— Вася, а Вася...—шепчет Муза,—что же мы, пойдем?

— Куда?

— Попытаемся...

Ланковский отрицательно качает головой.

— Все закрыто.

— Ты посиди, а я пойду посмотрю...

Муза пробирается по вагону...

Как трудно... точно на лбу огнем—большевичка.

Шаг неловкий, шею не повернуть...

Площадка... дверь открыла...—чех.

— Нельзя... назад...

Подходит к другой, смотрит сквозь стекло: тоже.

— Ах,—тоскливо шепчет Муза,—что-же это? Как в мышеловке... А Сух... Сух... Сух.

Слышит:

— Первый поезд прошел без задержки, а второй зацапали в самом Владивостоке.

Думает: если вторым, то погиб. Но может быть первым, первым... А записка... Ах, если бы первым—успел бы домой, а дома не поймают, там все приготовлено...

Вернулась.

Села.

— Нельзя?

Ланковский кивнул головой.

— Конечно.

— Говорят—по всей России в один день.

— Прямо не верится...

— Ну, куда им. Это же соколы, да еще германской выучки... А вы: красная гвардия... Посмотрите: какие молодцы, а? Как струнка. Кажется в отрепьях, а посмотришь и не скажешь.

— Да, не чета нашим, русским.

— Я не могу сидеть,—шепчет Муза.

— Но ведь делать нечего, мы связаны.

Кондуктор:

— Приготовьте ваши документы. Идет контроль.

Засуетились. Радостные лица насторожились.

...А все-таки... кто их знает...

— У меня ничего нет, Вася.

— И отлично.

— А у тебя?

— Десять минут тому назад искромсал.

Контроль: суровые, хищно-нацеленные лица.

Поезжане улыбаются...

Сладкоголосо:

— Скажите... все уже кончено?

— Скажите, а у вас есть потери?.. Говорят—была большая перекá?..

Отвечают сдержанно, вполголоса:

— Ничэго не можно сказать... Пустаки...

— Ваши документы.

— У меня нет,—отвечает Ланковский.

— Почему нет?

— Просто не взял с собой...

— А в городе... где служите?

Ланковский замялся.

— Пожалуста з нами...

Муза поднимается за ним...

— Ваши?

— У меня тоже нет.

— Ничего... женщина... оставайтесь.

— Ох,—упало сердце: взяли. Осталась. Но лучше, что осталась. Может быть, что сделаю.

— Дан-даан...—Два звонка.

— Неужели поедем?

— А вы что-же думали—ночевать здесь будем?.. У них, брат, порядок.

В семь часов утра 29 го июня чешские отряды заняли учреждения. Канцелярии взломаны, бумаги изъяты. Кой-где случившаяся охрана арестована. Красногвардейцы немедленно и без выстрела сдавали оружие. Светланская и еще две-три улицы разбиты на районы.

Рассыпаны стрелковые цепи... На колене. Поперек винтовка, рядом шишковатая бомба...

Но грузчики засели в штабе крепости. Обстреливают вокзальную площадь.

К штабу с разных сторон двигаются чешские цепи. Спускаются с сопок по извилистым улицам. За колоннами вокзала ставят пулемет. Тускло и цинично блестит короткое рыльце.

Несмотря на запреты и цепи--любопытные так и прут на улицы. Под домами безостановочно перебегают группы в три-пять человек. Беленькие девичьи платьица.

На углу Алеутской—толпа. Отсюда в десять минут ходьбы—штаб. Правда, его не видно—он за горбом улицы.

Жмутся под стенами, за выступами и в дворах. Фойе театра Золотой Рог переполнено.

— Выстрелы... стреляют...

— Наконец, чехи.

— Да чехи... Организованно... пачками.

— А это что?

— Это, разве не знаете? Пулемет.

— Как орехи сыпит в деревянную коробку.

— Говорят, Сух с грузчиками.

— Нет, он арестован еще вчера вечером на квартире. Не ожидал... Накрыли младенчика, Васеньку-петушка, красного гребешка.

— В девять часов торжественное заседание Временного Правительства в Городской Управе.

— Какого временного?

— Сибирского... автономного... Бело-зеленый флаг: тайга и тундра.

—...Ого, как закатили: ну, прощай, штаб!

— Осадите, осадите—видите: патруль.

Автомобиль красного креста.

Раненые...

— Не сдаются.

— Перепились все, оттого и геройство.

— Какие у этих грузчиков звериные лица!

Молчание.

С вокзальной площади гул залпов, глухие удары бомб, и все пересыпано торопливой болтовней пулемета, точно озлобленная потаскуха базарит... рах-таах...

Во все стороны.

Это рядом у Земской Управы—бомба.

— Убило.

— Да, да...

— Нет, ранило...

— Ах, боже... Я вам говорила—сидите дома, да благодарите бога,а вы...

— Ах, отстаньте, ну что теперь...

Через пять секунд на углу Алеутской пусто.

Наискосок Земской Управы корчится женщина на трамвайной линии... белое платье в крови... раскрытую грудь пучит. Умирает Подходит чех, смотрит. Машет рукой. Подбегает товарищ. Несут раненую за руки и за ноги на тротуар, под ворота. Кладут... Еще покорчилась.

Через час грузчики сдались.

Принимали пленных до двенадцати. В час, когда только что открылось торжественное заседание Временного Сибирского Правительства, пленных вели около Городской Управы. Как всегда—грязны, оборваны, хмурые, черные лица, вдобавок у многих перемазанные кровью.

Толпа, залившая улицу—заборы, пустыри, крыши, балконы—расступилась.

— Урра!

— Грузчики!.. Цвет Красной гвардии...

— Что молчите? Или оскотинились?

Красный патфайндер подкатывает к Управе. Белозеленый флаг на крышке мотора.

— Председатель правительства.

— Нет, представитель...

— Урра!

Солнце на белизне платьев, на крыльях шляп. На свежих припудренных лицах.

Здание Управы без балкона и вот представитель и член правительства становится на подоконник, в громадной распахнутой створе. В сером костюме. Волоса зачесаны назад, глаза прикрыты шатучим пенснэ...

— Граждане, прежде всего приветствую вас и поздравляю. Власть насильников свергнута. Я вам напомню недавние этапы. Вспомните правительство Керенского. Оно было слабо, нерешительно и прочие, прочие смертные грехи для власти...

Муза попала в город в 12 часов.

На вокзале патрули. В зале первого класса расположилась целая рота чехов. На стенах расклеены воззвания Временного Сибирского Правительства. Учредительное собрание всей Сибири...

Вокзал обстреливался... разбиты окна.. штукатурка отбита. Штаб крепости черноточинами пуль обсижен, как кучами гигантских ос. Особенно около окон—целые гроздья. Кое-где кровь каплями, лужицами.

Стала на вокзальной площали:

— Куда итти? Что делать?

Извозчики... автомобили.. Возбужденье, улыбки... Смеются, обрадованно... точно камешки падают в звонкий жестяной тазик.

Пошла обычной дорогой. По Алеутской, по Светланской, мимо своей гимназии вверх по Суйфинской.

Типография «Красного Знамени».

Комната Суха.

Патруль.

— Ну, теперь куда?

Вниз—туда, где люднее, шумнее... Может быть...

— Телеграммы, телеграммы...

Кричит мальчишечья босота.

— Телеграммы... телеграммы, теграммы, теграммы, аммы...—гортанно выкрикивают китайцы.

— Мальчик, телеграмму.

...Свержение насильников...

Арест Суха...

Обращение чешского командования к населению.

Арест Суха.

«При проверке пассажиров 2-го дачного поезда арестован председатель Совдепа, С. Сух. Арестованный препровожден в помещение чешского командования.

Идут аресты прочих большевистских деятелей».

— Так. Но в сущности разве можно было ожидать иного? А Вася? Но если и он арестован, то вероятнее всего их в одно место?.. Чешское командование... Поищем.

—

Чешский штаб в Адмиральском доме... Торчат бело-красные флаги.

— Можно пройти?

— Нэльзя.

— Мне нужно начальника.

— Нэльзя... все заняты.

— Скажите, арестованные здесь?..

— Нэ знаю...

Муза сидит около памятника Невельскому. Простая бело-гранитная колонна. Наверху земной шар. На земном шаре двуглавый орел, взмахнувший крылами. Солнце ласковое, ясное. Пахнет зеленью. Напротив, через бухту, кудрявые рощи Чуркина.

Китайские колошики-юли—пошатываясь перебредают бухту. Правее серая масса японского крейсера.

Вот и земля пахнет... и вчера пахла... и лодочники поют, зазывают. Нагнулась: через дорожку муравьи, во все стороны. Если встанешь со скамейки и нечаянно раздавишь... размахнешь муравейник в беге. Муравьиному народу трагедия? Или только у одного человеческого сознания выпрыгнувшего, как летающая рыба, из мира, только у одного человеческого сознания эта трагедия?

Прибежали дети... голоногие, голорукие... белые, голубые платья: сорвались с гряды, побежали цветы.

И однако.—

«— Ты большевик, я тебя застреллю...

— Не стрэли, болсе не буду».

Через час Муза опять у чешского штаба.

Часовой другой... Полное лицо, веселые глаза. Скорее немец, чем чех.

— Где я могу получить пропуск к арестованным?

Смотрит:

— К большевикам?

— Да, к арестованным.

— Сэчас нэ можно... Завтра. Сэчас, как на фронте... завтра.

Ах, какая тоска!..

— Но пройти-то можно? Мне переговорить с дежурным.

— А вам зачэм большевики?—внезапно удивляется чех.

— Я... сестра.

— Сестра? У болшевика нэ может быть такой красивой сестры.

Опять бухта у ног Музы. Золотисто-голубая. Слегка ветрит. Шампунки окрыляются белыми и черными квадратами парусов.

В Морском штабе, красном угловом здании около сквера Завойко, запись добровольцев в бело-зеленую армию. Расклеены призывы: студентам, офицерам, нижним чинам, не забывшим своего отечества.

У штаба толпится мужская молодежь. У записавшихся на левой руке бело-зеленые повязки.

В распахнутые двери штаба—на лестницах, в проходах суетня. Столики: здесь записываются полковники, там капитаны... поручики, рядовые.

Снаружи вывешен плакат.

«Записалось в ударный батальон 375 человек.

Граждане, следуйте примеру».

Солнце ясное и теплое. Над самым морем наклонилось.

— Куда идти? Только не домой. Дома—ужас.

...Вечерние телеграммы.

Воззвание Временного Правительства... Дальнейшие аресты.

— Мальчик!

Мнется босоногий, курносый, глазами шнырчет, пока Муза достает деньги... Кипка телеграмм, как полотенце, перекинута у него через левую руку.

— Аресты...

Среди арестованных секретарь «Красного Знамени» Ланковский.

Солнце закатилось. В лимонно-пурпуровое море повисла лимонная звезда. И другая повыше. С каждой минутой ночь явственней. Нежная. Она прыгает, как нежная кошка с восточных сопок. Да, хорошо думать о ночи, о звездах... следить набухание ночных облаков...

Нужно, чтобы в каждую минуту в душе было недостигнутое. Нужно, чтобы человеческий глаз постоянно проглядывал даль, а вы убиваете глазастых... и за что?

— Куда идти на ночь Музе? К товарищам? Но их так мало... да и опасно. Одни Бутовы. Но нет... А вот кто: Сэй-Чен-Суэн. Старый китаец—бой из музыкальной школы. Там и переночевать.

Прохладно. Или может быть лихорадка болотится в каком-то уголочке сердца?..

Сэй-Чен-Суэн на скамейке около школы, длинного деревянного здания.

— Здравствуй, Сэй-Чен-Суэн!

Обрадовался.

— Здравствуй... Что в городе?

— Я буду ночевать в школе, Сэй-Чен, хорошо?

— Можно. В зале, на диване?

Да, в зале. А что поезд, нету?

— Не знаю, Сэй-Чен. Пойдем, Сэй-Чен, отвори, мне холодно.

— Ладно, ладно, отворяй можно.

Морщинистое лицо у Сэй-Чен-Суэна. Кожа желтовата. Волосы с синим отливом... И глаза черно-синие, умные, немного печальные. Европейский костюм хорош для него. У него почти все привычки русского и говорит достаточно, только не склоняет существительных. При школе с самого основания. Менялись директора, учителя... Он знает до мелочей обиход и нужды школы, даже случалось подтягивать расстроенные рояли.

В зале окна распахнуты. На эстраде рояль, как кит, захлеснутый на мель. Портреты композиторов. Внимательный Глинка... Скрябин. Под окнами длинный зеленый диван.

— Сегодня уроков не было, Сэй?

Качает головой...

— Не было... какие уроки! Кантрами много?

— Не знаю... мало, наверно, мало.

Сэй ушел к себе, но через минуту выглянул из двери:

— Ваша кушай хочу?

— Кушать?

Улыбнулась заботливости.

— Кушай... ну чай, пампушки, другого нету...

— Пампушки? Кто пек, ты?

— Аха... можно сичас, свежие!

Сэй-Чен скрылся, ушел в маленькую комнату-кухоньку. Через минуту и Муза пошла за ним. Накинув белый халат, Сэй выкатывал на дощечке тугое тесто. Выкатал хлебцы. Сделал фигурные надрезы, на лицевой стороне в кружке надпись: заклинанье счастья и благополучья для вкушающего. Всунул хлебец в отверстие кирпичного очажка. Палочкой время от времени поворачивал. Потом второй, третий... Хлебец-пампушка быстро печется.

— Теперь чай. Есть сахар. Сэй-Чен все есть. Иди, иди...

— Куда?

— Залу.

Через несколько минут Сэй-Чен принес чай и душистые пшеничные пампушки. Сел в стороне, под Скрябиным, на стул, смотрел, как она ела, улыбался.

— А вчера в это время мы сидели за столом... И Вася и Сух... Да, папа верно обо мне тревожится... И Вася и Сух... Ах, какая мерзость!

— А почему ваша теперь не занимается?

— Нету времени, Сэй-Чен. У нас война.

— Война худо,—вздохнул китаец.—У нас тоже война. Война очень худо. Хорошо—огород, земля... работа...

— Сэй-Чен, ты давно здесь?

— Давно, 15 лет.

— А дома у тебя есть жена, дети?

Задумался.

— Нету. Брат есть.

— Далеко?

— В Чифу.

Заснуть что-ли?.. Что сидеть? Ничего не высидишь. Но как спать, а вдруг там, но нет, нет. Засну, все равно засну...

Говорит ему тихо, едва улыбаясь:

— Спасибо, Сэй-Чен... спасибо, буду спать.

Китаец уходит. Муза запахивает окна. Ложится на диван, натянув на себя свой плащик.

Спит. Звезды ломают о стекла тонкие лучики. Рояль в темноте, как выкинувшийся на мель кит. Люстра поблескивает подвесками: она все-таки ухитряется ловить звездную дрожь.

Спит. Но тяжело. Лицо бледно. На лбу грузные капли пота. Глаза сразу упали. И рот стиснут.

К утру успокоилась.

И когда заря ополоснула молоком закроину неба, она спала спокойная, как дитя.

А когда заря охнула солнцем и разбрызгала день над зелеными сопками и голубыми заливами, Муза сидела в углу диванчика, поджав ноги, и смотрела в окно...

Горожане просыпаются поздно. Ничего не предпримешь, пока солнце не докатится до половины.

Сэй-Чен поздравил с ясным небом. Опять принес чай и свои хлебцы—пампушки

Чай выпила.

— Почему не кушишь? Кушай.

— Я никогда, Сэй-Чен, не ем утром.

Качает головой.

— Куда? На дачу? Домой?

— Не знаю, не знаю. Спасибо, прощай.

Ветра не было. Пыль лежала ровная, холодноватая. Окурки, ветошки, плодовые огрызки. Китайцы водоносы, раскачиваясь, пробегали с четырьми банками воды на длинных коромыслах. Булочники с громадными коробками, укрытыми в серые полотна.

Внизу на Светланской расклеивали телеграммы, оповещения. Когда Муза увидела эти свежие шуршащие листы, схватила знакомый запах типографской краски, грудь перехватило гадким холодком.

Расклейщик ушел. Кругом никого.

Подходит.

Черный жирный шрифт, широко расставленные буквы:

Смерть Суха.

и широкими, почти ослепшими глазами дочитала:

«вчера, в семь часов вечера, препровождаемый в гражданскую тюрьму, при попытке к бегству, конвоем расстрелян б. председатель совдепа С. Сух».

Дочитала и с ужасом искала еще имен. Но не было.

Улица пустынна. Никого. Спят радостные. Сегодняшний день столько им даст прекрасного. Сжав губы и кулаки, уходит Муза по улице. Но все равно... Разве удержать слезы?.. Заливают глаза, мешают видеть. Зашла на пустырек, села у развалленной стройки. Разрыдалась. Кругом лопух, крапива, блестящие черные жуки... Упасть бы туда и спрятаться...

— Но нет, разве это завещал Сух? Слезы? Нет. Он завещал борьбу. Исполню твой завет, ушедший товарищ. Исполню... твоей мечтой о будущем наливаюсь, а не слезами.

И хотелось ей говорить великие торжественные слова, которые, как похоронный звон, звучали бы над ранней могилой. И, напряженные, подчиняли ее, чему-то большему и прекраснейшему, чем отдельная человеческая жизнь.

Наверное уже был десятый час. Отряхнула платье.

На улицах торопливое движенье. Организуется власть, организуются учреждения... Каждому нужно пристроиться, пока не поздно, захватить лучшее.

Муза у чешского штаба.

Прямо мимо часового, и не остановил.

Стучат маленькие складные машинки с четким, почти типографским шрифтом. Зеленые полутужурки, полурубашки, перетянутые широкими кожанными поясами.

Муза вся, как пружина. Голос звенит, и чувствует, что от глаз, как от огня, жарко.

— Дежурного... мне нужно дежурного.

— Что угодно, мадам?

— Мне нужно видеть тело убитого Суха.

— А... этто отчэнь трудно... Нэ знаю...

— Это от вас зависит?

— Нет, но...

— Проводите меня к офицеру, от которого это зависит.

Минуту мнется, перелистывая бумаги, потом уходит. Возвращается:

— Пожалуста...

За письменным столом, на котором походный телефон и кипы бумаг, маленький, толстенький человек. Та же зеленая полуформа. На левом рукаве золоченый значек. Лицо выбритое, полное, красноватое с синим отливом. Рука, перекидывающая бумаги, полная и белая.

— Прошу усадиться.

Муза не садится.

— Моя просьба: выдайте мне пропуск к телу убитого товарища Суха.

Задумывается. Быстро вполголоса говорит с ад'ютантом по-чешски.

— Можно, только для родственников.

— Я сестра.

— Аха... Я напишу.

— А где тело товарища Сух?..

— Я напишу...

— А арестованные, которые еще живы, их можно сегодня видеть?..

— Чешское командование передало всех арестованных русским властям, потому что чехи в русские дела не вмешиваются. Они имеют одно желание: вернуться на свою родину. И они сражаются со всяким, кто им мешает. Большевики не пустили, тогда чехи взяли битвой.

Он передал ей тонкий, пробитый печатью листок.

В анатомическом покое тело Суха.

Обнаженное, жесткое, пожелтелое, синие пятна. Лицо овосковело. Разве это Сух?.. Да, Сух. Но смерть увела из облика самое дорогое.

Сначала было темно. Потом пригляделась.

— Ах, хорошо, что тебя раздели, дорогой товарищ, ах, как хорошо,— шепчет Муза.—Вон исколот живот... Как же нелепо ты убегал, товарищ, а вот... какая страшная проломина черепа: приклад... Как же тихо ты

бежал... Ох, дорогие друзья чехи, правы вы, вам хочется на родину, что вам за дело до чужой мечты... Но зачем зверь?.. Но и это ничего... А вот ложь?.. Ложь зачем?

Глаза пригляделись и хорошо видны нелепые мертвецы. Груды желтых, несвежих тел. Усы, бороды, согнутые руки и ноги и особенно жутки свиснувшие половые органы. Их ненужность в прочей ненужности особенно очевидна.

Был второй час. Возвращаясь в город, Муза зашла в две знакомые семьи большевиков. Квартира одних была на запоре. А во второй осталась только одна старая несмысленная бабка. Она ничего не могла сказать Музе и сердито мигала веками, не отпуская двери.

— Ну, что-же... теперь нужно искать русских властей.

Но Муза страшно устала. Разве зайти куда-нибудь поесть? Но денег не хватит.

V.

В городе цветник флагов: на зданиях, на автомобилях. Японцы китайцы, канадцы, англичане, итальянцы, французы.

В городе залежи товаров: ведь через Владивосток кормилась Россия во время войны.

Какое великое дело товар. Его можно пощупать, взвесить. Он дает уютную крышу и мягкую постель.

Но его можно не щупать, не видеть, в него можно просто, как в бога, верить.

Есть, мол, где-то на складах...

И вот: когда предлагают вам товар, вы и не спрашиваете о его качестве, вы приобретаете бумажку с правами на него, а затем спешите, как можно скорее, перепродать ее. Итак, гуляет бумажка, обогащая десятки ловкачей, а товар и не появляется на рынок. Впрочем, иногда ему и появиться нельзя, потому что на складах под его литерами давно пустое место.

Продают, перепродают, пируют. Карманы счастливцев бухнут.

Около таможни, учреждений, банков, на углу Светланки и Алеутской, постоянные толпы.

На подъездах, у витрин курят трубки дорогого английского табаку чаще сигары... Разговаривают шопотом, записывают в записные книжки непонятные крючки и крестики.

А во время обеда, с 12 до 2, в ближайших к порту кофейнях нельзя пробраться между столиками. Сидят, стоят, нагибаются, шепчутся... Опять записные книжки. Здесь самые интересные, окончательные сделки.

А подальше, к Мальцевскому базару, к рабочим кварталам, хвосты у городских лавок за хлебом, мылом, чаем и прочим и прочим, чего так много в городе, но чего никак нельзя достать простому смертному.

По вечерам рестораны и театры полны. Издается дюжина газет, журналы, литературные сборники. Владивосток—отрезанный мирок. Что делается там за горами и степями. Для одних непомерная гнусность, для других родовые судороги. И дитя, рождающееся, прекрасно и невинно, хотя это будто бы и оно корчит бессильное тело матери.

По вечерам канадцы, высокие и широкие, в меховых шапках, в полосатых куртках, в рукавицах, натянутых до локтя, толпами ходят по улицам. Они удивляются свободе русских нравов и, как праздничные школьники сласти, покупают женщин больше, чем нужно.

Если взобраться на верхние улицы Владивостока: на Нагорную, на Ботаническую, в Энергичную и Рабочую слободки—точно другой мир. Ни каменных домов с иностранными флагами, ни разноцветных автомобилей всяческих миссий. Дороги непроезжие: крутизна, овраги, камни.

И попрежнему, как будто, тишина и покой. Маленькие домики, огороды, коровы, овцы.

Но в сущности далеко не так покойно, как год, два тому назад.

На перевале около сопки, которая добрый кулак занесла над Светланской, стоит дом в полтора этажа. Верхний этаж, кирпичный, сел на площадку, нижний— гранитный, сполз под отрез горы, где под ступни его разбита узкая площадка.

А вниз крутой головоломный овраг. И не очень давно еще по нему в вечной звукоте плясал ручей.

Домики—серые, желтые, зеленые, некрасивые, с нахлобученными крышами, нагими двориками. Ребятишки босоногие, чернолицые ползают по скалам за козами. Рвут букеты желтороя и горько-пахучего вереска.

У домика, спустившего гранитные ноги с плоскогорья, в верхнем, кирпичном этаже два широкие окна. Из окон далеко видно.

Золотой Рог, кривым рогом между сопками, Амурский залив и его далекие, всегда запорошенные воздухом, горы. Русский остров. И дома и крыши внизу.

В верхнем этаже три комнаты. Ход с Ботанической улицы. Дверь, неплотно пригнанная, на цепочке. Потом коридорчик. Налево комната, по стене вся облитая сыростью, и темная; окно в сопку и на север. Напротив кухня. А в конце две комнаты на юг, в буйстве света и простора. Когда там распахнешь окно и сядешь на подоконник, сердце—радость. Точно летишь. Точно вот дом ринется в даль. Домик снимают Ланковские.

Вася оброс бородой. И усы с бородой сходятся. И зовется он на всякий случай Вышняком.

А Муза осталась Музой.

Только какие-то змейки провились по лицу и, как летняя полынь, обдает она крепкой, веселящей горечью.

Муза... но и не только Муза.., а мама. Потому, что кто-то невелик ростом, но кругловат, пробирается между стульями, около кроватей и стен, пробирается с осторожностью акробата, скользящего по навощенной нитке.

И: мама, мама...

Итак, и Муза получила новое имя.

Вышняк слесарит на механическом заводе. Уходит с утра, когда солнце еще не одолело соседней сопки и на перевалах воздух ясен, как хрусталь. А внизу, над бухтой лохматится белый туман, а по улицам целые полотнища какой-то неподвижной коричневой густоты. Два раза прокричит гудок, протяжно, настойчиво и—выходи.

По нагорной тропинке, обрываясь сапогами и раскатывая валуны, спешат рабочие. Грязные рабочие костюмы, в руках узелки обеденные. А в четыре часа—домой.

Ланковский в субботу вернулся в час.

Стояла жаркая ясная осень—приморское лето. Леса на Чуркине сгорали невероятными красками. Пахло засемененной полынью и истомной осенней землей. Залив лежал белый от солнца. И переливался крошечными мигающими глазками. В открытое окно несло огромным водным пространством.

После обеда Ланковский сидел в плетеном кресле у открытого окна.

Солнце упало. Верхние пространства неба уходили бледно-лимонными протоками, нижние краснели румяной густой алотой.

Маленькая Мирра притихла на пестром половике. И когда Муза оглянулась, она лежала—беленький, слегка розовевший калачик—и спала.

В переднюю дверь постучали.

Муза отворила.

— Здесь товарищ Вышняк?—прокашлялся сиповатый голос.

— Здесь.

— А вот мы к ему будем.

По коридору тяжелые чужие шаги.

Муза, а за Музой крестьянин. Высокого роста, широкий и худой. В коричневой тужурке, в меховых капелюхах и сапогах за колена. Через плечо зеленая сумка, в руке дубинка. И сумку, и дубинку сложил в угол у дверей.

— Товарищ Вышняк?

Ланковский кивнул головой.

— Да.

— Я с деревни.

Гость расстегивал куртку, перетягивал пояс.

— Ну, что у вас на деревне?..

Но гость попрежнему расстегивал куртку и перетягивал пояс.

Муза усмехнулась, подхватила девочку и вышла.

Мужик шагнул к Ланковскому, протянул руку.

— Товарищ Ланковский?

— Ланковский.

— Я с Сучана для связи. А вот тебе, товарищ, значит, наше постановление...

Крестьянин скинул тужурку, отстегнул от поясного ремешка складной нож, вспорол уголок тужурки, вытащил свернутую в трубку бумажку.

Бумажка оказалась выпиской из протокола общего собрания X партизанского отряда:

«— после слов товарища Рослых единогласно постановили просить городской комитет прислать товарища для информации. Переговоры поручить тов. Леонтию Сидорову...»

— Садись, товарищ... Леонтий Сидоров?

— Леонтий Сидоров.

— Завтра доложим и рассмотрим... Устал с дороги. Поездом?

— Где поездом, а где ногами. А устал— не. С чего устать? Разве это хожденье.

Гость осмотрел комнату, выглянул из окна.

— Та-ак... Значит живешь здесь...

— Живу.

Глаза у Сидорова, как и тужурка, коричневые, маленькие. Борода рыжеватая, лохматая. Но улыбка ясная, как солнечный помазок. Сложил руки на коленях горбушками—некуда деть их в безделье.

— Чай разопьем с дороги-то,—улыбнулся Вася.

И Сидоров осветился улыбкой:

— Разопьем.

Ланковский ушел на кухню к самовару. Через полчаса они сидели втроем в столовой. Пар тонкой струей подымался к потолку. Лежал мед и серый пшеничный хлеб. Сидоров отхлебывал горячий чай, приедал мед с хлебом, медленно, неторопливо рассказывал:

— Мужики, как мужики. Одначе не стерплют. Хто к попу для совета, хто к большевику. Но больше к нам, потому поп никакой сичас радости: молчок. Крестьянин одно... Это, значит, чтобы без царев. Мы царев здеся не знали и не надо. Земли хватает. А вот колчаки... Крестьяне не стерплют.

— А что, налоги крепкие?

Крестьянин усмехнулся.

— Налоги? Налоги бывают разны... Да хто дает? Не дают. А налоги бывают разны. Ковда хлеб, крупицу... А то в субботу староста миру: «Давайте, грит, ребята, девок, а то сеченут... не то с пулеметов стрелют». А ему: какой такой закон?... А девчата ревмя, а которые в сопки. А парни наши: «Хто, грят, наших девок да портить?... А потом, что нарожают нам?» Давайте, всыпим колчакам! И всыпали. В субботу на вечерне в баню. А баня в конце, у заселка... Ну, охотнички десяточком подобрались, да в окна, да в двери... регочут: «Одевай, робята, пельчатки на задницу,» да с дробовиков, как шарахнут... И айда в сопки... А в скрисенье беда... разбили троих в смерть, а остальным парням в колчаки... Одначе девок не тронули. Вот те и налог.

Помолчал.

— А в городе что?

— И в городе то же.

— Рабочие как?

— Рабочие, как и крестьяне, раньше были не чьи, а теперь больше наши. Аресты, увольнения, неплатеж... Сидят, да подошву от сапог жуют...

— Та-ак...

— Когда ответ?

— А завтра к вечеру.

— Добре... Значит с ночевой?..

— Проночевать можно у меня.

— Не, у меня на Первой Речке дядья сидят. Старые... по сту лет. Увидаюсь.

На следующий вечер информатором в деревню уехал Ланковский.

— Вот сбылось твое желание,—печально улыбнулась Муза, когда он стоял одетый на пороге комнаты.—Побродишь по осенней тайге... Только ради всего будущего будь осторожен.

— Это наша вторая расстача, Муза...

— Да, вторая.

— Одна будешь спать... Заснешь?

— Засну.

— Ну, работай, дорогая... только не очень.

И он ушел, тяжело постукивая американскими башмаками, до колен затянутый в обмотки. На перевале на запад в осенней чистоте на минуту его фигура стала гигантской, потом осела.

Уселись в поезд на Первой Речке.

На тридцатой версте долгая остановка. Поезд двойного состава, на тридцатой версте, на станции Угольной, разрывается. Дачный звенит по берегу в город, Сучанский тяжело увивается по особой ветке в горы.

Долго ждали паровоза.

В вагоне почти темно. Половинные свечи, зажженные назад полтора часа, осели до самых пят—толстенькие, корявенькие карлики. Полно. Спят: лежа, сидя на мешках, стоя, умостившись плечом между полок. Для корейцев и китайцев отдельный вагон, но иногда за теснотою они забредают в русский и прячутся по углам на верхних полках.

Черный мужик, тяжелый, громадный, громыхал по мешкам. Его обругивали.

— Ишь, верзила... прогуливается... Ты приткнись куда-нибудь.

— Приткнись,—огрызался,—некуда приткнуться.

— Поглазей...

— Поглазеешь...

Но полез по полкам. В углу на верхней полке застрял. И вдруг закричал обрадованно-возмущенный. Грозный сип внезапно пронизался тонкими фальцетными прожилками.

— Ирбо, твоя чего здесь... а? Ходи, ну, говорят, ходи... Ишь, сукина мать.

Ирбо лежал, протянувшись во всю длину полки, подложив руку под голову, и не двигался.

Мужчина рассвирепел.

— А... твоя глухой?.. Твоя хочу пилюли?

И хватанул корейца за ногу с полки.

Но тут произошло неожиданное... Вдруг поднялся...

— Што... што... ирбо?..—запищал японец —Ирбо? Хга, хга...

И, вскочив на колена, маленький, тощенький, одной рукой вцепился в плечо мужика, а другой стал бить по голове, по лицу.

Тот почти не вырывался.

Наконец, толкнул его. Черный ударился о противоположную полку, сел на кого-то. Японец улегся назад. В вагоне молчали.

— Да-а...—раздумчиво, наконец, произнес Леонтий Сидоров,—да-а...

Поезд двинули. Застукали колеса по стыкам. Сначала грузно, дальше легче. Гул, свернутый домами, разжижел... Но свист ветра об окна и щели.

Светает. Бледнота лапится к окнам. И нет-нет серый глазок вщурится в темноту. Мешки и люди, свернутые, как мешки на мешках. Желтые лица, нахмуренные, равнодушные. Когда зевота растягивает рот, лицо собирается в нудную скрипучую гармонику. И морщины, как трещины. Но главное—равнодушие. Полное равнодушие к наступающему дню. Полное немыслие о том, что недалеко здесь, за горами, разгорается, выплывает из пространств удивительный шар. Но забота о мешках. О корзине, наполненной тряпичной рухлядью. О том, как все это выволочь на короткой остановке.

Сидоров спит, опрокинув голову в угол. Руки, выбугренные жилами, коричневые от солнца и ветра, благолепными холмиками лежат на коленях. Брови нахмурены. Заря проскользнула, наконец, в угол и ударила его красной веткой по векам. Проснулся и долго смотрел в окно. И Ланковский знает про него: таежный охотник. И первый взгляд его по небу, на разгар зари. Потому что в утренней и вечерней заре полный наказ

дню. Как улягутся сопки под тихим светом, как разбагрянит свет облака. Как выпрянет первый луч из-за гор... Иной зайцем, прижимистый, осторожный, сядет себе на какой-нибудь закручине и вертится и горит... А иной, как ярый конек—в самую глубь. Но усмотреть—надо неплошный глаз.

Сидоров кивнул головой Ланковскому.

— Скоро докатим. Тут перевалина будет, так придется пешком...

На каждой остановке японская часть... Японский комендант—главноначальствующее лицо остановки. В каждом поезде отдельный вагон японской почты. Всюду японские для себя об'явления: толстые, узкие дощечки, на которых задумчиво скачут черные мазки. Вокзалы по площадкам обнесены колючей изгородью. В проходе японский часовой—пропускает по японским удостоверениям. На главной магистрали этого еще нет, но здесь, в Сучанских горах, неблагонадежно. Два года стоят японцы на-стороже. Каждую станцийку сделали крепостью: окопали окопами, обвалили мешками с землей, околючили проволокой. Около мостов по речкам посты: будки, землянки, окопы. Но все равно. Мосты исковерканы, вернее—их нету. А вместо них пирамидки шпал, скрепленные железными крючьями. Поезд шагает и балансирует и в колодец шпал ухает тихий грохот. А в горной речке, мелкой, порожистой, как собака перед хозяином, запрокинутая на спину—вверх колесиками—лапками торчат паровозики. Ржавый кузов, вытянутая шейка трубы, и все тело, прилаженное к бегу, нелепо закоченело.

На последней остановке перед перевалом Сидоров поманил Ланковского.

— Пошли.

Маленький деревянный домик остановки. На юго-запад пара рельс, пара ниток, криво убегающих вниз. Домик на площадке. И сейчас же сопки. Крутые, взлохмаченные неровным осенним лесом...

Сидоров снял капелюху.

— Э... эх!..

— Что?

— Хорошо.

— Да, очень хорошо.

Утреннее солнце проливалось, как спелая солома. А в лесу... Клены растопырили листочки, красные, огни. Орехи—насквозь золотой желтизной. И березы, розовенькие, смущенные... и ясени полосатые бледно-золотые и легкие, как солнечный воздух... И все горит и все невесомо. Каждый лист виден насквозь.

— Как хорошо,—покачал головой Сидоров,—девки так не разуберутся... И откуда, товарищ Ланковский, этакое огневище?

Поезд стоял долго. Девченки бегали у вагонов и по вагонам с горячими жирными пирожками, с бутылками горячего молока и мешками орехов, голоногие, голорукие.

— Дяденька, купите пирожок... с мясом... с рисом... пять копеек штука... с мясом, с рисом...

Тропинка перепрыгнула с камня на камень, перемигнулась с другой под скалой и вз'ярела на кручь.

— Што города, заговорил Сидоров, спрошу я у тебя, товарищ... Што города и какая им жисть? Смотрю я на наших хрестьян... пашуть, значит, а которые просто корейцам в аренду... но все одно... Сами себе справлют и холстину и лыко схлещут. А города што? Хлеб есть?.. Да

хлеба нету, так давай... Почему давай? Хочешь есть—сей... Почему не сеешь? Раньше—земля государева, ну, и брал государь: плати. А когда землица твоя, когда хрестьянин знает: моя, за что хлеб бёруть?

— Так ты думаешь, что деревня ничего не должна давать городу? Но ведь вы ничего и не даете?..

— Некому собирать. Колчакам не собрать. А будет власть—возьмет.

— Каждый дает. Каждый горожанин дает. Каждый отделяет часть для общего.

Сидоров молчал.

— Я не х тому... Как не дать, дать надо. А х тому, што в городах скудость... Дыхнуть у вас нечем... Города расселить.

Тропинка с камня на камень, на сопку. На сопке ветер. Великански шагает по вершинам. Одна нога здесь, другая—за десять верст.

— А хорошее ваше охотничье житье, Сидоров...

— Хорошее,—улыбнулся Сидоров.

Прекрасно, что далек дом. И нету стола и буфета. Теперь облегченно думал, что все привычные и любимые вещи оставлены. Думал, что всякая вещь все-таки стесняет человека. Всякая собственность делает рабом.

Внизу долина... Вершины деревьев растеклись в золото, в прозрачную желтизну. На нее посмотришь—и сердце щемит. В ярую багрянь. И видно—тропинка—черная лента,—перехватывает пунцовые виноградники. Кажется: тысячи цветных солнц разбежались по земле.

Тропинка с камня на камень. Путается в высокой цепкой траве. Белый, горько пахучий сориполой и розовый, нежный и плодовитый овядань. Скалы... вдруг морщинистое серое лицо. Мхи—седые бачки, косматая борода...

— Деревня далеко?

— Деревня далеко... но нам не деревня. Мы сейчас здесь стоим.

Тропинка в речку, в ручей... Блестящий, чистый... Булькает, камни выглаживает, каждую шершавину выедает. Блестящий, чистый, как кусок зари между горами.

С камня на камень, через ручей.

На том берегу Сидоров посвистывает.

Сначала тихо, потом погромче. Далеко разохалось эхо.

Ответа нет.

— Значит, перенеслись... Это не задаром.

Тропинка, улав в долину, вьется по ней. Но сопки все тесней. Нахлобучились лесами. Золото, багрянь и прозрачная, как солнечные вязанки, желтизна. Скалы... зеленые, серые, синие. Тропинка между ними. Идешь и шаг гулок, как в пустых залах, и, кажется, смотрят. Уставились тысячами впадинок и глазеют.

Снова под'ем. Сначала медленный, незаметный, потом гора, как конь, поднялась на дыбы. И все уже тропа. Камни запорошили тропу. Стук-коот-коот выстукивает каблук.

— Сейчас будет потрудней—говорит Сидоров.—И руками придется. А вы, Василий Иванович, не бывали здесь?

— Нет. Давно хотел. Но из города нашему брату разве вырваться?

Тайга редеет. Светит широким воздухом... Опять ярко багреет виноград. И вдруг сразу все оборвалось... Тропинка метнулась влево и—золотисто-зеленое нагорье, залитое солнечным ливнем, засыпанное сорипо-

лоем и лиловыми веями. А впереди, так в получасовой ходьбе, синеватая отвесная глыба... каменное опоясье, перехватившее овидь.

— Вон через энту. Торчьмя стоит, а обойтить не обойдешь, потому провалина прямо без дна. А пока привалок смастерим. У меня в мешочине кое-чего...

Бросил палку, скинул мешок с плеч.

— ...есть. Соберу хворостей, распалим.

Ланковский опустился на траву и сразу охватила душистая теплота. Какая-то рука мягкая... в которую можно вдавиться, можно угрязнуть. Лег на спину, закинув руки за голову. От земли тянет вином. Растревожена полуднем каждая травка, каждый бугорок пропотел. А небо ровное, безоблачное. Под рукой у Ланковского копошится... золотистая букашка, муравей, заселивший всю землю.

— Ну, вот... будет,—затрещал хворостом Сидоров.

Расчистил траву, привалил два камня.

И бледный огонек.

Душистая змейка дыма... вправо, влево и, наконец, вверх, слегка покачиваясь на простынях ветра.

— А теперь припечем...

Вытащил из сумки картофель, кукурузу...

— В золе лучше.

— Тут золы не дождешься... можно и так.

И через четверть часа ели, обжигаясь, кукурузу, каждое зернышко которой было позолочено огнем, мучнистое, душистое.

— А вы ей соли на хвост, Василий Иванович... С солем действительней.

...И картошку с хлебом ели.

— Вкусный хлеб, товарищ Сидоров, в городе такого нет.

Сидоров усмехнулся.

— Это непросеянный, отрубяный... Как то был у нас в отряде дохтор. Што, грит, таким здоровьем свиней кормите? Без энтого, грит, хлеб на половину слабей. И много еще чего говорил. Так опосля мы, которые пекут, просили: а вы нам с соломкой... И хорошо. Дух хороший.

— А что, Сидоров, партизаны за советскую власть или только против колчаков?

— А хто их знает,—задумчиво разжевывал Сидоров...—Хто их знает. Сами за себя... Сичас-то советские. Ты им, Василий Иванович, далеко не забирай. Вот, что под ногами...

После отдыха шли опять.

Лес осел. Широкое плоскогорье—бледно-зеленое, запахнутое душистыми ветрами и вправо, и влево, и назад синие вершины сопок, а спереди бледно-голубая отвесная стена. Узенькая тропинка, не то зверями, не то людьми протоптанная по буйной траве. Солнце—бело-золотой моток. Какая прялка прядет над миром!

Идут час... другой, третий.

Ланковский качает головой.

— Что за чертовщина, товарищ Сидоров, где же твоя стена? Она ни на шаг не ближе?

Смеется:

— Чего не ближе? Ближе.

— Да как же ближе? Мы сколько уже идем, а она все такая же синяя...

— Воздух здесь... скрозь далеко видать...

Солнце совсем позолотилось. А далекие вершины на юго-востоке фиолетовым пеплом запорошились. Скала близка. Сплошная отвесная глыба. И около—десяток подружек карлиц. Как взбираться. Трещины, по которым в дожди бушует вода—единственные дороги. Трава у подножий высокая, жесткая и цепкая. Низкая поросль чертова дерева.

Когда подошли вплотную—солнце маленький красный глазок, а вся скала горит фиолетовой багрянью. Наклона почти нет. Закинешь голову: глыба за глыбой и только муравьиная дорожка от дождя вьется змеей.

— Ну, здесь заночевали,—сказал Сидоров.—На ночь глядя не полезешь. А и ночевать здесь лафа.

— Лафа?—усумнился Ланковский.

- Пошли,—вместо ответа зашагал Сидоров.

Шли возле самой стены. Тропинки нет. Трава жесткая, цепкая—по пояс.

— Змеевище,—покачал головой Сидоров.—Раздолье.

— Разве? Так высоко?

— Змеё бывает разное. Здесь такое, что теленка глотнет и не задохнется.

— Н-ну?

— Весной партизаны одну иссекли. Встали с ночеви, а она ползет в пещеру... Иссекли...

Прошли шагов сто. Низкий, округлый проходец.

Сидоров становится на четвереньки, ползет. Ланковский за ним. Камни теплые: на них еще красная ладошка солнца. Ползут. Темно. Под руками щебень. Может быть пять минут, может быть пять секунд, тут разве исчислишь время.

— Есть, вставай.—шоркает спичкой Сидоров.

Ланковский встает, но спичка тухнет. Снова темь. Слышно, Сидоров идет... возится с чем-то. Шорк спички... Огонек. Сидит на корточках, сгреоает.

А фигура его и тень—огромный, приземистый над бездной орел.

— Сюда, Василь Ванович... все в порядке.

Разбегается огонь по сухим сучьям. Потрескивает лапочкой огненная белочка. Пушистый хвост—душистый дымок—распустила, машет.

— Ну вот, будем и согреты, и наеты, и выспимся.

Ланковский видит: стены пещеры расходятся и пропадают. Черная пустота, куда огонь закидывает бессильные коготки.

— Пещерина... Сидоров... а?

— Н-да... добрая...

— А как называется вся эта скала, Леонтий Савич?

— Скала? Прозывают Пояс царицы...

— А пещера?

— А пещера?.. Пещера никак... Пещера—и просто. А можно бы царская утробина, потому конца ей нету.

— Нету?

— Нету.

— А что-же ходили?

— Охотники ходили.

— А ты, Леонтий Савич?

— И я ходил.

— Ну, что-же? И конца нету?

— Нету... Потом она косит... вниз спадает... А шагов за сто отсюда криница. Вода ледовитая... глотнешь—зубы заходят... и серой, не то чем отдает. А потом идешь вниз и вниз... Несешь какой фонарь—ничего: стен не бярёт. Гукнешь — катится гук, как ком.

— Ну, а почему-же никто до конца не доходил?

— Да, так... Идешь, идешь и жуть. Что-же итти-то? Лет двадцать будет—приезжали сюда американцы што-ли, золотоискатели. Будто царь китайский убег сюда, запрятал клады, а потом побит был... Так и осталось все.

Костер разгорелся. Тепло. Видно: у стен навалены кучи хвороста, сухой травы, примятой от лежки.

Вот закурим... Кипяточек... Поснедаем и на бок.

Ушел с чайником. Гулко громыхнуло эхо. Высокая фигура слилась со своей тенью в одно громадное, лохматое. Шум от шагов: тысячи карликов бегут по стенам, по сводам.

Чайник оплеснулся огнем. Зашипели упавшие капли. Сидоров из котомки вытащил хлеб и жестянку с медом.

Долго в ночь костер горел...

Припалили хворосту, нанесли травы, улеглись около. И как только огонек спадал, Сидоров просыпался, вставал на колена и, похожий на распростертую птицу, бросал в костер коренья. Сквозь треск костра слышен внимательному уху тихий музыкальный гул... точно где-то далеко-далеко переливают воду в стеклянных сосудах. Вася слышит... или ручей из криницы, или ветер в какую-нибудь трещину.

Засыпал. Мысли походили на прыгающих по снегу воробышков. Прыгнет и лапку подожмет. Что то клюнет...

А на утро разбудил Сидоров.

— Вставай, товарищ, вставай.

Самые струйки зари набивались в какие-то щели. Различались стены, неровные, глыбистые. Но потолок таял в высоте.

Пошли назад. Все суживалось, как зев, скручивалось в воронку. Наконец поползли... Выползли.

Воздух румяный, тревожный, безветренный, холодноватый, горький. Ширь... зеленоватая, перевитая парами...

Сидоров шарит под скалой.

Вытаскивает длинный канат. Обвязывает вокруг пояса. Протягивает конец Ланковскому.

— Вяжись.

Затем скидывает сапоги, увязывает через плечи.

— И тебе, Василий Иванович, тоже. Хотя больновато.

По выбоине потока. То здесь уступ, то там скважина. Но едва уцепится рука, едва станет нога... А нужно еще напречься на этой точке и подтянуться или оттолкнуться для прыжка. Сидоров, как коза. Далеко вверху. Поджидает, учит: только не отдыхай, Василий Иванович, не останавливайся... а то сразу отяжелеешь и трудно...

Ланковский оглянется: отвесная стремнина. Жутко. А забояться нельзя—сразу и рука и нога неверна.

Отдыхали на плоской глыбе. А чтобы дальше—нужно перепрыгнуть через бездну, шириной в два с половиной, три шага и стать на узенький покатый выступ. Точно язык высунула противная стена и дразнит.

Солнце одолело высоту. Теплело. Даль погустела. Захватывал кривой ветерок. И так ползли: ящерицами, извиваясь по сыпучей проточине, ухватывая всякую шершавину и бугорок.

И наконец вползли.

И только показалась голова над краем стены, ударил сумасшедший ветер. Ровный, непрерывный: новая стена.

Шли, сгибаясь на-половину по ровной, неширокой площади. И через десять минут наклонились над пропастью.

Далеко внизу—река. Излучины ее под самой стеной. Но это так далеко, что река кажется серебряной лентой. А горы—холмы. А леса на них—травы, точно щетина обстриженных волос.

— Но вышина! В двадцать раз выше, чем вползали.

Сидоров шарит в расщелине и вытаскивает длиннейшую узловатую веревку. На конце железная растопыренная лапа. Она цепко уходит в щель.

— Поехали—охватывает Сидоров ногами и руками канат и виснет над бездной.

Спустились на серую скалу, похожую на развернутую книгу. Над самой рекой.

Сидоров закрепляет веревку.

— Ну, в полдень будем у себя. К обеду, значит, прямо. Шаганем, Василий Иванович... Должно наши туда перекочнули.

VI

Сегодня, после от'езда Васи, к вечеру пришла товарищ Валентина. Волосы она остригла для легкости. Для бодрости курит папиросу в прозрачном коричневом мундштуке.

— Иди гулять, а я постерегу сокровище.

— Гулять.

Гулять. И зайди в берлогу, просили.

Муза вяжет платок на голову, красный по своему украинскому обычаю. Накидывает плащик и сбегает по Манчжурской улице.

В Гнилом Углу, в берлоге, в домике над скалами, около военной дороги на форты, несколько товарищей.

Последние известия: партизанские отряды группируются вокруг города. Идут переговоры с японцами о невмешательстве. Но их сам черт не поймет...—Да... да, да... неизвестно... хорасё и прочее. Однако, среди солдат у них кое-какие беспорядки. На-днях целую роту, закованную в кандалы, посадили на транспорт.

Маленькая комната, выбеленная известкой, два оконца, белый стол, несколько скамей. В углу на табуретке самовар и стаканы. Это жилище товарища Борзых. Вся берлога его в две комнаты. Он одинок и суров. У него жена—революция, а другой и не надо. Немного косматая голова и очень косматые брови. Широкий нос и черные глаза. Чаще—задумчив и тих. Реже—ненавидит и беспощаден. В задней комнате над кроватью полка с тетрадями и книгами...

— Образование, образование и образование,—говорит Борзых. Если есть где-нибудь рай, то это наверно огромнейшая библиотека, а святые только и делают, что читают. Очки на нос, потому старички, и все книги, книги. Да вот некогда,—добавляет со вздохом и хлопает по толстому тому Фламмарионовской астрономии.—Пять лет читаю и только за первую сотню перевалил.

И в это время его улыбка похожа на испуганного зайца, захваченного на меже пешеходом... Грубые черные руки с узловатыми пальцами, которым трудно разогнуться, бережно облистывают переплет.

Он любит беседовать с Музой. Когда товарищи расходятся, придерживает ее за руку и спрашивает, улыбаясь:—Ну, что нового, товарищ Ланковская?

Муза жмурится, улыбается.

Муза заходит в знакомые домики, тихонько постукивает, отзывается на спрос, передает брошюрки, газеты. Как за это время изменилось настроение рабочей слободки! Редкий обитатель не чувствует гордости от сознания, что он пролетарий и призванный спаситель мира.

Улицы темные. Кое-где фонари. И оттого небо ближе и ярче. Овраги. Улицы сбегают в овраги и тогда они—кривые, твердокаменные тропинки. Муза разнесла всю литературу, десять отобранных листовок оставила в чужих, заранее намеченных домах. Тихонько отворяла створу воротца и под яростный лай собаки всучивала листовку какой-нибудь дверной щели. Внизу лежал город, тихий и мирный. Залив перемигивался с береговыми огоньками.

Было поздно. Дверь кирпичного домика заперта. Значит не дождалась Валентина и ушла. Муза пошарила в условленном месте ключ. Вошла. Тихо и пустынно. Прямо в широкие окна мерцает небо и далекие фонари. И из окна небольшой комнаты, точно из рубки воздушного корабля.

Мирра дышит. Как будто птичка торопливо трепыхается крылышками.

Пора отдыхать Музе.

У стены против окна кровать. Садится на край.

Каждую ночь они укладываются рядом. Это так нужно. Как нужна вода и хлеб. Она ляжет, прижмется к Мирре и чувствует, как вся начинает успокаиваться и затихать. Пусть устала она. Пусть измучилась... тем более пьет каждая волосинка тела теплое бодрое вино.

Медленно раздевается Муза. Обмывается перед сном. Привычка эта с первых дней брака. Ведь кто знает, что принесет ночь. Быть может, захочет прорваться в мир новый человек. Большая ответственность. Будь осторожен.

Улеглась. Рядом теплый, живой комочек. Дышит... точно воробышек крылышками треплет.

Идет ночь. Покрякивает в руку гудками дежурных паровозов. Бьет склянки на судах. В открытое окно ветер шевелит волосами Музы. Соленой свежестью обдает лицо.

VII

После полудня пришли в деревню. Десятка два домов. Крепких, срубленных из целых стволов.

Долина. Кругом горы, лохматые, зелено-синие, ближе—золотобагряные. Поля за лесом.

Тропинка, засыпанная гранитом, по чащам дикой малины, смородины и винограда, вдруг привела к деревне.

Небольшая деревенька. Десятка два домов. Но плотно зажитая.

Оно, конечно, осень. Золотистая и пунцовая, горько дымчатая осень. Почему и не погулять парнятине... Пусть их.

Когда вошли, по деревеньке разбежались посвисты.

Сидоров окрикнул вдоль по улице... Путники подошли к четвертой избе слева.

Частый тын. Из-за тына на улицу любопытные головастые подсолнухи. Шевелят, как ушами, ясными лепестками. Немного гряд. Но уже опустошенные, по которым невозбранно печатают следы скотина и люди. Звякают сенцы. Сразу темно. И вот в избе с низко нависшими балками. Сначала как будто никого. Только большой круглый стол у низкого окна, а с балок всякая всячина... хомуты, веревки, деревянные и железные снаряды, так что нужно пригибаться.

Но потом Ланковский в углу, на разостланной шкуре увидел старика. Сидел на корточках и плел руками не то травы, не то бичевки. Кивнул головой вошедшим, долго посмотрел, но руки плетут.

Сидоров сел за стол. Обмахнул рукой:

— Моя хата, Василий Иванович... мой родитель..

Старик опять кивнул головой.

— Нам пообедать... Есть чего?

Старик встал. Оказался высокого роста, в длинной серой рубашке, перетянутой шнуром, босой. Борода полукружьем.

Проговорил негромко:

— Арустя.

Из двери, низко прорубленной, показалась женщина.

— Пообедать подай. Время.

И вышел, захватив со стены полотенце.

— Чудак-человек,—проговорил Сидоров.—У нас теперь мало таких... а раньше все.

Арустя принесла тяжелые тарелки и ложки. Потом чугунок с кашей и звонкий жбан молока. Лицо ее хорошо, хотя несколько странно: ровно загорелое, спокойное, но глаза прозрачно-голубые и когда засмотришься — нету предела, точно пустота. И брови выгнуты, как прыгающая коза через бездну.

Старик вернулся. Было видно, что обмыл ноги, руки и лицо. Разложил на тарелки кашу, залил молоком и ровными квадратами нарезал хлеб.

— Пробуйте,—пригласил неожиданно звонким голосом.

Во время обеда молчали.

Арустя приносила еще морковь, горох, огурцы. Под конец кувшин холодной, чистой воды и мед.

После обеда Сидоров ушел в отряд. Ланковский остался за столом.

Старик молчал, положив руки на стол. Смотрел в окно и на гостя.

Сказал, наконец, тихо:

— Вы, господин, нашей чистоте и жизни непривычны, но не дивитесь. Одна простота. Живешь, как землица пронимает.

— Землица пронимает? не понял Ланковский.

— Землица пронимает,—повторил старик.—Потому что она хочет мира. А ей неоткуда угребнуть мира... Как будто и тихо, а все злобствует. Кто понимает—никто. А кто понимает, да можбы нет. А человек знает, ему дадено. Выдь в сопки, по реке-ли, просто-ли середь леса, слухай. Как в колодезь, уляжь в сердце. И скажет она, землица...

Он помолчал.

— Парни наши с войны пришли... потеряли всякую суровину. Научились мысленному пьянству. Человек один, говорят, и все сокрушит. Не один человек, господин, не один. Человек, как в воду утоп в землицу. И плоть его—землица и мысли его—землица. И нет в нем ничего своего. А когда от своей яд'ери отмахнется—быть беде.

Глаза старика лучились. И в эту минуту Ланковский увидел, что глаза старика такие же прозрачные, как и у Арусти.

—А у вас в деревне все так думают?

Покачал головой.

— Не... старики думают, парни забыли.

Молчал, глядя в окно.

— Женщины, как хто.

— А церковь у вас есть?

Старик усмехнулся:

— Кака. Из каменности, или срубяная?.. Нету... церковь мы не строли.

— А детей крестите?

— Бывали,—неопределенно отозвался старик...—Но помни: по весне земля моет... и в жаре, когда запотеет все и выстет—тоже моет. Помни. И человеку не без воды... Когда ешь хлеб... А что есть хлеб? Хлеб—землица есть—проросшая и бегучая...И когда ешь—земляница тебе в нутрях... Потому моюсь, идучи за стол... внял? И дитё обливать водой—закон... Только не попу? Внял?

Ланковский кивнул головой.

— И потому нет мясоедины. Может когда ели и все... А теперь землица звукает: перестань, буде. Може теперь на новую тропочку застала и топочет. Вкуси плод и зерно. И это нам, человекам, дадено. Ибо нет в плоде и в зерне трепыхания... Еще не пришло солнышко и не уселилось. Та-ак... Внял—господин?

— Внял,—улыбнулся Ланковский.—Это хорошо. Только не зови меня господином. Время господ прошло, а я им никогда и не был.

Старик перебирал руками и смотрел в окно, потом сказал медленно, отбирая, как звонкий камешек, каждое слово:

— Господин—слово хорошее. Это значит есть в тебе сила. А мне благо почтить твою силу. А сила есть в каждом, только не каждый знает про её.

— А что, дедушка, партизаны у вас часто стоят?

— Бывают.

— А крестьяне, как с ними?

— Кормлют... Партизаны есть негодящие... Пойду партизанить... ай-да гульба: накормлют, напоют, а ты с ружьецом... и лапотка не сплетешь.

— Это всегда бывает, дедушка, от этого не уйдешь.

— Ну, как знаешь,—усмехнулся старик,—а я уйду покаст. Прощенье.

Ланковский прилег на широкую лавку. Отдыхал. За стеной ходили, тихо говорили. Дверь отворилась. Оглядываясь, вошла Арустя и скользнула в сени. С лавки рассмотрел, что юбка синяя коротка и ноги босы. Не заметил—заснул.

Проснулся. Темновато. Сразу учуял горький, но приятный запах сухих трав, развешанных по стенам. Входная дверь притворена и оттуда негромкие голоса.

— А я говорю тебе, девонька, нелепо... Раньше осядали улейком... роились... А как-же так отепляться? Кто гнездовье совьет?

— Почему не отеплиться,—тихо говорил женский голос.—Что ветер, что солнце, что мужье—сила одна.

— Сила одна,—возвысил голос старик,—да не единолика. Пшеница и полынь—сила одна, но како поешь? Не единолика, девонька... Нутру отеплиться нельзя без размыслу...

Лавка треснула под Ланковским, разговор смолк, но и со двора раздавались тяжелые, широкие шаги. Вошли в сени.

— Гость здесь? — спросил Сидоров.

— Спит.

Сидоров вошел в избу.

Чиркнул спичкой, подошел, наклонился через стол...

— Василь... Ванович...

— Ну?

— Не спишь?

— Спал.

— Парни будут на утре... Ребята пошли, зовут. На улицу хошь... теплынь... Посмотришь.

— Добро, товарищ, залежался, с непривычки размяло...

На улице тепло. Сладковатая гарь... Будто горят где-то сладкие душистые деревья.

Изредка дома светятся. А за далекой восточной сопкой зарево... Расплескалось светлое молоко, точно тысячи коров опустошили тучные вымена... Это одолевает земную тягу луна. Звезды ярки. Прекрасные глаза... Прекрасные шары, постоянное нам напоминание. И земля. Странница вечности. И люди мы. Мечтающие о вечности... О нашем шаге, который бы тяжел был жизни, как поступь пылающего солнца. И разве виновны мы, что наша мысль зовет нас.

Говорят, хороводы звезд... Говорят мир единое... Все разнообразие—распластанный бег одного вещества. И почему нам на земле не хороводиться?

Улица ветвилась тропинками. На одну из них свернули. Деревья сгруживались с каждым шагом... Совсем темно.

— Не видишь?—Сказал вполголоса Сидоров.

— Не вижу.

— Смотри в спину.

— Смотрю.

Так шли. Тропинка забирала вверх.

— Стой,—предостерегает Сидоров.

Тропинка рвется на утесах. Внизу падь. Два больших костра... люди.

— Ну, вот... смекаешь?

— Не совсем...

— Любище...

— Любище?

— Парни и девки гуляют. Раньше... которая пара скрозь огонь бегали... так нагишом... в телесах, ей-бо... Теперь чужаков нашло, так просто спевают, бегают... Посядем... Хочешь сползем...

— Ничего... посидим.

Костры разгорелись... Осветилось. Видно: девки бегают у одного, парни у другого. Шорох и треск шагов и ветвей. Фигуры торопливо скользят и тени за ними. Точно плащи за плечами трепещутся.

— Это они тягаются,—вполголосит Сидоров,—которые перевесят, тех воля.

— А обычно, кто перевешывает.

— Как хто... Одначе парни... да девки хитрят и сейчас у них выгрузней.

Девичий костер действительно выметывался выше, пунцово-желтыми лапами огребая долину. Молчаливая борьба продолжалась еще с четверть часа. Но, наконец, вся костровая снедь была брошена в горячую жижу. Парни и девушки уселись вокруг костров, Молчат.

Сидоров шепчет:

— Василь Ванович, вон там, в сторонке, два судьи... Смотрят, который перевесит, и как скажут, так и быть тому.

Оба стана без звука. Не похоже на игру. Только доносится шороханье огня.

— Мужний, мужний... доносилось со стороны.

Мужской стан вскочил. Ланковский ждал звона и гогота, но ничего не было. Парни сбились в кучу, совещались то громче, то тише.

Одолела луна высоту. Вынесла над горой медный светящий кулак. Хороша ее тяжелая меднота, прищуренный близкий глаз.

Девушки у костра... равнодушно, будто подгребают угли.

От мужней группы идут двое.

— Есть,—говорит Сидоров...

Парни подошли, проговорили что-то, но не слышно на скалах.

Девушки помолчали, потом отозвались ладным хором. Но и их слов не разобрать. Потом запели тихую, жалобную песню.

Но потом вместо суровости и жалобы—хохот тугими мягкими котятами... визг и беготня игр. Эхо кувырком каталось в горах.

Костры сгорели. Но сыпалось серебро луны. И как то внезапно все утихло. Девушки отбились в табунок, вытянулись ниточкой и ушли не спешно межгорьем. Но осталось четыре-пять на пепелище. Парни ушли, но осталось четыре-пять.

— Вон, товарищ... вон чего востребовали... Попались лиски.

— Пойдем и мы,—сказал Ланковский.

— Пойдем,—вздохнул Сидоров.— Ох, она партизанщина. Раньше-б домики уклеили... А теперь, что твой кобель... наскочил, а вдругораз и не сыщешь... Как обсеменишься. А на безмужьи девка не справит...

— Однако—идут.

— Идут... потому кровь в человеке змеиная... жжет.

Ночью лежал на той же лавке Ланковский. Но не спалось. Горький и сладкий дух трав. Ночь легко и душно по-летнему шагает. И дышишь—точно полотна переполаскиваешь. И поймал себя Ланковский: землица... стариковская землица хороша. Стариковская землица, что девушка... тысяча лет, а коса огненная до пят. А тело тугое, ножом не взрежешь. Скачет мысль: я и мир... Я и люди... Когда же конец нашему я?..

Скрипнули воротца. Шаги у дома. Звякает дверь. Это Арустя. И около Ланковского босиком, на цыпочках.

Ланковский не видел, что назад четверть часа Арустя сидела над грядами огорода. Скинув юбку, в одной сорочке, заплеснув концы ее за пояс. И захватывая полной горстью черную комкастую землю, разминала

ее пальцами... И уминала у себя между ног. Потом с громким шопотом рассыпала окрест. У зари Ланковский заснул.

На заре пели петухи и пар над рекой теплился розово. Парни и девушки возвращались с любища,—отскрипели в воротца. Старики спали и мысли их были о темной землице.

На заре с двух сторон подошли к деревне калмыковцы. Отряд конников в 200 человек с тремя пулеметами. Отряд вел эсаул Черных. Тот, что знаменит своими темно-красными шевровыми сапогами. Они достались ему с месяц назад. Около Хабаровска остановили тогда поезд для обыска. Искали комиссаров. Но не нашли. И уже на выходе на площадке приметил Черных мужчину в студенческой фуражке и женщину с ним. Они шуршали китайскими орехами и пересмеивались. На студенте был френч и мягкие темно-красные сапоги. О таких сапогах Черных мечтал все последнее время. Сердце у него дрогнуло и слегка захватило дух.

— Вы арестованы,—сказал студенту хрипло.

— Я?—удивился студент.

А женщина побледнела, как снег, и глаза ее на белом лице стали, как две черносливины.

Казаки подхватили студента и свели на насыпь.

— Но, позвольте, это ошибка, моя фамилия Волин... вот студенческое удостоверение...

Черных взял удостоверение, осмотрел невидящими глазами, сунул в карман.

— Мы тебя искали. Ты большевистский комиссар Фельдман.

Женщина стояла на площадке и, вцепившись руками в перильце, крикнула:

— Нет, нет... что вы!..

Но Черных решил итти прямо к цели.

Он свел студента с насыпи и, торопливо вынув револьвер, застрелил его у телеграфного столба.

Казаки, дежурившие возле паровоза, крикнули машинисту. Перепуганный, он дал ход. Поезд скрипнул, пошел... За поворотом скоро скрылся.

Тогда Черных хмуро подошел к трупу и стянул сапоги.

А на площадке бегущего вагона сидела молодая женщина прямо на полу, бледная, как снег. Глаза закрыты... голова, как чурбанчик, обстукивает стенку.

Калмыковцы на заре подошли к деревне. У входа и выхода поставили по пулемету. Третий взяли с собой.

Застучались по избам.

— Ээй, отворяйте!..

Просыпались, отворяли.

— Тах-тара-тах,—внезапно ухнули выстрелы...

Через окна, через двери выскакивали.

— Тах-тара-тах...

Сидоров, Ланковский бегут задами...

— Много партизан в деревне, Сидоров?

— Да десятка полтора разбрелось...

У одной избы Сидоров распахнул окно.

— Сенька?..

— Я...

— Скорей!..

— Иду...

К окну подбежала женщина.

— Он не пойдет, он не пойдет, буде, что за...

— Стой,—прервал Сидоров,—Сень, поздно.

Сенька возился в углу, но зоркому глазу Сидорова ясно, что руки без дела толкутся в хламе.

— Не дам,—вскрикнула женщина,—хватает...

— Сенька,—проговорил в окно Сидоров,—я больше не жду... Я тебя, как товарища, а теперь приказываю от имени комитета... Если ты... то...

Вынул кольт и положил на подоконник.

— Брось,—крикнул Сенька,—вот все... вот только пристегну...—Застегивал и расстегивал он ремень.

— Ну?

Сенька перепрыгнул окно и трое молчаливо побежали через огороды к сопке.

Но за заборами трескотня...

— Э, чорт,—ругнулся Сидоров...

За заборами трескотня и конский топот.

Пригибаясь подскользнул к забору, глянул и назад.

— Засели...

С правой стороны рассыпался пулемет.

— О-ой!—Встал, как нестерпимо яркая свеча, женский визг. —О-ой!..—Неколебимо. Не опадая, не поднимаясь.

Сюда,—махнул Сидоров.

Пролезли в выбоину тына. Присели: по улице бежали казаки.

Потом переметнулись по двору и втиснулись в разрушенную баньку. Сидоров указывал путь. В темноте за что-то схватился, подтянулся. Раздался сверху шопот: «Василь, Василь... сюды...»

Ланковский нащупал: выступ. Не то доска, не то балка. Полез. Чиркнул спичкой.

Наст сплошь завален прятунами. Человек двадцать на полу и по углам.

Присели.

Из-за стен крики... крепкая, как мороз, ругань.

— Та-ак-ак,—раздался залп, точно в самую баньку...

На насте тихо. Мышиный хвост по пыли громче. И вдруг детский плач.

— Уай... ай, а... а..!

— Ш... ш... шш...

— Уай... ааай!..

— Шш... шш, перестань!

Глухо «уай» младенца: зажато лицо в грудь.

С правой стороны попрежнему сыпит пулемет...

Сидоров шепчет...

— Засели. Вот дрянь... Как крысы... Эх, дрянь

И снова залп, точно в самую баньку.

— Штаб што-ли ихний?

Минута тишины: ни пулемета, ни винтовок, ни людей.

— Ох...—не вынес кто-то тишины.

И вдруг ясно стало, что к баньке идут.

Опять залп, второй, беготня винтовок, но ухо слышит только этих, идущих к баньке.

— Уай... ай... аа...—закатился ребенок.

— Шш..

Захлебнулся рукой... Но вырвался и

— Уай... а... ааай...

— Маринка..,—зашипели,—Маринка, или выметайся... или... слышь...

— В амбаре шарют... сичас к нам...

— Уай... а ам...

— Маринка, застервишь!..

Ребенок стих, точно подавился

Шаги у баньки. Разорванный лохматый плеск факела лизнул стены...

— Э-й, есть кто здесь? Погляни, Елпанов, есть ли кто?

Молчание, очевидно Елпанов смотрит баньку.

— Ни черта...

Ушли дальше...

Солнце смотрело во все глаза. И бесстыдно пролитая кровь уже давно просохла. Тихо, ни крика, ни выстрела. Сидоров спустил ноги в сквозящую пустоту баньки. Мягко осел вниз. Скоро вернулся, окрикнул:

— Вылезай.., Не-ету...

У противоположной избы грудкой лежали мужики и бабы, распоротые пулями. Мимо проходила женщина, неся что-то увернутое в платок. Когда прошла, сказал Сидоров Ланковскому:

— А это та самая Маринка. Удушила младенца-то.

Помолчал.

— Пойдем што-ли, побродим...

Ланковский кивнул головой:

— Побродим... Нужно же информировать.

— Правильно... А завернем к старику-та... жив-ли?

VIII.

Январь месяц. Тайфуны роются в горах. Но бесснежно. Пыль бьет в лицо, засыпает рот, глаза. Аресты, расстрелы.

Муза одна с осени. От Васи ничего. Неужели нет возможности передать записку?. Или... или... но нет.

Похудела. Миндалины глаз расширились и кожа перестала светить кровью. И когда сосет грудь, в ответ хочешь непомерной работы, подвига, на котором растянуться бы всем существом... Она много работала и училась.

В свободные минуты, которых днем было сравнительно много, сидела, поджав ноги, на широком подоконнике. Залив застеклянел. Все сопки желтосерые. Но сплошной поток непрерывного зимнего солнца вливает радость и в желтизну и в серь. И греет. Пар поднимается с подсолнечной стороны улиц, там, где лужица какая или ледок...

---

31 января, в сумерки, по Светланской со стороны Первой Речки шли вооруженные отряды разнооодетых людей

Высыпал народ... Японцы вдоль тротуаров глазеют.

— Вы кто?—подбегает к отряду японский офицер.

— Мы советские...

Агха... хорасё, хорасё. .—задумывается офицер, не получивший никаких директив и растерявшийся.

Со стен домов и заборов загрозились об'явления главнокомандующего Оой.

«...Никакие вооруженные действия не будут допущены... Безопасность иностранных подданных... Забота о благополучии великого русского народа...»

— Так, так... но вот вошли же, вошли.

Муза в районе Мальцевского оврага... В овраге, со стороны Абрекской улицы, под скалами полтораста винтовок и мешки с пулями.

А по базару толкаются любопытные. Муза в широкой, немного ниже колен, шубке. Хорошо, что широкая—карманы не топырятся. А в карманах—в одном браунинг, а в другом обоймы.

Опять отряд.

И вместе с радостью и торжеством, что вот вошли же, посмели, сладкая жуть: быть может и он с ними... Все для революции—да. Но ведь революция для нас.

Огни в эту ночь горели слабо. Трамваи стали к шести часам. Были слухи, что растерянные розановцы, не успевшие устроить самой маленькой провокации, необходимой для законного вмешательства японцев, попрятались у них в казармах. Но казачья охранная сотня засела в Народном Доме.

Ночью к Народному Дому стянулись партизанские отряды. В ночном разливе на башенке Народного Дома слабо трепыхался трехцветный флаг.

Народный Дом на полусопке. Отсюда, как на ладони, залив и главная часть города.

Ночью со стороны Народного Дома застучали выстрелы. Посыпался треск пулемета.

Японцы бездействовали. Слишком поздно: партизанские отряды заняли весь город.

Муза лежала за отрезом сопки с отрядом, готовая каждую минуту на помощь. Она испытывала странное опьянение: точно кто-то вытягивал все ее жилы и наливал горячим крепким вином. Ни о чем не думалось.

Но к заре трехцветный флаг спустили и казаки, сдав оружие, ушли.

Сероватую рубашечку натягивал восток, звезды меркли. Ветра не было. Мимо Народного Дома поднялась Муза на сопку по лестнице. Пусто на улицах. Воздух прозрачен: далеко видно. Видно, как нижние улицы, точно шарфом, перетянуты дымными полосами, тяжелым скучным воздухом. Каждый шаг ее к дому—будто она босиком, а улица вся не песком присыпана, а горячей золой.

— Если он пришел с отрядами, то должен хотя бы на минутку забежать.

Вот и кирпичный, с перевала приземистый домик... Выбитое стекло, неплотная дверь. Стучит... нет—открыто.

Щелина света из столовой.

Он... Вася... сидит за столом. Голова упала на руки. Спит... Милый Устал, спит...

Зовет, едва слышно, одним шелестом...

— Вася...

Вздрогнул, поднял голову.

...Чужой, совсем чужой... обросшее бородой лицо.

И она, Муза, ему точно чужая...

— Здравствуй,—говорит он, а язык хочет сказать—здравствуйте.

— Здравствуй,—смеется она,—здравствуй...—И голос и смех ее бьет, как целый звенящий оркестр...

Пожимают руки. И ладонь жены так странна его руке.

— Что,—замечает его смущение,—или изменилась?

— Да, совсем не та... выросла.

— Выросла. Так я еще росту. Но сначала вопрос: ты надолго, Вася, насовсем?

— Почти. Я работаю теперь в отрядах. Но отряды здесь и я здесь.

Муза засмеялась. Она расстегнула его ремень, бросила. Расстегнула ворот рубашки. Прошептала на ухо:

— В кухне есть горячая вода... хочешь? А если... ты устал, я тебя сама помою.

Дни пошли жаркие. Будто выселились в тропики. Василий и Муза с утра до вечера в разных концах города. Сойдутся после солнца. Василий тащит воду, топит очаг... Муза перемывает крупу, чистит картофель—и свет в кухне от уличного фонаря—и лохматый, живой из-под железной дверцы. Бурлит вода. Пар светящим косматиком брыжжет вверх.

Прикипал рис, выбухал за края кастрюли, как шапка. Вася кидал свет. И тут же у очага усаживались Засыпали поздно. А там уж в десятом сне разметалась Мирра. Только в кусочке утра доставались девочке папа и мама.

В марте месяце ударил прямой гарью ветер. И по вечерам видно: на далеких берегах Амурского залива огненные ленты кружатся по сопкам. А со стороны Уссурийского, если влезть на Орлиное гнездо, багровый и лохматый дым. Гарь особенно сильна по вечерам. Неторопливый ветер, едва пошевеливая водой залива, расхаживает по улицам. И хочешь не хочешь, а самому тусклому какая-то надежда проскребает сердце. Молодежь бегает вечерами по улицам... Сидят на заседаниях и, возвращаясь, у калиток и ворот давят горькие и сладкие, как гарь, смородины поцелуев.

АДМИРАЛЬСКИЙ ЧАС.

Леонид Мартынов.

1.

Парад. Толпы нестройный гул.
Бомонд вокруг премьер-министра.
— Шеренги, смирно! На к'раул!..
Колчак идет, шагая быстро.
И помнишь—
Рейд. Республиканцы.
— Колчак, сдавай оружье нам!—
Но адмирал спешит на шканцы
Оружье подарить волнам.
И море страшно голубое:
— Жить, умереть, не все-ль равно?
Лети, оружье золотое,
Лети, блестящее, на дно!
А после—
Омск. И пыльный май.
Киргиз трясется желт и глянцев.
Его узорный малахай—
Экзотика для иностранцев.
Моторов шум, торговцев крик...
Капризничают интервенты.
Коверкать английский язык
Пытаются интеллигенты.
Самарцы в каждом кабаке
Свой «шарабан» горланят хором.
И о великом Колчаке
Бормочет пьяный под забором.

2.

Над зданиями флаги ярки,
Но город сер и не мощен.
За кладбищем, в воздушном парке,
Французских аппаратов стон.
Идут белогвардейцев взводы,
Перекликаясь и шумя;
Сторожевые пароходы

Плывут по Иртышу, дымя.
Вот к набережной мирный житель
Спешит, сопутствуем женой,
Смотреть, как черный истребитель
Шипя вползает в Омь кормой.
Стремительный автомобиль
Сбегает с наплавного моста.
Соленая степная пыль
Покрыла город, как короста...
И всюду—беженская тля.
Сенсации ей надо громкой:
— Вечерний выпуск! Близ Кремля
Пристрелен Троцкий незнакомкой!
— Мсье Нулланс царскую семью
Увез в автомобиле крытом,—
Так уверяет интервью
С архангельским митрополитом...
А, в общем—гниль. Эсерский вздор.
Конец бы этому кагалу!—
И вот крадется, словно вор,
Посол казачий к адмиралу.
О том узнавшие—молчат.
Лишь шепчут старые вояки,
Что волк морской степных волчат
Готовит к предстоящей драке.

3.

А в «Люкс», «Буффало» и «Казбек»
И в залы дорогих гостиниц
Глядит прохожий человек
С таким же чувством, как в зверинец.
Возможен ли народный гнев,
Дерзнут ли выступить повстанцы,
Когда туземок, опьянев,
Взасос целуют иностранцы?
Таков неписанный закон!
И коль француз угоден даме,
То русский, хоть и возмущен,
Но удаляется задами...
Жара. И в дорогих мехах
Сопят красотки, как зверухи,
Делец хлопочет, впопыхах
Жилет не застегнув на брюхе.
Купить—продать он все готов:
Валюта, спирт, медикаменты,
Не покупает лишь домов,—
Спокойней есть аппартаменты.
Какие?—Например—экспресс.
Вы помните судьбы уроки?—
В Самаре сел, а после слез
Ну, скажем, во Владивостоке...

Ах, стала-б Хлоя в этот час
Беспутнее, чем Мессалина!
Ведь плата страсти: первый класс
От Омска прямо до Харбина.
А те, кто честью дорожа,
Удобный пропускают случай,
Пусть путешествуют, дрожа,
В теплушке вшивой и вонючей.

4.

Вот юноша (неловок он
В шинели длинной, офицерской)
Насилует здоровый сон
Он по ночам в таверне мерзкой.
Но юноша идет туда
Не пить и не забавы ради—
Поэтов сонных череда
Там проплывает по эстраде.
И песенка у всех одна—
Читают медленно и хмуро,
Что к гибели присуждена
Большевиками вся культура...
Вот девушка, она мила.—
Из Мани превратилась в Мэри.
Она присуждена была
Чекой Московской к «высшей мере».
За что?—не все равно ли вам!
И тень на личике невинном:
Она недоедала там
И... торговала кокаином.
Теперь: наряды, хлеб в избытке,
Театр, купанье в Иртыше,
Наикрепчайшие напитки
И жуть, какая по душе.

5.

Но алый пламень не погас,—
Он в хижинах мерцал нередко.
Угрюмых слов и дерзких глаз
Не уследила контр-разведка.
И ночь была и был мороз,
Снега мерцали голубые,
Внезапно крикнул паровоз,
Ему ответили другие.
На паровозные гудки
Откликнулся гудком тревожным
Завод на берегу реки
В поселке железнодорожном.
Центральный загудел острог.
Был телефонов звон неистов:

— Приказ в наикратчайший срок
Прикончить пленных коммунистов!—
И быстро стих неравный бой.
Погибла горсть нетерпеливых.
И егеря трубят отбой.
У победителей кичливых
Банкеты, речи и вино.
И дам до ужасов охочих
Везет гусар в Куломзино
Смотреть расстрелянных рабочих.

6.

Был день последний бестолков.
— Падет ли Омск?—кипели споры
Пьянчуг, а внутрь особняков
Уж заглянули мародеры...
А вечером, часам к восьми,
Просторы степи стали мглисты,
И, чтоб под Омском лечь костьми,
Вооружились гимназисты.
Но мягким снегом замело
Иртышский берег—поле боя.
И боя не произошло.
Без боя отдали былое.
Киргиз-погонщик закричал,
Затерянный в лохмах мятели.
И потянувшись на вокзал,
Обозы четко заскрипели.
Бегут вассалы Колчака
В звериные одеты шкуры.
И дезертир из кабака
Глядит на гибель диктатуры.
. . . . . .
Морозным утром город пуст.
Свободно, не боясь засады,
Под острый, звонкий, снежный хруст
Вступают красные отряды.
Буржуй, из погреба вылазь!
С запасом калачей и крынок,
Большевиков слегка страшась,
Идут молочницы на рынок.
Обосновавшись у лотка,
Кричит одна, что посмелее:
— Эй, красный, выпей молока,
Поди-кось нет его в Расее!

О п а р а.

О. Рунова.

Красная армия только что взошла в Омск. Триста человек Тверского полка обошли Иртыш и по льду переправились в центр города. Перед ними в величайшем беспорядке, в животной панике бежали десятки тысяч народа. Шла, беспрестанно отставая и растаивая, почти стотысячная армия Колчака; составы теплушек запрудили, забили весь путь вплоть до Новониколаевска, так что—шутили—по крышам вагонов можно было пешком дойти чуть ли не до Тайги; спешно, в виду красных, уезжали на лошадях, уходили пешком; железнодорожные батальоны уводили без дальних разговоров другие составы на запасные пути, в тупики и лезли вперед.

Оставшиеся жители попрятались. Город как будто умер. Из Куломзино, где сосредоточены были главные силы красных, слышался треск пулеметов, где-то бухали глухие удары, на Атаманском хуторе стреляли из окон по убегающим белым.

К вечеру робко вылезли к калиткам обыватели, напуганные предыдущей ночью, когда казаки врывались в ворота, требовали овса, грозно спрашивали женщин: «А где у тебя муж? А вы отчего не эвакуируетесь?» И за всякое непонравившееся слово «сплеча» огревали нагайками.

Выглянула и семья Пахомовых из Бургашкиной квартиры, низенького, покосившегося домика. При колчаковской власти Ивану Николаевичу Пахомову предложили, как выдающемуся бухгалтеру, место в министерстве финансов. Он отказался. Результаты отказа от казенной службы не замедлили обнаружиться. Квартирка Пахомова сейчас же была реквизирована под каких-то блестящих двадцатидвухлетних генералов и полковников. Пришлось за невероятную цену ютиться в маленькой комнатке. А тут приехала сестра из Казани, старшая; вслед за ней из Симбирска другая, младшая. Не жизнь, а кошмар. Кое-как, с помощью одной хорошей знакомой дамы, удалось за невероятную в те дни сумму—пятьсот рублей в месяц—нанять татарский домишко Бургашева, богатейшего торговца кожами. Контора, где служил Пахомов, закрылась. Несколько месяцев он был без места. Наконец, удалось устроиться и то с трудом в с'езде кооперативных товариществ. Старшей сестре Марианне дали, как жене офицера, место в союзе городов. Все трое Пахомовы были похожи между собой; только у Марианны Николаевны черты лица были тоньше и глаза не голубые, как у сестры и брата, а карие.

Улица, покрытая первым свеже-пахнущим снежком, была пустынна. Изредка только долетал гул автомобиля, да раз прошел патруль. Увиден

кучку людей у калитки (девочки, дочери Пахомова, выбежали тоже), один из солдат отделился, оглядел лица.

— Постановление вам известно? В десять часов выходить с пропуском, огни чтобы были потушены.

— Кто это был?—спросила младшая сестра Зоя, ни к кому не обращаясь, шопотом, когда солдаты прошли.

— Кто был... Красные, конечно,—ответил Иван Николаевич Пахомов.—Ты что у них не спросила, кто они?

— Да может быть еще и не красные. Ведь и у нас все дни было осадное положение. Как же это? Ведь Гриша дал мне слово заехать за мной. У меня все готово...

— Ну, я тебе, Зоинька, советую разложиться. А ты, Марианна, кажется, и не собиралась даже?

— Нет, Жаночка. Кто знает, где теперь войска Каппеля. И вот—«Володя»—хотела она сказать, но запнулась и сейчас же поправилась: Владимир Адольфович знает, что я в Омске, хотел быть, но... как же ему за мной заехать?

— Наверное, невозможно.

Она помолчала немного, заговорила раздумчиво.

— Не знаю, поехала ли бы я даже... Наверное, нет. Омск взят был так легко, как будто спелое яблоко само с дерева упало. Теперь советская власть, не по телеграфу даже, а по телефону—ахнуть не успеем—докатится до Тихого океана. Куда ехать? К чему?

Она подумала, но не сказала, что за год с лишним разлуки муж ей стал каким-то чужим, далеким.

— Ну, да. Ты там в своем союзе городов совсем большевичкой стала,—ответила Зоя, с усмешкой оглядев сестру.

— Жизнь учит.

Какое-то розовое сияние вспыхнуло и погасло на северо-западе, осветив локончики Зои, ввиде выстриженного треугольника на темени, и кокетливо накинутый на них шарф.

— Я очень жалею, что из Казани уехала. Очень, очень жалею. Надоела, невыносима стала гражданская война. Не хватило решимости отказать Владимиру Адольфовичу, когда он приехал ко мне. Я в союзе, действительно, очень многое видела. Тоже уже больше не могла смотреть. Так рада, что удалось уйти в школу.

— Да тебе, может быть, приятно быть социализированной!

— Да полно, Зоя... Ерунда.

— У вас с Жаночкой все—ерунда.

— Первый номер «Советской Сибири», первый номер,—закричал, пробегая, мальчуган.

Марианна подозвала его, купила газету.

— Уже газету выпустили,—сказала она со вздохом.—Как у них жизнь кипит, счастливые.

— Кто же вам мешает, Марианна Николаевна? Идите завтра, запишитесь в большевички и будьте счастливой!

Розовое сияние вспыхнуло опять, начало расти, расширяться, внизу его клубились темные, разбегающиеся волны.

— Пожар, пожар!—закричали девочки Пахомова.—Далеко, далеко... папочка, пожар.

— На пожар не похоже. Очень пламя высоко,—заметил Пахомов.

— Нет, подожди,—прервала Марианна, задетая словами Зои. Слова были пустяшные, задевавшие, как все, что говорила Зоя неприятного—царапающе, но поверхностно, но на этот раз они укололи Марианну неожиданно грубо.—Подожди. Я давно хочу поговорить. Нет. В партию не так то легко записаться, по крайней мере, для меня. Да уж если бы я записалась, так это уж на всю жизнь... Все по другому. Для этого надо много знать и думать, учиться. А я что знала? Не успела кончить институт, вышла замуж, интересовалась квартирку устроить, в собрание ездила, танцовала, весь день был какой-то занятой. Владимир Адольфович меня ревновал; семейные сцены сколько времени отнимали; комплименты, успехи меня тешили; по два часа в день играла и языками занималась, чтобы не забыть. Беллетристику читала запоем. С деньщиками хорошо обращалась. Они звали меня «мать родная». В имение Владимира Адольфовича приезжала, там нам крестьяне за десять сажен шапку снимали. Я думала: «простой народ» (Марианна насмешливо подчеркнула эти слова) меня обожает. Я жила, как во сне... Настоящую жизнь только недавно увидала. На митинге солдат в Казани. Потом, когда солдаты брали приступом городскую думу из за пайков. А вот на службе я так увидала!.. Ах, что видела! Какое воровство, наглость... торговля вагонами. Солдаты раненые, умирающие, неделями лежали под дождем... а наши, нами выхлопотанные составы увозили во Владивосток купцов, офицеров, начальство. Все готово к отправке раненых солдат, назначена погрузка, они на соломе, на вокзале, ждут...

Вдруг, стоп! состав кто-то перехватил. И не смей доискиваться, кто «по распоряжению военных властей». Я за всю службу ни разу не видала ни Червен-Водали, ни Бурышкина. А когда захотела их увидать из любопытства перед уходом, мне говорят—они давным-давно уехали. Перед уходом в гимназию зашла в сторожевскую, за чаем. Уборщицы и сторожа меня не видели. Я нашего степенного Вавилыча не узнала. Рожу скорчил ужасную, притворно воет: «Ой-ой, уезжает наше начальство, уезжает, нас покидает, чего мы, сиротинки, будем делать?». Женщины визжат, хохочут... «И правда, Вавилыч, большевики придут, мы чего будем делать?» А он завыл еще сильнее и с таким выражением, с таким выражением—не передать: «А мы буржуев будем щекотать». «То-то, Вавилыч, ты товарищей ждешь, как пирога из печи». Но какие лица у них были, какие лица! И правда. Мы бегали по городу, выпрашивали белья для раненых, а наш склад ломился от великолепных английских фуфаек и кальсон...

Слова ее заглушил тупой, но огромной силы удар, раздавшийся где-то там, в розовом сиянии, охватившем уже полнеба. Темные волны внизу клубились все чернее, удары следовали один за другим.

— Что это? Что это?

И вдруг, словно земля охнула, загрохотало в небе, посыпался снег с крыши, во всем квартале задребезжали стекла: где-то с шумом вылетела рама, застонала телефонная проволока. Во всем теле с головы до ног прошло ощущение внезапного, резкого удара... Девочки громко заплакали.

— Пойдемте домой.

— Что это было, Жаночка? Что?

— Не знаю—сражение... взрыв, ничего хорошего во всяком случае.

— Боже мой, боже мой! Если Гриша попался, что с ним будет?.. расстреляют?

— А то что-же? Щадить будут, что-ли?—с каким-то злым смехом промолвила Марианна.—Как аукнется, так и откликнется. Око за око. Вспомни приват-доцента фон-Гренинга, артиллериста. Я видела, как он приговоры подписывал. Сотнями отправлял публику на пароход к поручику Осколь-цеву, а уже оттуда никто не возвращался.

— Пойдемте, пойдемте домой.

Заперли калитку, ставни, занавесили, чем пришлось, все окна. Зоя плакала злыми, скупыми слезами. Она никогда не забывала, что слезы очень портят ее круглое, детское лицо с вздернутым носом и выпуклыми голубыми глазами.

— Почему так мерзко со мной поступают?! Гриша обещался непременно за мной заехать... Не нужно было обещать!

— Ты, Жан, почему не пошел, когда тебя правительство звало? А как они все уехали чудесно. Теплушки обиты сукном, дамское отделение, уборные сделаны, у большинства классные вагоны. Я видела. Была на вокзале, искала Гришину часть. Не все ли тебе равно, где свои цифры считать, да балансы подводить! Уехали бы теперь вместе. Финансовые то раньше всех укатили...

— Хулиганы они больно...—добродушно произнес Пахомов.

Зоя взглянула на него почти с ненавистью.

— Зато прекрасно живете с Марианной Николаевной. Сидишь, грудь раскрыта, почесываешься, как киргиз какой. Папа и мама остались в Симбирске. Живы или нет—неизвестно. Все бросили стариков. Ах! Скоро письма будут ходить, узнаем. Нашел, чем утешить. Ведь Гриша был в Ишиме... Ведь оттуда же прошли?..

Никто ей не ответил. До трех часов ночи брат, кряхтя и зевая, помогал Зое прятать вещи; выставили зимние рамы, под песок спрятали шелковые шарфы, чулки, кружева, духи, тонкие носовые платки. Золотые вещи Зоя давно носила кругом талии, в поясе. Каракулевое пальто и материи она зашила в мешок и спустила в подвал, приходившийся под ее комнаткой, за ящики с обрезками кожи и жести, оставшиеся еще от того времени, когда Бургашка не был капиталистом и жил сам в квартире Пахомовых. Ни у Ивана Николаевича, ни у Марианны не оставалось ни одной мало-мальски ценной вещи: все было прожито еще в то время, когда Пахомов очутился без места, без квартиры, и на подозрении у контр-разведки. Как-то само собой выходило, что продавались вещи Марианны, а не Зои. И, когда служба Марианны перешла на вечер—само сабой случилось,—перестали обедать в дешевой столовой, и Марианна должна была топить утром русскую печь и готовить несложный обед.

На другой день, в семь часов утра, к Пахомовым постучались в калитку. Отпер Иван Николаевич, слегка побледневший и встревоженный. Зоя, волнуясь, с какой-то смутной надеждой, выбежала за ним. У порога стоял, широко улыбаясь, сосед, извозчик Оскерко, у которого Пахомовы брали молоко.

— Молоко вам принес. А вы, мабуть, напугались.

— Чего пугаться. За мной будто бы ничего нет...

— Ну, мы знаем, знаем! Конечно, ничего,—разуверяюще проговорил Оскерко, пряча улыбку в длинные, висящие усы.—Хуже нас, грешных, живете. В новую загородную рощу хочу сходить. И лошадей, говорят, там белые

оставили! Так около дороги, как те копны. Погляжу, может быть, выберу какую, отхожу...

— И не боитесь?

— А чего? Наш брат, черняк, ничего не боится. Остановят—скажу, зачем иду. Я так мыслю, что лучше лошадь отхоженная, нежели на поле околетая, пропавшая. А вам итти, Иван Николаевич! Расклеили об'явления, чтобы каждый определялся по своей специальности. Кто не записался, не служит, тому карточки нет и с квартиры выселят. Квартир в городе вовсе нет. Напакостили белые. В больницах, в казармах все стекла выбили, печки которые взорвали. Солдат по квартирам разводят. Ко мне уже пять душ поставили.

— Куда же вы их?

— Ничего. Как-то влезли в хату. Да вот никак и к вам..

К калитке подходило трое солдат с винтовками, четвертый сзади, без винтовки, с толстой тетрадью в руках.

— Вы хозяин квартиры?—холодно, не глядя в лицо Пахомова, осведомился задний.

— Я.

— Покажите.

Марианна, вместе с вернувшейся Зоей, с тревогой смотрели на вошедших солдат. Молодость и миловидность этих женщин, их испуг, растерянность, видимо, нравились солдатам; по их лицам бродила довольная и слегка презрительная усмешка. Иван Николаевич шел впереди того, кого считал начальником, и бормотал, с неожиданными для самого себя, угодливыми нотками в голосе:

— Тут я, ну и вроде столовой. Тут одна сестра, в этой-то клетушке едва повернешься, тут другая сестра с детьми. Если хотите солдат поместить, то, право, у нас негде. Решительно. Вот видите: везде битком набито.

— Коек у нас нет. Холод в этой квартире ужасный,—поддакивала Зоя.—Вам, реб...—она осеклась,—вам, товарищи, самим не понравится.

— Гмм...—промычал начальник, не глядя на Пахомовых и не слушая их...—Пять человек... три комнаты... Он обернулся и только взглянул на следовавших за ним красноармейцев. Те, шумно переговариваясь и смеясь, вошли в крошечную кухню, отделенную от прихожей небольшой перегородкой, и начали сваливать мешки на пустую, прилаженную к стене койку.

— Что же это?—промолвила Марианна.—Да как я буду здесь готовить? Здесь мне и одной не повернуться...

— И себе сготовите и им.

Красноармейцы громко захохотали.

— Да ведь невозможна такая скученность. Это даже вредно по гигиене. Я думаю, ваше главное начальство будет против. От этого все болезни...

Зоя уже привычно кокетничала, вскидывая и опуская глаза, загадочно улыбалась...

— Если вы чувствуете, что для наших товарищей и для вас вредна скученность, перейдите в комнату к брату или к сестре... Свою отдайте красноармейцам.

Марианна взглянула на говорящего. Молодое обветренное лицо, тонкий нос облупился от мороза. В светлых глазах такой холод и отчуждение, как будто смотрит на заведомых обманщиков, на гадов. Зачем это Зоя делано смеется колокольчиком? Как не стыдно! Какие тут могут быть разговоры?!

Сказав что-то солдатам вполголоса, квартирмейстер ушел. Красноармейцы хозяйничали, как дома: в угол составили винтовки, по гвоздям развесили шинели, полушубки навалили на койку; беспрестанно входили, выходили: прикрывали дверь неплотно. Холодный ветер врывался в комнату, леденя пол.

— Двери, двери закрывайте,—надрываясь кричала Зоя и, не выдержав, побежала в кухню.

Ей кинулась прежде всего в глаза голая спина одного из солдат. На левой руке он держал рубашку, правая перебирала складки. Видна была склоненная белокурая голова и грязная красная шея, резко отличавшаяся от необыкновенно белой и гладкой спины.

Зоя отскочила оскорбленная.

— Хоть бы сказали! Что вы там делаете?

— Да вот, сударыня, смотрю, не осталось ли колчаковцев в рубашке,— весело откликнулся молодой голос.

— Колчаковцев... Что это? Разве у вас есть насекомые?

— А куды они делись?

— Да где же вы их бьете? На столе? Да, ведь, мы же тут едим, готовим... вы сами будете есть.

— Поскоблите столик, помоете? Нам што-ж?.. Можно и на окошке казнь устроить, а то и между двух ногтей, как промеж двух огней.

Зоя убежала. Вслед за ней понесся густой удовлетворенный хохот. В спальне, где Марианна убирала свои и детские постели, Зоя дала волю гневу, говорила, стиснув зубы, полушопотом.

— Вот что приходится выносить! Керенский идиот, болван пошлый, бесхвостая курица! В руках у него были и Троцкий, и Ленин, и вся эта шайка. Судить их надо было немедленно, за шпионаж немецкий. Тут же расстрелять, а он дело тянул, тянул. Только обещал. Везде напечатали: немецкие агенты—сами тянут. Тут в двадцать четыре часа. По-военному.

— А тебе не приходило в голову, что никакого дела и не было? Неужели они не пустили бы это дело в первую голову, коли оно у них было? Но что вот ты рассказываешь, ужасно неприятно. Не знаю, как с этим быть... Давай уговоримся, как мы будем про мужей отвечать, наверное спросят. Пропали в германскую войну, так я думаю лучше всего будет.

— Ох, как я их всех ненавижу! А Оскерко? Заважничал... Вот величался, вот ломался. Можно подумать—он Омск взял. Теперь пойдет это хамство...

— Ну... будет. Подожди пока браниться. Идем чай пить.

— Жаночка, самовар готов. Неси.

— Что с тобой говорили солдаты,—зашептала Зоя, когда Иван Николаевич принес самовар из кухни.—Кажется, ужасные мерзавцы?

— Ничего, люди, как все. Спрашивают: «А нам, хозяин, как самоварчик?». Я говорю, лучше в столовой кипятку берите, товарищи, она у вас, кажется, рядом, а то у нас самовар маленький, отливать неудобно, а вновь ставить—не знаю—угольев хватит ли, да и за водой лишний раз ходить не охота... «Ничего, говорят, мы угольев раздобудем и воды ведерко принесем. Столовая у нас не готова. Провизией будут выдавать...»—Тогда, мол, жарьте. Только уговор лучше денег: распаяете,—на свой счет поправляйте. Расспросил из какой губернии. Двое тут, Самосадов да Юренев,—костромские, из одного села, один то, этот волоокий,—из Нижегородской, Кондратьев. Зачем то на Лене жил. Все земляки. Рыбу, оказывается, охотники удить.

Зоя с презрительным сожалением взглянула на прихлебывающего чай брата: обидное название готово было слететь с ее губ... как-то она удержалась.

— Вши у них...—проговорила она сквозь зубы,—понимаешь, вши. Ведь это тиф, зараза. Стена то ведь из дощечек. Тут дети, девочки. Они там, в кухне, голые

— Промажь стену хорошенько керосином со скипидаром и нафталином... Что-же поделаешь? Тиф везде. Ты лучше подумай, в какую категорию служащих запишешься, куда?

— Ах, боже мой! Куда. В артистки...

— Помилуй, Зоечка, какая же ты артистка? Где у тебя репертуар? Где ты училась?

— Играла в институте, играла в Симбирске...—чего тебе еще надо? Скажу, что училась в Петрограде, в школе у Рапгофа. Кто будет проверять? Ну, наконец, у Ходотова частные уроки брала. Репертуар! Очень он тут нужен твой репертуар!...

Когда Марианна вошла в кухню, линия ее поведения была ей ясна. Избегать ссор. Быть очень, очень корректной. Молча она вытерла стол, затопила печь, принесла провизию. Искоса наблюдала солдат. Один из них, тот, который разозлил Зою, Самосадов, был высокий, стройный блондин с пухлым ртом и детскими, мелкими зубами; густые его волосы лежали кокетливым хохлом; руки были чисто вымыты, небольшие голубые глаза смотрели задорно и хитро. У стола сидел, задумавшись, Юренев—человек лет двадцати семи, смуглый, с слегка нахмуренным лбом. Марианне понравились его темнокарие, матовые глаза. Третий, Кондратьев, привалившийся к ногах койки и оглушительно свиставший, сначала показался Марианне необыкновенно красивым. Лоб и нос соединялись у него, как у греческих статуй, одной, чуть волнистой линией; цвет лица был ослепительно бел; длинные, ярко-красные губы поражали свежестью, но всего красивей были глаза: большие, темносиние, с ярко выделяющимися белками. Было в этих глазах, однако, что то странное. Как будто синь их была затянута не то ледком, не то чуть заметной пленкой. О чем бы ни заговорил Кондратьев, его глаза смотрели холодно, нагло и неподвижно, не улыбаясь при смехе, не загораясь при гневе. И через несколько минут наблюдения лицо этого солдата уже перестало казаться Марианне красивым. Странное оно было и неприятное.

Говорили солдаты о том, какое теперь будет выдано обмундирование, и кому итти к каптеру за провизией, какой будут получать паек. Юренев в беседе не участвовал.

И когда печь уже совсем протапливалась, Самосадов откуда то принес кислой капусты и мяса.

— Затворяйте, пожалуйста, плотнее дверь. Квартира и так холодная. Тут дети.

— Поплотнее, так поставь лакея!—отрезал Кондратьев, захохотав.

— Хозяйка,—независимым, почти недопускающим возражения голосом, сказал Самосадов.—Сварите нам суп.

Марианна промолчала.

— Слышите, хозяйка?

— Слышу... Вон возьмите там горшок, вот ухват, места много, — ьарите.

— Да мы не знаем, как, да и с ухватом, понимаешь ты, не умеем возиться. Обернешь все в печи.

Марианна опять помолчала.

— Хорошо. Я сварю. Но не думайте, что если я сварю сегодня, то буду варить вам и завтра. Обязанности этой я на себя не беру.

Марианне самой противны были тон и слова, которые она говорила, но словно кто то толкал ее говорить так, а не иначе. Перед глазами стояло лицо квартирмейстера, мучили бесцеремонные шутки и смех. Холод шел по ногам, Кондратьев куда то выходил и не прихлопнул дверь.

— Потрудитесь закрыть дверь плотнее.

— Тебе надо запирать, так и запирай.—Неподвижные, жуткие, затянутые легкой пленкой ледка, синие глаза уставились на нее, а губы яркие, красные, с белевшейся между ними острой хищной полоской зубов, жили, издевались.

— Не стыдно заставлять убирать после себя?

Юренев встал—Марианна удивилась его большому росту—взглянул на нее мягко, почти ласково, затворил дверь, вернулся. Видя, что Марианна взбирается на скамейку, чтобы закрыть трубу, молча взял у нее из рук вьюшки. Заложив трубу, он вытер руки о тряпку и сел резать бумагу для конвертов.

— Я стыда не знаю, и совести не знаю, и даже смеюсь над этим,— бахвалясь, заговорил Кондратьев.—Для дураков это. В жисти—кто кого. Твой верх, властвуй, попался—плати. Мне всего это четырнадцать лет было, я тетку убил. Сиротой у них рос, работал, как вол. Пришел с гулянки, она слезла с печи и стала на меня брюзжать и стала, вон как хозяйка.

Он мотнул головой в сторону Марианны.

— Я говорю: «Перестань. Уймись ментом». Она еще пуще... Нож у меня был припасен. Я ее как ткну в пузо, она как лопнет пузырем. Дед думал—я ее этак хлопнул, кричит: «хорошень ее, она и мне надоела». Она тут на пол села, дергается... Дед и завыл: «да ведь ты ее, подлец, зарезал».

Кондратьев захохотал. И хохот у него был деревянный, как дробь барабана.

Самосадов опустил глаза и нехотя издал какой то звук, изображавший не то смех, не то недоверие.

— Хозяйка, мне койку раздобудьте,—сказал Кондратьев.—На этой земляки будут спать, а мне—негде.

— У нас никаких коек нет. Сестра ведь даже предупредила вас. Обратитесь к своему начальству, оно должно вас устроить,—приглушенно ответила Марианна и зубы сжимались у нее сами собой, как у Зои.

— Вы младшую девченку с собой положите, старшую на ее постель. У той койка длинна и мне годится.

Марианна молчала, подметая кухню, с отвращением, с подступающей к горлу тошнотой, захватывая веником плевки и шелуху от семечек.

— Суп наш скоро?—осведомился Самосадов.

— Только что поставили его, часа через два...

Красноармейцы, исключая Юренева, надели шинели и ушли. Марианна передвинула горшки в печи и, уходя, взглянула на Юренева. Он уже не вырезывал конвертов, а сидел на койке, низко опустив голову; в его позе, полуопущенных глазах, неподвижности—чувствовалась пригнетающая, глубокая тоска.

— Что с вами?—И Марианна на минуту сделалась прежней Марианной.—Вы больны?

Налитые жгучей печалью глаза взглянули глубоко, как в сердце. Отрицательный кивок головою.

— Но что же с вами? Что именно?

— Так... тоска... скажу когда-нибудь.

Пришел с регистрации Иван Николаевич. Ему уже вечером нужно было итти заниматься в Сибревком. Сняв шубу, он прошел в Зоину комнату.

Это что то значило... Марианна, волнуясь, пошла за ним.

— Войска Каппеля прошли вчера стороной, взорвали склады снарядов на Московке.

Марианна вспыхнула. Толчек мгновенно погаснувшего страха, чувство внезапного облегчения, разлившееся по всему телу. Вдруг почему то мелькнули в воображении, полные непонятной мукой, карие, мягкие глаза.

Когда вечером Марианна вернулась из гимназии, где было не учение, а пока только собрание учащих,—незаметно отворив, опять стоявшую непритворенной дверь, до нее донесся конец разговора. Обе девочки были в кухне и беседовали с Самосадовым.

— Значит, и младшая тетка за офицером замужем?

— Да—говорила Лида.—Я не знаю... должно быть, нет.

— А у тети Мары муж полковник с большими, золотыми эполетами. Усы у него рыжие. Он немец. Только об этом решительно никому нельзя говорить,—с важной таинственностью об'явила Леля.

— Детей допрашивают. Мерзость какая!

Зоя, одевавшаяся перед зеркалом, обернулась на негодующий возглас сестры.

— Почему девочки не со мной? Да сейчас были... Не могу же я по пятам за ними ходить! Противные эти девченки. Я десять раз им говорила.

Ночью в три часа раздался сильный стук в дверь, больше всего слышный в спальне. Солдаты не ворошились, грижукнулись. Ивану Николаевичу проснуться было так же трудно, как легко заснуть; Зоя, быть может, и не спала, но не ворошилась. А стук раздавался все сильней: ожесточенней, негодующий.

Марианна, уставшая за целый день работы, озябшая, кое-как встала.

Ох, как тяжело ночное вставание: на холодный, как лед, пол, в холодной, мозглой комнате.

— Кто там?

— Солдат. Какого черта не отпираете?

— Как ваша фамилия?

— Кондратьев! Чего там застыла?

— Наш это, пустите,—раздался голос из кухни.

— Ваш, так и пускали бы сами,—огрызнулась Марианна.

Кондратьев отстранил ее рукой и прошел в кухню.

Был явно нетрезв.

— Лампу вздуйте!

— Никто нам ее не припас.

— Не дали, сукины дети?

— Не дали.—Голос Самосадова был звучен, чувствовалось, что он давно не спит.—Где силы. «Сами, говорят, понимаешь ты, с коптилкой сидим»

«Покупайте, понимаешь ты, себе лампу, керосину или свечей, что любей». Юренев спать завалился, а я к соседям уходил. Вот что значит простые люди! Там все вместе сидят, ужинали, понимаешь ты, вместе же. Соколенков на гармонии играл... плясали. Девченки тут же... барышни, интересненькие. Полечки, понимаешь ты!

— А я где лягу? Где лягу? Так... вашего бога.

— Да уж придется тебе на полу...

Кондратьев возился, громыхал сапогами, что-то ронял и все время бешено ругался.

— Перестаньте кричать! Перестаньте сейчас же!—зазвучал по всему домишку надтреснутый, измученный голос Марианны.—Не имеете права! Здесь дети!..

— Молчи ты... так твое право!.. Твоего Исуса, Христа... богородицу твою. Теперь господов нет.

— Вот оттого, что господ нет, вы и должны молчать, когда все спят. Здесь тоже трудящиеся живут.

— Трудящиеся сзаду наперед! Ну, засохни там! Ведь я к тебе не лезу, ну, и молчи. Офице-ерьская жена! я тебя поперек сердца, в душу!

Ползучий, удушливый страх, унижение, бессилие прочли сестры на лице друг друга на-утро. Зоя с ненавистью смотрела на девочек. Начали говорить с Марианной—поссорились.

— Все равно, значит, по-твоему, просто так матушку поминать, или вот про богородицу говорить такую мерзость?

— Конечно, все равно! Одинаково отвратительно. За мать еще больше обидеться надо. Она, я думаю, всех ближе. Я с десяти лет совершенно равнодушна была к религии.

— Стыдитесь, Марианна Николаевна! Неужели вы не понимаете, что в минуты страдания религия для интеллигентного человека одно только и есть прибежище и утешение?.. Я это поняла.

— А я вот такой глупости совсем понять не могу. Религия должна быть всегда. А если ее на случай только из кармана вынимать, какая же ей цена? Как приему лавро-вишневых капель?

— Я глупа, а ты зато так умна, так умна... с идиотизмом граничишь.

Жаловались Ивану Николаевичу, ходившему в Сибревком и утром и вечером. Тот, сам все слышавший, долго переминался, краснел.

— Оставьте вы все это. Ну... грубые, невежественные. Что же теперь с ними делать? Обойдется как-нибудь. Чего на раскаленное железо плевать?

Почти каждую ночь Кондратьев куда то уходил. Когда Юренев был дома, отворял ему. И каждую ночь неслась ожесточенная, озверелая ругань.

Зоя уходила с утра. Где-то она репетировала, где-то играла, мобилизовали ее какие-то военные части.

С ней приходил раза два—дожидался, пока она переоденется,—какой то военный чин, мадьяр, в малиновом бархатном френче и темно-зеленых галифе. В комнату он не пошел, заглянул раз в кухню. Красноармейцы с ним не поздоровались, посмотрели насмешливо и недружелюбно.

Солдаты, житье с ними, а в особенности с Кондратьевым—отравили Марианну. Она думала о них и за уроками, и ночью, и во время занятий с племянницами. С мыслью о них стояла в очередях и пережила катастрофу с уничтожением колчаковских денег. Они вплетались в ее докучные хо-

зяйственные соображения, в мысли о том, как бы поудобнее приготовить бычачью голову. Какую-то внутреннюю фальш чувствовала она и терпкую скованность между собой и красноармейцами, и в себе. На все лады передумывала, переворачивала свое поведение, свои ответы. «Оборвать круто, пойти пожаловаться в канцелярию полка на Кондратьева... Но страшно. Начнутся допросы о муже, о том, как попала в Омск. Могут посадить в тюрьму. Не хватает смелости страдать, не хочется, не за что!» Куда девалось ее уменье просто и ласково подходить к людям, со всеми уживаться? Вся она натянутая, неискренняя, не своя. Но почему? Одни ли солдаты тут причиной?

Неприятности, неприятности каждый день. Девочки, когда ее нет дома, бегают в кухню, поют неприличные частушки; то самосадовские старые валенки очутятся на разогревающейся каше, то по девочкам ползают вши.

Все разговоры, отправления, хохот, ругань—все слышно до малейшего звука.

Раз вечером Кондратьев притащил откуда-то досок и с проклятием выкинул из кухни умывальник, помойное ведро, кадушку с солониной. До часу ночи стучал, прилаживал себе кровать.

Дней через пять красноармейцы стали уходить в наряд. С утра до восьми часов вечера, на другой день—с вечера до утра, третий—свободный. И когда Кондратьев возвращался с наряда, долго не мог успокоиться.

— Меня, меня в наряд посылать!.. Мать их... в печень. Я не подлежу.

Самосадов тоже был недоволен и ворчал:

— Вот так отдохнули, вот так обещали отдых в Омске. Обмундирования до сих пор нет. Обещали, понимаешь ты, столовую. Никак не соберутся. Не иначе, что придется взять все распорядки в свои руки. Ребята и то говорят...

Но... жизнь текла, как река, и, как река, сглаживала камни, подтачивала утесы. В первый же раз, когда Марианна, преодолев себя, с улыбкой обратилась к Самосадову: «не грех бы вам раз мне ведро вынести, я вам каждый день варю»,—Самосадов с преувеличенной готовностью схватился за ведро, мигом выплеснул его, вихрем примчался назад, поставил на место.

— Готово, товарищ кухарочка!

Красноармейцы привыкли видеть в кухне молчаливую, строгую фигуру Марианны и при ней говорили обо всем, ничуть не стесняясь. Приходили к ним товарищи, играли в карты, заказывали пельмени. Их делала и варила какая то женщина, знакомая Самосадова. Юренев очень редко говорил и всегда что-нибудь делал: то шил портмонэ из нарисованного на коже портрета Николая второго, то клеил конверты, то подолгу корпел над какими-то цифрами. Он стал садиться к столу боком и Марианна не раз ловила на себе его взгляд. Но иногда он бросал все свои занятия. Вытянув руки, опустив голову, он часами сидел с налитыми тоской глазами.

Бушевала степная вьюга. Бешено крутящийся снег залеплял глаза, забирался за ворот; ветер валил с ног. Марианна, выйдя из гимназии вместе с некоторыми своими слушателями, большей частью, работниками связи, увидела под фонарем Юренева.

— Юренев! Это вы? Откуда?

— Шел тут. От товарища.

— Вы торопитесь. Уже десять часов. Как бы вам не попасть под арест. Да идемте вместе.

Но Юренев уже пропал в крутящейся, захлебывающейся, больно секущей тьме.

Один за другим спутники Марианны пропадали в переулках. Она осталась одна. Итти нужно было еще три квартала. Плотно запертые ставни, ни одного огонька кругом, занесенные калитки, белый мрак; ноги постоянно попадают в сугробы и какие-то снежные ямы, кто их знает, откуда взявшиеся.

И вдруг Марианна громко вскрикнула: вся занесенная снегом, рядом с ней очутилась высокая фигура.

— Испугались?

— Это вы, Юренев? Испугалась, да. А теперь так рада, что не одна. Жутко что-то сегодня одной и трудно так итти.

— Страшно вам возвращаться одной каждый день?

— Нет... Часто есть попутчики почти до самого дома, сегодня из-за вьюги не пришли. Потом на этой улице орудия стоят.

Марианна поскользнулась, ушла одной ногой глубоко в сугроб, чуть не упала. Юренев подхватил ее под локоть, она не сопротивлялась и не сделала ни малейшей попытки высвободиться, когда итти стало легче. И это прикосновение как-то радостно-просто сблизило их. Нетрудно стало подвигаться в крутящейся, пробирающей до костей, ослепляющей метели.

Бургашкин домишко явился неожиданно рано.

— Я боюсь, как бы только вам не было неприятности за опоздание... Скажите, а куда это Кондратьев уходит каждый вечер? Ведь, кажется, строжайше запрещено красноармейцам ночевать не дома?

— Я не знаю. Предполагаю. Но если бы и верно знал, вряд ли можно ответить откровенно.

— Да... я так и думала. Вы, должно быть, много учились, Юренев?

— Что вы, какая учеба! Пастух я. Деревенская голь. И грамоте-то выучился в солдатах. Ведь я в солдатах с конца тринадцатого года, двадцать семь лет мне.

— А мне двадцать шесть. Я семь лет замужем.

— Вот как! Погодки. Я думал, вы молодше. В лазарете лежал в Петрограде, в частном. Там очень было хорошо. Там учился, по-немецки даже читать выучился у одной патронессы. Я только еще хочу учиться.

— А чему бы вам хотелось?

— И сам не знаю... чтобы ясно было в голове.

Марианна засмеялась.

— Ну, это, знаете, трудно. Мне кажется, что у меня у самой что-то не то в голове, не то в душе испортилось. Что-то не свяжу концы с концами, хожу около чего-то большого и важного. Вот-вот станет легко, ясно. И словно сила какая то отбрасывает. Неудовлетворенность жизнью. Плакать иногда хочется... Да я и плачу.

— Может быть о муже?

— Н-нет. Мы давно не видались. Он как-то своей дорогой пошел.

Чуть-чуть помолчали.

— Вы хотели мне сказать? Отчего вы так часто сидите молча, с таким выражением страдания на лице, как будто очень больны. Вот теперь скажите.

— Трудно изобразить. Мысли, мысли толкутся в голове, как пест в ступе. Хочу правды, не знаю, где она. Не знаю, как жизнь принять. Я сначала телят пас, потом лошадей, маток с жеребятами. Тех—в лесу, по полянам. Они меня любили, свисту слушались. Мне много было свободы. Сядешь... дубки говорят, мошкара пляшет, в глаза лезет, ветреница белая цветет. Волга далеко, как холст, разостлана. И волга кричит. И тихо... тихо. Как волшебник прошел. Мысли так и лезут. И разворота им нет...

Совсем у калитки Марианна остановилась.

— Если хотите физику, немецкий, географию, арифметику—я могу вам преподавать. Вы что знаете по арифметике?

— Да ничего... до деления кое-как. Вот дальше все своим умом хотел дойти.

— Так тогда вместе с Лид... Нет, впрочем, а когда вы свободны, так вот: от трех до четырех, после девочек.

— Задавайте только побольше. Я при товарищах не буду с вами учиться...

В четверг Марианна не ходила, обыкновенно, в школу. С утра стирала. Пришедшие из наряда, полуобмерзшие Кондратьев и Самосадов, храпели на койке. Марианне удалось заняться с Юреневым. Красноармейцы не видели, но видала Зоя и за обедом пустила шпильку:

— Марианна Николаевна занимается приведением язычников в христианскую веру. С Юреневым занимается.

Иван Николаевич усмехнулся.

— Ну, ты то уж, наверное, выбрала бы другого, вон того белокурого, красивого. Самосадов он, что-ли.

— Какой интерес может мне представить солдат. да и красивого в нем ничего нет.

— Неправда, Зоя,—возразила Марианна.—Я не могу сказать, чтобы он был особенно симпатичен, но что красивый—верно. Рот и губы у него замечательные. Ни одна красавица от них не отказалась бы.

Зоя была в том дерзко-игривом, избалованно-детском настроении, которое Марианна знала за сестрой и очень не любила. Являлось оно всякий раз «с успехом», то-есть, когда около Зои вертелось не менее двух-трех поклонников.

— Я посмотрю, какие у него зубы. Пусть покажет,—закричала она, пускаясь в кухню вприпрыжку.

Красноармейцы обедали.

— Самосадов, Самосадов,—закричала Зоя, дурачась, не помня себя от заполняющего ее целиком ощущения своей несравненной обаятельности,—покажите мне ваш рот. Марианна так хвалила ваши зубы.

Самосадов вскочил, отвернулся к стене, закрыв лицо руками. Зоя, хохоча, козочкой заскакивала то с одного, то с другого бока и трепала солдата за рукав; в возне Самосадов крепко схватил ее за обнаженную до локтя руку. Зоя вырвалась и кинулась бежать. Самосадов красивым, быстрым движением бросился за ней; у дверей комнаты он ее догнал и крепко поцеловал в круглую, крепкую шею, под золотистыми завитками.

Обед продолжался, но Зоя ничего не ела:

— Фу, Марианна, вечно у тебя одна и та же бычачья голова в разном виде.

— Вот мерзавец, вот негодяй!—Бормотала она.

— Напрасно ругаешься,—вполголоса заметил Иван Николаевич.— Сама на это шла. Раз фамильярничаешь, жди фамильярности.

— Уж ты! Во всяком случае он не смеет. Вы с Марианной воображаете себя большевиками. Ну, не служил у Колчака, служил у кооператоров. А Марианна и вовсе. В союзе городов. Не все равно? Кооператоры тоже все уехали, да еще с каким шиком. Теперь уж, наверное, во Владивостоке!

После обеда девочки мыли посуду. Марианна опять ушла стирать. Как-то светлее, чем за все предыдущее время, чувствовала она себя утром вплоть до обеда, а после случая с Самосадовым ею опять овладело недовольство собой и другими, скованность мысли, какое-то странное отвращение к действительности. Раздражение против Зои. Та уже надела шубу и куда-то убежала. Никогда не хочет ничем помочь. Раздражение против невозмутимо покладливого Ивана Николаевича: наелся супу такого, какого раньше и в рот не брал, и спит себе безмятежно, несмотря на шум, на узенькой кровати, где вместо матраца навалены рогожи. И так неприятно свистит носом.

К красноармейцам пришел в гости товарищ Опивалочкин. Марианна давно знала его, как и других гостей. Высокий, здоровый, с отдающей щегольством военной выправкой, буйные, темно-рыжие кудри, большой рот с выдавшейся толстой нижней губой и яркими, плотными зубами. Глаза карие, неестественно блестящие, беспокойные. Много еще попадалось в те дни таких глаз... Юренев сидел у стола и мастерил из жестяной коробочки лампу-коптилку, остальные красноармейцы, тесно сгрудившись на койке, разговаривали не полным голосом, но все же каждое слово доносилось до Марианны, увеличивая ее раздражение и то чувство беспокойного отвращения ко всему окружающему, против которого она не знала, как и чем бороться.

— За три керенки там, сколько хошь... какие хошь. Сами приходят. Ну, угостишь хозяйку, так ей в рот. Пиво есть...

— За три керенки! У тебя, Кондратьев, деньги жировые. Тут удовольствия мало. Тут, понимаешь, интересу никакого. Паша, вон, к Опивалочкину даром ходит.

— Ходит, да не очень я ею любуюсь. Я уже другую подсмотрел, из столовой.

— Вон Шипилов, как устроился... с хозяйкой.

— Поди, старое какое барахло...

— Ну, не более тридцати! А Семенов—с портнихой. Ага! Ночевать она к нему ходит тишком. Две рубашки она ему сшила, толстовку, подштанники. Весь материал ее.

— Людям счастье, понимаешь.

Самосадов что-то вспомнил.

— Марковна (так выходило из «Марианны Николаевны»), вы, я вижу, стираетесь. Выстирайте-ка мне парочку.

— Очень извиняюсь, Самосадов, у меня и так белья черезчур много.

— Да вы не думайте, что я даром... я заплачу. Что людям, то и вам.

— Я ничего и не думаю... а только не могу. Я мужское белье терпеть не могу стирать. А тут вон у брата сколько. Сами выстирайте.

— Одну бы то парочку ничего не составило бы. А мы, понимаешь, к этому непривычны.

— Приучайтесь. Чувствуете себя настолько важным, что уж и к корыту подойти боитесь? А на фронте, в окопах, кто вам стирал?

Сторож из гимназии принес извещение о том, что вследствие требования Наробраза спешно назначается экстренное педагогическое собрание.

Белье осталось недостиранным. Марианна ушла со слезами на глазах.

Омск кипел жизнью. Организовывались учреждения. Издавались книги и газеты. Приехали из Москвы люди с широко известными фамилиями; в цирке следовали один за другим интернациональные митинги. Был взят Новониколаевск. А у Марианны сквозили в жизни только немногие светлые промежутки. Это были часы в школе, в третьем классе, где особенно успешно и усердно учились по-немецки, да уроки с Юреневым. Это не столько были уроки, сколько, как, смеясь, говорила Марианна, экзамены учительнице по всем предметам. Попадалось в чтении слово «Италия»—и Марианна должна была рассказать об Италии, ее географическом положении, о том, какое там правление, почему Италия воевала вместе с Россией, есть ли там коммунистическая партия, как владеют землей крестьяне: общиной или хуторами, была ли там революция...

Марианна краснела, как девочка, от своего невежества.

— Вы знаете, Юренев, нас так безобразно учили. Прямо украли наше детство. Самого важного, что нужно знать, мы не знаем, совершенно не знаем. Мне приходится беспрестанно расспрашивать нашего нового заведывающего, рыться в энциклопедическом словаре, чтобы ответить на ваши вопросы. Иногда, думаю, что, если бы вдруг мор всеобщий, или всемирный потоп, и осталась бы на земле только кучка гимназистов, да институток, как я,— мы бы ничего, ничего не сумели. Палкой бы землю ковыряли. Последний неграмотный мужичек внес бы больше культуры, чем мы...

Вши... вши... Миллиарды бельевых вшей везде. У знакомых, в очередях, в школах, в банях, в больницах, в учреждениях, в насквозь промерзших клубах, на вокзалах, в теплушках, казалось даже, что в воде и в снегу...

Тысячи замерзших трупов на станциях, в составах, загнанных в тупики, трупов, оставленных в наследство Колчаком в больничных цейхгаузах и кладовых, подобранных по дороге, выкинутых на берег Иртыша. Тяжело и мерно мотая головой, грузно ступают ломовые кони, везя мертвецов, наложенных в беспорядке, лохматые, пожелтевшие, закоченевшие голые тела, болтаются руки, стукаются звонкие, мерзлые головы...

Тиф... в каждом доме, в каждой семье, в каждом закоулочке, в каждой складочке платья. И где соберутся двое или трое обывателей, или сойдутся в учреждениях служащие, там сидит и он... Тиф. Худой—с пылающими щеками, весь, как бисером, покрытый вшами. Вытаращены его глаза, всклокочены волосы. Он сидит, качает головой и слушает, как бесконечно говорят все об одном и том же: об еде, о трупах и о нем. А он сидит, сгибается, хохочет и говорит: «Ни один не уйдет, ни один не уйдет».

Неожиданно к Пахомову приехал на лошадях давнишний приятель и сослуживец, Ефим Ефимович Чердынцев. Его шинель военного образца, накинутая сверх полушубка, оторочена была красным, на шапке-ушанке ярко краснела широкая лента. Пробирался он к отцу, в Челябинск.

— Да, ведь, Семипалатинск, кажется, еще не сдан? Как ты добрался?—было первым вопросом Пахомова.

— Нет, теперь уже, наверное, сдан. Да мы раньше переворот сделали,—хвастливо ответил Чердынцев.

— Ты, Ефимка, переворот?—Пахомов недоверчиво улыбнулся.—Удивительно. Нет, ты скажи, как добрался.

— Ничего удивительного. Очень просто. По дороге едем, увидят мою шапку, думают, комиссар. В деревнях рады: кормят...

Чердынцев разделся, осмотрелся:

— Тесно ты живешь, Ваня, стесню я тебя. Но не думай, долго не буду... Только ночь. В крайнем случае—две. Отдохну да выхлопочу место в теплушке.

Пришлось в столовой, и без того тесной, устраивать еще кровать. Иван Николаевич достал у знакомых топчан и приволок его к себе. Марианна брала тряпье, рогожи, положила свое осеннее пальто.

Чердынцев сидел какой-то взбудораженный, раздраженный и, вместе с тем, подавленный. Марианна бегло и недоумевающе взглядывала на него, совсем не узнавая веселого, добродушного человека, каким он ей рисовался по рассказам брата. Намеков он не понимал. Наконец, она прямо предложила ему вывесить на галлерею одежду, в которой он приехал, если у него есть запасная, и сходить в баню. Из бани Чердынцев пришел, как разваренный: видимо, некоторое время стеснялся, но потом уже не мог преодолеть себя, лег и тяжело заснул. К обеду встал красный, с воспаленными глазами, уверял, что угорел в бане, что простудился, возвращаясь оттуда в зимнем пальто, а не в полушубке; почти ничего не ел; после обеда лежал. Встал на другой день чуть свет, пошел хлопотать относительно теплушки... обещали через неделю. Вечер сидел угрюмый, беспрестанно хватался за голову.

К вечеру третьего дня Марианна позвала брата в комнату Зои.

— Знаешь, Жаночка, я боюсь. У Чердынцева не сыпняк-ли...—То, что она сказала, было черезчур страшно. Иван Николаевич и Зоя думали то же самое, но не хотели верить.

— Ездят тут в такое время. Какая неделикатность... Понимать, я думаю, нужно, что теперь—каждый человек лишний,—зашептала Зоя.—Может быть, просто, он такой странный? Вчера вечером, когда вас не было дома, а я еще не уходила на репетицию, пришел ко мне в комнату и говорит: «У вас нет мужа, а я так далеко уехал от жены... она, наверное, заведет себе нового мужа... Вам бы следовало выйти замуж за меня!. » —Иван Николаевич покосился на сестру с сомнением.

— Гмм... Это очень странно, если ты только правильно поняла. Жена у него—королева. Трое детей. Где уж тут. А ты, Марианна, твердо уверена, что тиф?

— Разве можно быть твердо уверенной? Мне кажется...—Долго говорили, рядили, спорили. Решили, наконец, что Иван Николаевич настойчиво предложит Чердынцеву то, о чем Марианна говорила с первого же вечера—смерять температуру.

Чердынцев разволновался, обиделся. Кое-как Иван Николаевич его убедил. Температура оказалась высокой. Тридцать девять и две десятых... Сходили за доктором. Пришел старый, усталый, понурый, с невыдохшимся волжским говором.

— Точно еще не могу сказать. Но большое и, думается, основательное подозрение на сыпной тиф... Через день-два выяснится. Завтра или послезавтра зайду.

Ожиданно это было для семьи Пахомовых, и все же—поражающе. Все подавленно молчали. Чердынцев возмущенно бранился.

— Какой это доктор! Что он понимает? Все давно из головы у него вытряхнулось. Какой у меня сыпной тиф? Откуда он может быть? Да меня ни одно насекомое не укусило. Что это за доктор? Сам грязный. Грязные волосы висят... Я простудился, в баню ходил, у меня бронхит, а не тиф. Советский доктор! Еще надо узнать, не врет ли термометр...—Он умолил Ивана Николаевича сходить за другим доктором, студентом, ехавшим с ним вместе из Семипалатинска, сыном богатого купца, явившимся, как он сам выражался, в Омск «понюхать».

Студент не отказался; пришел, очень долго ворочал, выстукивал, выслушивал Чердынцева, выражение лица у которого сделалось важно-покорным, чуть не набожным, и авторитетно заявил, что никакого тифа нет: «Переутомление, бронхит, межреберная невралгия». Прописал отхаркивающее, аспирин, втирание.

Утром, еще темно было, Марианну разбудил громкий, торжествующий смех Чердынцева.

— Вот и вышел сапог. Вот и вышел старый, советский сапог. Температура-то тридцать семь и два. Это при сыпняке может быть? Вы мне скажите, это может быть? Марианна Николаевна, знаю, не поверит. Ну, так пусть сама стряхнет, сама поставит. Термометр ведь ее.—Марианна согласилась. Действительно, термометр показывал тридцать семь и две десятых... Чердынцев хохотал, удовлетворенно ругал старого доктора, оделся, принес девочкам подарки, гуся, соленой рыбы, принес и лекарства, прописанные студентом. Но за обедом ничего не ел, видимо, перемогался; извинившись, лег.

— Сам виноват, дурак. Разве при бронхите выходят.—Марианна взглянула в его лицо. Оно не было красным, как в предыдущие дни; серый налет лежал на щеках, на лбу, под глубоко провалившимися, казалось, только нынче утром, какими-то бессмысленными глазами.

Пришел старый доктор, смерял температуру, расстегнул у больного рубашку на груди, посмотрел спину.

На столике, у кровати, стояло лекарство; старик взял склянку в руки, повертел, прочел надпись.

— Хы... другого доктора звали. Вещь обычная. Ну, да положим, ипекакуана не повредит, хотя и не вылечит. А у знакомого вашего сыпняк. Очень показательная температура. Говорит, утром спадала? Правильно. И вообще картина весьма ясная. Высыпало превосходно.

В течение трех дней, пока Иван Николаевич, с помощью своих сибревкомовских связей не устроил, наконец, Чердынцева в больнице, Пахомовы жили, как в ночном кошмаре. Марианна по три раза в день заставляла девочек раздеваться, раздевалась и сама. Всем членам семьи казалось, что по ним кто-то ползает, кусает... Одни девочки были неизменно веселы, возились в тесноте, бегали тихонько в кухню к солдатам, звали их, когда не было надзора, на гору кататься. Юренев дарил им то портмоне, то елочные украшения—кто знает, откуда добытые,—то самодельные лодочки...

Когда увезли Чердынцева, Пахомовы свободно вздохнули. Хотя Зоя получила какими-то путями, как артистка, ночной пропуск по городу,—ночевать в этот вечер она предпочла не дома, а у каких-то новых знакомых. Предлог: очень затягиваются спектакли. Марианна с девочками до глубокой ночи, почти до утра, ставили самовары, мыли пол и стены кипятком, улива-

ли все щели и тряпье, на котором спал Чердынцев, керосином со скипидаром.

Дни начали проходить как-то спокойней. Кондратьев по вечерам не уходил больше. А к Зое повадился в гости все чаще и чаще ее знакомый мадьяр, Кошир. Приходил, ни с кем не здоровался, забирался в Зоину комнату, сидел за полночь. Марианна как-то уловила перемигивание солдат насчет сестры. И если Зоя раньше мало помогала в работе, то теперь уже и совсем ничего делать не хотела. Марианна с ней не об'яснялась, дорожа тем нежданным затишьем, которое мягко спустилось на ее жизнь. Отошли ненадолго все мучительные вопросы, жизнь просветлела. Она стала иногда даже шутить с Самосадовым, но тот отпугнул ее, заметив как-то: «Что, Марколавна, мало-по-малу обходишься?». Юренев занимал в ее жизни все больше и больше места, она еще не отдавала себе отчета в этом обстоятельстве. Она ждала его из наряда, неприятно волновалась, если нельзя было долго заниматься.

Если им не удавалось прочесть газету вместе, Марианна подчеркивала то, что находила интересным, и передавала газету Юреневу. Это создавало между ними веселую тайну. Все чаще и чаще он попадался ей, когда она возвращалась из школы. И вдруг—вновь все спуталось и перемешалось.

Был четверг, день стирки. Марианна чувствовала себя больной и уже с утра—уставшей, но отложить работу никак нельзя было. Как на грех, все красноармейцы были дома. Очень рано пришел Опивалочкин, весь какой-то настороженный. Глаза его дергались и блестели. Пришли еще: кавказец Гагишвили и нижегородец Понуров, из которого никакие фронты не выкурили говора и манер мелкого торговца вразнос. В кухне столбами ходил синий, удушливый дым, от белья подымался пар, тесно было так, что шагать приходилось по ногам. Немного погодя, явился политрук, маленький человек, с большой головой, резким голосом, но неожиданно ласковой, ребячьей улыбкой. Он часто заходил на красноармейские квартиры. Марианна его тоже знала и ее коробило, почему он никогда с ней не здоровается. -

— Здесь такая теснота. Отчего вы, хозяйка, не стираете белье в комнате? Вы что не отвечаете. Вы глухая?—Марианна вспыхнула.

— Хотела бы на некоторое время ею стать! Оттого не стираю, что в комнатах у нас и без того сыро. Бегать за каждым ковшом горячей воды невозможно. Вы мне самое лучшее дайте инструкцию, что мне можно делать, чего нельзя, что можно говорить, чего нельзя. Тогда я уж и буду поступать соответственно, не выслушивая замечаний... несообразных предложений.

Марианна чувствовала, что раздражается напрасно, говорит черезчур нервно, ненужно резко, но остановиться уже не могла. Глаза ее метали вызывающий огонь, голос дрожал. Политрук подчеркнуто пожал плечами, как-то ухитрился примоститься на дощечке между двумя койками и начал беседу. Говоря о задачах партии, о роли капитала, о значении Октябрьской революции и работе Красной армии Понуров и Юренев задавали ему изредка вопросы, Гагашвили весь вытянулся, обратился в слух; Кондратьев смотрел насмешливо и складывал губы, как для свиста: «Нам, мол, это все давным-давно известно». Самосадов же, как будто, совершенно потерял свою обычную словоохотливость, но, как только политрук ушел, обратился с усмешкой к Марианне:

— Ну, как, Марколавна? Слушали? Желанье ваше не сбылось, не оглохли.

— Слушала, не оглохла.

— Правду говорил товарищ? Как по-вашему?

— По-моему... правду—Марианна не оборачивалась от работы, но голос ее звучал серьезно.

Гагашвили обратился к ней с протянутой рукой, с сверкающими глазами:

— Другая дорога—нэт. Нэт!!

Самосадов подпрыгнул на месте и захохотал.

— Это вот так здорово. Значит, в партию поступаешь?

— Я-то не поступаю. А вы-то, наверное, уже в партии?

— Я-то.—Самосадов скорчил гримасу.—Нет, Марколавка, я не в партии... Я еще, понимаешь, весьма глуп, не могу понять всей программы... Вот когда пойму...

— Для деревни эта партия не подходит. Для деревенского народонаселения не имеет достаточного резонту,—пояснил Панкратов оживленно...— Она нам ни к чему. Мы сами по себе. И до всего можем дойти с помощью своего интереса. Мануфактуры нет—мы станки поставили; бабушка научила, как ткать, пряжу красить; ниток нет—бабы такие сучат, что твои шпулечные. Вон, пишут мне, научились платки шерстяные вытакать, лучше аглицких. Кожу дубим сами, сапоги шьем сами, валенки валяем, сукно валяем... Вашего нам ничего не надо, только будьте настолько добры и любезны—нас не трогайте.

— А железо, машины?

— Н-ну. Лемехи-то мы сами выкуем, при полном удовольствии. И плуга поправим. Лом-то железный у каждого найдется.

— Ты мою головягу видишь, Марколавна?—дурачился Самосадов.

— Ну... вижу.

— Ну, так мне, понимаешь, моя головяга в деревне еще пригодится, а приду я туда партийным, как бы мне ее не отвертели.

Опивалочкин стукнул кулаком по столу так, что стоявшая на нем грубая, глиняная чайная чашка подскочила и упала на бок.

— Не говорите так, Самосадов, Понуров! Какое имеете право? Вот она несознательная, да и то понимает: за нами правда.

— Правда?—переспросил чей-то голос и столько в нем было муки и сосредоточенного, жаркого раздражения, что Марианна сразу не узнала Юренева.

— Правда. У вас правда, так вы зачем по-зверски поступаете? Людям гвозди в голову забиваете?

— Никто не забивал... Не было этого...

— Нет, было! В Ижевском заводе. Я сам видел. Да ты, ты, Опивалочкин, это делал!

Опивалочкин вскочил и шагнул к Юреневу.

— Ну, что-ж, и делал. А по-твоему—как? Мы как своих товарищей отрыли? В каком положении? Видел?

Юренев тоже встал. Какое-то видение прошло перед его глазами, он закрыл на мгновение лицо руками и замотал головой.

— Видел... не отрекаюсь. Ну... так-то они, буржуи, сволочи... А зачем вы, вы! И кого убили? Кто мучил, тех и след простыл. Невинных истерзали. Ну, какая же, какая тут правда? Вы должны быть выше всех...

— Не они, а все равно виноваты! Если при этом присутствовали и допустили—все равно виноваты,—кричал Опивалочкин в величайшем возбуждении. Рука его скользила по гимнастерке и теребила ее, как будто хотела разорвать.—У меня вот недавно родную сестру застрелили...

Общее движение помешало ему говорить.

— Аганьку застрелили?..—вскрикнул Самосадов.—За что это? Кто? Да врешь ты: Фильку валяешь.

— Нет, не вру... Застрелили красноармейцы за разверстку. Вот, читай письмо. Я принес. Она их грабителями обругала. Ленина оскорбила. Отца в тюрьму взяли. Ну, что-ж. Я говорю: правильно... Пускай. Оскорбила, стерва, и платись.

Он широко шагнул к ведру с водой, грубо наступив по дороге на ногу Марианне, схватил ковш и выпил его, не отрываясь.

— Не знаю, чего Юренев раскиселился,—насмешливо протянул Кондратьев.—А мне -все равно. Все едино. Хочешь, из винтовки, хочешь, шашкой...

— Нет, я из винтовки ничего, ежели зажмурившись,—промолвил Самосадов протяжно,—ну, а шашкой, нет. Претит, не могу. В видимую цель и, если без сопротивления—не могу.

— Правда,—глухо заговорил Юренев.—Это правда! Вот девушку застрелили. Я, ведь, тоже Агафью знал. За что? Она могла жить, радоваться, детей иметь. Ну, если сам Опивалочкин так говорит, что за одно слово расстрелять—правильно, то что же другим-то сделать? Почему их не карают? Почему, все-ж таки везде неравенство? Мы вот тут двое суток подряд в наряде, обмундирования никак получить не можем, а начальство наше штабное с ординарцами? Не денщик? Все тот же денщик, сделайте одолжение! В хорошей комнате. В кинематографе уж на третье место не сядет, небось. Или вот, как сюда приходит венгерец расфранченный. Откуда франтовство?

— Нас вчера водили в наряд, пятнадцать человек,—перебил Самосадов.—Ты в карауле, Юренев, оставался. Вышел этакой же, весь, как с иголочки, сразу видно, что офицеришко.

— Ну, что-ж, что офицеришко? Опивалочкин, ведь, тоже прапорщик.

— Ты, Юренев, не болтай зряшнего. Какой прапорщик. Две недели пробыл. Разве я виноват, что меня произвели. Прапорщик? Я с семнадцатого года большевик, военного комитету председатель...

— А все же был!

— Ну, стой! Я спрошу. Я вижу, хозяйка—баба не без мозгу. Скажите, здесь как расстреливали перед нашим приходом? Целую неделю? Так, что ли?

— Говорили.

— Четыреста человек?

— Говорили больше. Шестьсот двадцать три.

— Без разбору?

— Слышала, что без всякого.

— Что, Юренев. Посторонние вот говорят. Это прощать? Это чтобы гад на твоей голове гнездо свил. Тогда и революции начинать не стоило.

— Цыцьте вы там, я доскажу. Ну, значит, выбег это, командует, понимаешь... «Смирно, равняйтесь. Идите, ребята, в ногу, без шума». Что это мы ему за ребята? Не знаю вот, какой он части... Прямо следует протест в полковой комитет, в агитотдел.

— Уничтожить—уничтожить их всех и больше ничего!

— Это ты кого, Юренев.

— А всех до одного! Офицеров, от генерала до прапорщика, жен их, детей, помещиков, буржуев, богатеев... чтобы уж никакого племени не оставалось. Роту такую набрать для уничтожения. Добровольцев... Кому уж ничего не жаль. Чтобы росла только молодежь, которая еще не испорчена, ничего не видала. Та может жить, работать, счастье видеть...

Самосадов весело расхохотался, хлопнув себя по бедрам. Кондратьев подхватил смех. Опивалочкин и Понуров смотрели недоуменно.

— Я над Юреневым,—об'яснил Самосадов,—вот и пойми его! То ему всех жалко, то всех перебить хочет. Башка несообразованная. То все в церковь ходил. А третьего дня, гляжу, крест его валяется на окошке. «Прибери». Не нужно мне, говорит, его больше. Больше, понимаешь, не желаю. Впрочем, вот чего. Сегодня в кинематограф!

— Я не пойду.

— Ну, Юренев, пойдем. Пожалуйста. Знаешь, дельце есть, ты мне поможешь.

Марианна подошла к столу взять синьки, губы ее дрожали, она глубоко закусила нижнюю. Руками она перебирала всякий хлам, наставленный и положенный на столе. Синьки не находилось. Взгляд ее упал на листок желтой, толстой бумаги, каллиграфически исписанный лиловым карандашем. И раньше чем какая либо мысль прошла через ее голову, она уже прочла: «Милая барышня, красавица неизвестная. Находясь на чужой стороне, в ужасной тоске и скуке, пребывая в несчастии и печали, прошу обратить благосклонное внимание. Пусть отторгнется завеса любви и придет душевный праздник».

Самосадов, уловивший направление ее взгляда, потянул к себе листок.

— Извините.—Голос Марианны звучал надменно и сухо.—Извините. Я думала, это какой нибудь наш листок. Вы прекрасно пишете Очень хороший почерк и ни одной ошибки.

— Еще бы, при царском правительстве писарем был,—сказал Юренев с нехорошей улыбкой.

— Ишь, чорт долгоязыкий.

— Ах, вот как! Почему же вы теперь в строю? Могли бы занять более высокое место, тем более, как видно, армия грамотностью не блещет.

— Мог бы, Марколавна, да не хочу. На берегу, понимаешь, суше. Что незаметней, то лучше. Отслужим, тогда уж поглядим, какой план жизни изобрать.

У Марианны не хватило воды для полосканья. Водопровод был закрыт. Пришлось итти на Омку. Когда она вернулась, девочки все еще катались с горы, громко крича каждый раз, когда которая нибудь падала: «Не надо нам начальства, не надо нам царя. Бей буржуазию, товарищи, ура». Дверь кухни оказалась чуть припертой. Кухня стояла пустая, но на печке кто-то был. Кто-то лежал там и выл тонким, надрывным воем, громко всхлипывал и снова выл безнадежно—горько. Марианна чутьем угадала, кто это, прошла в комнату, спустила, стараясь не стукнуть, ведра с коромысла, села на стул... Медленные холодные слезинки поплыли по ее щекам. Опивалочкин прислушался, слез с печи и в свою очередь, стараясь не стукнуть, ушел.

Двурогий молодой месяц глядел в холодную темь убого и тесно заставленной комнаты, пахло мыльными помоями, дымом, высыхающими пор-

тяпками, застылой, застарелой махоркой... Марианна закрыла лицо руками. В последнее время словно какая то светлая точка билась и сверкала впереди, как будто мелькала возможность сбросить скованность с души, усталость и нудящее раздражение с тела. И снова—кто знает в который раз—переживала она то, что казалось изжитым, что так хотелось изжить.

Кровь на мостовых, скорченные трупы, кроваво-жидкие, похожие на дрожжи, мозги с пятнами зелено-черных, жирных мух. Ничего впереди. Будущего нет. Оно даже никак не мыслится. Ощущение животного ужаса, безумное желание куда-то бежать, более страшное, чем даже ожидание смерти, отвратительно разливающее все тело последней тошнотой. Мертвые глаза Конратьева, его ругань. Поручик Оскольцев в белом кителе с золотыми погонами, мрачно пьяный, прищелкивающий языком, при каждом падении расстрелянного рабочего с кормы парохода в воду. Чистенький, общелкнутый приват-доцент фон-Гревниг, в пенсне, с безукоризненным пробором, подписывающий приговор «расстрелять». Довольно щурятся выпуклые, подслеповатые глаза, широкая улыбка точит губы и обнажает гнилые, искрошенные зубы; на узком лице расплывается сознание исполненного долга...

Но некогда было сидеть, предаваться своим ощущениям. Еще столько неинтересного, отупляющего труда впереди: нужно выполоскать и выжать белье, развесить его на галлерее за Зоиной комнатой—старинный ход в Бургашкину лавку,—вынести воду, подтереть пол... Но уже с девочками заниматься она в этот вечер не может... Ей так худо... Сегодня она могла бы поработать с Юреневым... А он ушел... Как мог он уйти?!

Дня через два—Марианна в это время почти не видела Юренева—Зоя пришла к обеду неестественно возбужденная.

— Кого я видела, кого я видела!—Кричала она, хлопая в ладоши и прыгая.—Кто к нам вечером придет?—она понизила голос:—Иван Павлович Смирницкий и Борька Ленден. Да, да, это только Гришка такой дурак, никогда не может учесть момента, ушел куда-то с Пепеляевым, не то в Томск, не то еще дальше. А эти еще в Челябинске сдались со своей частью. И, разумеется,—ясно было: она, видимо, повторяла чужие слова,—что раз взяли Урал, тут уж говорить нечего—все на смарку. Ну, и великолепно устроились в Снабарме. Какие пайки получают! Ты ни о чем не хлопочи, Марианна, хлеб у тебя есть и прекрасно. Они все с собой принесут. Ведь без специалистов в армии не обойдется; это как тебе угодно.

Вечером действительно пришли гости: бывший полковник Смирницкий и бывший поручик Ленден. Приложились дамам к ручкам. Марианна едва не выдернула свою, вспомнив, какая она жесткая, как глубоко в'едась в нее сажа.

Оба—изысканно вежливые с дамами, франтовато-расчесанные, с запасом готовых фраз, модных словечек последнего изделия и свежих советских анекдотов, неизменно приписываемых Бим-Бому.

Оба, как по команде, спросили Марианну, как она поживает. Она ответила: «ничего живу», а самой хотелось крикнуть: —«Да не живу я вовсе... Так... осталась. Кто-то меня забыл. Жизни нет. Ее, может быть, никогда у меня не было... Мешает мне что-то жить... не могу!».

Зоя распоряжалась закуской. Ветчина, колбаса, сливочное масло, копченая нельма, целый фунт сахарного песку. Пили водку: какой то самодельный ликер. Когда дверь в кухне отворялась, Смирницкий схватывал ли-

кер и нарочито «для комизма», выпуча глаза, прятал его под стол. Осталось немного водки. Иван Николаевич взял бутылку, рюмку и пошел в кухню.

— Куда ты?—не утерпела спросить его Зоя.

— Да вот остатки солдатам.

— Вот еще какие глупости? К чему это?

— Да ведь неловко, нехорошо. Сами пьем и им наверное хочется. В одном доме живем. Как-то неудобно.

Он захватил и остатки рыбы.

После закуски переселились в крохотную Зоину комнату. Открыли маленькое пианино, собственность умершей жены Ивана Николаевича, безнадежно охрипшее после того, как оно перезимовало в чьем то сарае. Смирницкий исполнил несколько шансонеток, потом показывал модный американский танец; Зоя аккомпанировала, немилосердно нажимая педаль; пианино простуженно хрипело. Потом Зоя и Ленден пели «Шарабан»: «мундир английский, погон российский, табак японский, правитель Омский! Мундир свалился, погон сносился, табак скурился, правитель скрылся! Эх, эх эх!». Бесшабашный разгул в исполнении, бесшабашная насмешка над самим собой:

Юбка клёш.
Панама на боку.
Подайте Христа ради:
Работать не могу.
Вы хотите эваку?
Хорошо, мой котик!
Вам неловко на боку,
Лягте на животик!
Не желаю эваку!
К черту все экспрессы!
На груди и на боку
Мокрые компресы!

Иван Николаевич подпевал баском; девочки визжали от восторга и выпросили позволения вымыть посуду утром. Тускло горели две керосиновые лампочки и при свете их все представлялось Марианне страшным, чудовищно нелепым, ненастоящим. «Как будто танец мертвых». Не может она себе представить, чтобы этот, чуть-чуть переодетый поручик Ленден, с такой изящной, но уже лишней фамильярностью нагнувшийся к Зое, чтобы этот полковник Смирницкий, так-таки не расставшийся со своей гордостью—холеными, пушистыми усами, придвинувшийся к ней до неприличия близко, были живыми людьми. Между их миром и миром Марианны непереходимая стена: ее страдания, тревоги, труд, осветивший по-новому все закоулки жизни и самую жизнь, все чувства, все мысли Марианны за полтора года. «А если эти люди живы, если жив Смирницкий с его адским грифом, Ленден с песенками и полуцензурными анекдотами, то—мертвая я, более мертвая, чем я даже думала».

Марианна плохо спала. Мысли ворочались в ее голове, извивались, накручивались, как нитки на веретено. Вот-вот готово что-то, плотно уложенное, крепко смотанное. Она задремывала, просыпалась, как от толчка... И опять тянулись, обрывались, не связываясь, бесконечные нити мыслей.

Как только напились чаю, Зоя, напевая сквозь зубы какой то цыганский романс, собралась уходить. Марианна ее остановила.

— Как, Зоя, ты уже уходишь?

— Да, на репетицию,—небрежно тозвалась она.

— Да ведь сейчас только половина десятого, а репетиции у тебя, как говоришь, начинаются с половины двенадцатого?

— Сегодня раньше. Мне, кроме того, на барахолку надо сходить.

— Послушай, Зоя, я давно хотела с тобой поговорить.

— В чем дело?—Зоя как-то особенно цедила слова сквозь зубы.

— Видишь ли... Ты присядь. Не могла ли бы ты немного мне помогать. Меня одолели кухонные и комнатные заботы. Я то за стряпней, то за стиркой, то за штопкой. Теперь у нас можно доставать книги, газеты—мне некогда читать. Подумай, белье с пяти человек, кухонные полотенца, тряпки.

— Я свое белье с этого дня отдаю стирать. Можете и вы.

— Да нет, не можем! Не хватит. Я вот секретарство взяла в школе. И все равно не можем. Мне очень трудно.

— Ты сама себя поставила в такое положение. Я же при чем?

— Так ведь не можем же мы бросить детей брата. Ведь к нему приехали. Да и без этого...

— Я опять же не виновата, что у Жаночки умерла жена. Если приносить себя в жертву вам до седьмого колена, то ведь и для себя ничего не останется.

— Все-таки, может быть, мы так бы сделали. Ты хоть два утра в неделю меня освободи: стряпай обед. Отнесись ко мне по-дружески, как сестра. Мне кажется, что есть какая то жизнь, что то хорошее здесь, рядом, а меня, как в гроб положили, навалили сверху горшков, помойных ведер, грязного белья! Ни на один воскресный вечер ты меня не освободишь!

— Нет, обеда готовить я не буду.—Голос Зои зазвучал чрезвычайно сухо.—Вот получу жалованье, отдам свою долю. Паек свой отдаю вам полностью. Чего же еще! Нельзя же эксплуатировать людей! Сама себе создаешь дело. Девочки уже совсем большие, а ты все трепещешь их одних оставить. Пусть работают наравне с тобой: стирают, гладят. Я не могу стряпать, простужаться, грубеть около кухни. Какая же я буду артистка? Я записалась еще в секцию аккомпаниаторов, хороша буду аккомпаниаторша с такими руками, как у тебя.

— Ты, аккомпаниаторша? Побойся ты бога, Зоя.

— Для момента я вполне удовлетворительна. И мне нечего бояться того, кого—ты сама убеждена—и на свете нет. Конечно, я тебе сочувствую, но что же я могу сделать? Наймите кухарку и все ваши тяжести кончатся.

— Во-первых, это и трудно теперь: дорого и хлопотно, а, во-вторых, куда же мы ее денем, когда сами задыхаемся в тесноте? Ведь человеку нужно и человеческое помещение.

— А вот освободится моя комната.—Зоя старалась говорить, как можно небрежнее.—Я, вероятно, скоро выйду замуж.

— Вот новость! Да за кого это.

— Ты не догадываешься? За Гезо Кошир.

— За этого мадьяра? Но мы его совершенно не знаем.

— Он не на вас женится, а на мне.

— Все же не лишнее было познакомиться с такими близкими родственниками будущей жены. А он даже не здоровается!

— Это, милая моя, устарелый взгляд.

— Да кто он такой? Откуда? Совершенно неизвестно...

— Очень известно. Занимает прекрасное место. Комбриг. Скоро получает назначение в Москву.

— А как же Григорий Иванович?

— Что такое Григорий Иванович? Я не виновата, что он ушел. Мне его и дожидаться бесконечно?

— Но так скоро... И как же? Ведь ты не разведена.

— Когда нужно будет—разведемся. Вот так и знай. Как только Гезо получит приличную, отдельную комнату для меня, так я и выйду замуж.

— Прости, но мне кажется, с твоей стороны это такой поспешный, необдуманный шаг...

— Полно, пожалуйста. Мне проповедей не надо. Уж если ты, «невинная Розамунда», как над тобой в полку насмешничали, и то томишься одиночеством, а я помоложе тебя на несколько лет и, как понимающие люди говорят, покрасивей.

— Я тебе про свое одиночество не говорила.

— Ах, ты мне не говорила. Ну, знаешь, подобные вещи не говорятся.

— Кто же надо мной насмешничал? Я и не знала, что надо мной смеялись, давали мне прозвища. Кто же это?.

— Я знала. Кто смеялся? Да все. Даже прапорщики... Невинность такую ты из себя строила. Ничего, что кругом тебя делается, не понимала. Где-то всегда в эмпиреях плавала и плаваешь. С Немцевич целовалась... Ха, ха, ха...

— Почему же мне с ней не целоваться?

— Потому что у твоего мужа с ней интрига была. С ней и с другими подобными.

— Я не знала, что Владимир Адольфович мне изменял. Правда ли это? Почему ты не сказала, если знала?..

— Конечно, знала. Все знали. Не сказала—волновать не хотела. Пришло время и сказала. Ты мне вот что об'ясни. что ты в эти два утра, что у меня просишь, собираешься делать?

— Что? Почитать, познакомиться... Так много нового. Так горько, что ничего не знаешь. У нас новый председатель школьного коллектива. Такой славный, умница. Звал всех на собеседование о задачах новой школы...

— Ах, а я думала, что и в самом деле что-нибудь интересное. Ну, знаешь, ничего интересного нет. Сверху в одном месте поскребли, в другом позолотили, а копни поглубже—все то же, старое. И ничего интересного. Только слова трескучие. Мы-ста, да нас-ста... Надо уметь устраиваться, чего ты совсем не умеешь. Погляди.—Она подняла ногу в ярко-красном длинном ботинке.—Выхлопотала кожу, выхлопотала ордер на казенную пошивку...

Марианна молча посмотрела на лоб и глаза Зои. «Я всегда знала, что она довольно противная, но ведь она к тому же глупа... безысходно глупа!»

Девочки слушали разговор теток с захватывающим любопытством, вытаращив глаза. Марианна взглянула на них и, ничего не ответив Зое, ушла в кухню.

— Всякий народ достоин того правительства, которое имеет, а человек судьбы, которая у него есть!—крикнула вслед ей рассерженная Зоя.—На меня же, прошу, никаких кухарочьих обязанностей не навязывать.

Кровь пятнами выступила на щеках Марианны, голова кружилась от бессонной ночи. Она посмотрела: воды в кадушке не было. Иван Николаевич с гостями тоже заспался и не успел сходить на водопровод.

В последние три недели и Самосадов и, в особенности, Юренев часто помогали Марианне: выносили поганое ведро, ходили за водой, иногда бегали за белым хлебом на базар. Почему то Марианна сама никогда не просила Юренева помочь ей. Она считала его почти другом, чем то вполне отличным не только от прочих красноармейцев, но и от всех своих немногочисленных знакомых. В его присутствии она испытывала чувство странного стеснения. Давным давно тому назад, еще в институте, она испытывала такое же стеснение в присутствии Коли Мариланова, студента, подгонявшего ее летом по математике. Юренев видел, что нужно для нее сделать, раз он в самый первый день закрыл, без всякой просьбы, трубу. Раз он не делает, значит не может, или не хочет. Значит, нельзя его и просить. Стыдно просить.

— Что, Самосадов, вы не принесете мне вёдра воды? Я сегодня что то плохо управляюсь с делами. Нездоровится.

Самосадов сидел на табуретке, прислонившись к стене и длинно вытянув ноги, с самым независимым видом: папаха на затылке, козья ножка в зубах; яркие глазки насмешливо-вызывающи.

— Ничего не выйдет, Марколавна. Не пойду. И ведров вам больше выносить не буду. И все вопче мы не будем.

— Что так?—Марианна покраснела до ушей.

— Да вот Николай Григорьевич нас засмеял. Так все выложил, что любо.

— Товарищ Юренев,—вскрикнула Марианна с удивлением, не веря своим ушам, и быстро перевела взгляд на сидевшего, понурив голову, Юренева.

Тот быстро выпрямился. Большие, темные глаза смотрели на Марианну укорно, зло, почти с ненавистью. Неясная догадка... колебание и вдруг прозрение осияло Марианну.

Теперь у нее покраснели не только уши, но и открытая тонкая шёя. Неожиданно для самой себя, неожиданно для красноармейцев, она улыбнулась светло и ласково.

— Но почему же так?

— Ага. Ожгло без пожару,—хрипло заметил Кондратьев, лежавший под полушубком на своей широкой койке. Лицо его горело. Уже несколько дней ему нездоровилось.

— Что же вы не отвечаете? Почему? Почему такое решение?

— А потому, что неравенство. Юренев все молчит, а как скажет, так прямо в мишень влепит. Вы там водочку пьете, вино, все это запрещенное, на фортепьянах играете, а нам Иван Николаевич, как в старину лакеям, в кухню вынес об'едки да опивки, да и то Зоя (он так и сказал «Зоя», не прибавил «Николаевна») пожалела. Что ужимаетесь? Думаете, подслушиваем за вами? И так все слыхать. Мы на него не обижаемся, он человек простой. Сделал спросту, от доброй души, но нам это не подходит. Я, признаться, выпил и Кондратьев тоже, а Юренев так и губ не помочил. Конечно, они вам на два дня провизии принесли, у нас этого нет.

— Ну, хорошо.—Марианна закусила по своей привычке нижнюю губу.—Но ведь я же для вас стряпаю, трачу время и труд. И вы можете мне оказать в свою очередь небольшую услугу...

— Ага-га,—удовлетворенно перебил Самосадов.—Вот-вот, это самое

и есть. Юренев все это предвидел. Как, говорит, для кухни, то мы товарищи—у нас общее есть, а как на фортепьянах играть да песни петь, так нашего брата не надо... без общего...

Марианна ничего не сказала, молча взяла коромысла, ведра и ушла. Когда она вернулась, ни Самосадова, ни Юренева не было. Кондратьев лежал с закутанной головой. На столе краснел кусок мяса и горсточка перловых круп, обыкновенный припас для солдатского супа. Вид этого куска мяса взорвал Марианну, расстроил, занял ее мысли вплоть до обеда.

«Выложил—какое нахальство. Я еще всегда картофелю им даю. Неловко это высчитывать, а следовало бы, чтобы знали. А, может быть, это — своеобразная манера извиняться, знак к примирению. Сварить им разве этот несчастный суп. Как бы поступил Жаночка (Марианна очень любила брата). Тот бы, конечно, сварил. Сказал бы только что-нибудь смешное, больше ничего».

Она несколько раз брала мясо в руки и сейчас же клала его обратно. Гордость, упрямство, обида расслабляли ее пальцы:—«Нет, надо их проучить». Что то сильное и, казалось, правдивое толкало ее варить суп. Что то менее правдивое и более сильное приказывало не делать этого. Неотступно стояло впечатление от взгляда Юренева; боль от ссоры с ним разросталась все сильнее и сильнее и вместе с ней росла оскорбленная гордость; слова Самосадова, вспоминаясь, липли к телу, как что-то тяжелое, стыдное... «Варить или не варить? Нет. Ни за что!».

Она поспешно загребла печку, поставила свой суп, картофель с мелко нарезанным салом—остатками вчерашнего приношения—и ушла в комнату, где занялась глажением самого нужного белья, кое-как высохшего в ее спальне.

На душе у нее было тяжело и беспокойно.

Красноармейцы вернулись как раз в то время, когда Марианна доставала из печи суп. Самосадов поглядел на стол, подошел ближе, ссыпал на ладонь крупу, взял в другую руку мокрый кусок говядины и великолепно-пренебрежительным жестом выбросил и то, и другое через форточку за окно.

— Пусть собаки да воробьи хоть раз от красной армии подарок получат. Идем, ребята, в столовую. С завтрашнего дня обедаем у Шипилова.

Кондратьев не пошел обедать, пролежал до вечера; вечером все же ушел в наряд. Вернулись с наряда поздно, когда Марианна уже принялась за стряпню. Самосадов играл в равнодушие, делал вид, что совершенно ее не замечает. Юренев сел, не раздеваясь, на табуретку; лицо его пылало, глаза были затуманены. И Марианна вновь увидела то, чего она давно уже не видала: опустившуюся, как будто разгавленную могучую фигуру, низко опущенную голову, устремленные в пространство, ничего не видящие, налитые всезаполняющей тоской, темные глаза. Сердце шевельнулось в ней жалостью, раскаянием, стыдом: «Неужели из-за меня?». Самосадов ставил самовар, мыл солдатские кружки, резал хлеб и голосом заботливой няньки говорил с Юреневым:

— Ну, что-ж, Колька. Ну, чего-ж теперь? Да, ведь, как же тут быть? Ведь если... Ведь вон барышня эта... уж вовсе, вовсе перед концом, а все ругается, чуть не материт... «Мерзавцы, кропийцы, подлые убийцы». А мужчины. Ты подумай: вреда то, вреда от них сколько. И на предбудущее. Нас

то ведь они не пожалеют... Конешно, старуху жалко. Будто простая старуха-то. Такая спокойная. «Прощайте, солдатики»,—сказала. Ну, да ведь и ее не без причины. Ясная вещь, что иначе нельзя было.

Юренев встал, снял с себя шинель и, бледный, с мутными глазами, шатаясь, лег на свою койку, шинелью он плотно закрыл голову и плечи, отвернулся к стене, прижался к ней, как будто хотел пройти насквозь. Марианна, не сводившая с него глаз, все забыла, бросилась к койке, положила обе руки на плечи Юренева.

— Что с вами? Вы тоже захворали? Что у вас болит?

— Не троньте вы его,—вполголоса, предостерегающе проговорил Самосадов.—Пройдет это с ним, отлежится.

— А кто это еще-то захворал?—Хриплый голос Кондратьева звучал бешеной злобой.—Кто? Я, что-ли? Ничего подобного. В наряде всю ночь был, да болен!

— Конечно, больны, Кондратьев. Вам необходимо сходить в околодок.

Кондратьев медленно вытащил из-под полушубка руку и сложил кукиш.

— Вот этого не хочешь ли? Ага, замолчала!

Часа через два Самосадов с Юреневым ушли. Пришел час обеда. Волнуясь, сердясь, чуть не плача от обиды, Марианна передала своим в самых кратких словах то, что случилось утром и накануне. По ее рассказу выходило так: солдаты отказались ей помогать, она не стала варить суп, Самосадов выкинул мясо. Кондратьев болен, не хочет лечиться и оскорбил ее. Все это невыносимо тяжело и неприятно. Она хотела прибавить: «И, кажется, или они вели куда то присужденных к расстрелу, или сами расстреливали», но почему то удержалась.

— Слушай, Жаночка. Кондратьев несомненно болен. И два дня ничего не ел. У нас как раз такой хороший суп. Предложи ему. Мне самой не хочется. После оскорбления.

— Эх, Мара, Мара. И ты стала такая же, как прочие женщины. Ну, что устраивать осложнение из-за пустяков? Ну, сварила бы им. Руки бы не отвалились. И всего десять минут работы. Портишь отношение из-за мелочей. Кто знает, сколько еще придется тебе с ними жить. Я, пожалуй, предложу. Да ведь тебе же будет хуже. Я как будто в выгодном свете явлюсь, ты—нет.

— Тут десять минут, там десять минут. Это хорошо говорить тому, кто на готовое приходит.

Иван Николаевич посмотрел на сестру.

— Ай-ай, Мара, что ты! Отчего ты такая? Как с тобой легко было всякую гадость переносить. И тесноту, и голодок, и холодок. Какая у тебя улыбка была хорошая, а теперь ты никогда и не улыбнешься.

— Что вы все «было, было».Отпеваешь заживо. Мало ли что было, да чего—нет!

Голос Марианны сердито дрожал, а на глазах круглились, не проливаясь, слезы.

— Отстань с хвалебными надгробными словами, Жаночка. И без тебя тошно.

— Ну, чего так расстраиваешься из за мелочей!?

— Нисколько не мелочи... Тут, наоборот, все.

— Да что все-то?

— Не надо... Не поймешь, да и я не хочу об'яснять. Хорошо. Я сама предложу Кондратьеву поесть.

Кондратьев принял заботы Марианны спокойно, даже, как будто, кротко; пробовал есть, но не мог. Выпил чашку крепкого чая с сахарным песком.

— Горло я только простудил, больше ничего,—говорил он, водя по кухне воспаленными, покрасневшими глазами.—Да еще с тоски... с горя. Сестра моя старшая умерла. Которая меня воспитала, холила. Письмо вчера получил в канцелярии.

— Да ведь вы жили у тетки?

— С двенадцати годов, как сестра овдовела, да ушла в люди... Нет, она жалательная была, холила меня, привечала, жалела.

Слезы потекли по его лицу.

Марианна взглянула недоверчиво.

— Да, конечно, это большой удар, если были добры и любили вас... Ну, а все-таки вы очень больны. Вам необходимо обратиться в околодок.

Как будто с шумом упал черный театральный занавес. Лицо Кондратьева ощерилось, искривилось злобой, он закашлялся, прерывисто выкрикнул:

— Не пойду. Сказано не пойду... Что пристала ко мне, как банный лист к заду.

Утром, на другой день, Кондратьев куда-то ушел и скоро вернулся вместе с нарумяненной, бедно-одетой и неприятной молодой женщиной.

— Ухаживать за мной будет. Тут на койке со мной и спать будет,— об'явил он Марианне, глядевшей на них, опустя руки.—Садись, Стеша. Робеть нечего. Некого нам робеть-то.

Он лег на койку, посадил женщину около себя, обнял и подставил лицо. Она поцеловала его в глаза, в обе щеки, в губы. Кондратьев захохотал, откинулся, потом опять присунулся к Стеше, положил ей через плечо руку на грудь. Со страстностью, показавшейся Марианне притворной, невыносимо отталкивающей, женщина опять начала целовать Кондратьева, за каждым поцелуем отрываясь и вновь припадая. Юренев смотрел в окно, откуда виден был только узенький проход между двумя домами. Самосадов посмеивался.

— Вот как... любят-то... нашего брата,—хвастливо прохрипел Кондратьев.—Язык его путался; на лице лежал такой же серый налет, как и у Чердынцева. Марианна, преодолевая отвращение, пристально разглядела его лицо и, не захватив самовара, за которым пришла, вернулась в комнаты.

— Тиф у него, несомненно, привел какую-то женщину. Целуются. Она собирается здесь ночевать.

— Чорт, чорт знает, что такое,—с злыми слезами в голосе проговорила, стиснув зубы, Зоя.—Вот жизнь-то устроили! Вот каторгу-то! Какое насилие! Мерзость какая!

Иван Николаевич, морщась, пошел в кухню. Марианна и Зоя тоже. Побежали и девочки.

— Хвораешь, ведь, Кондратьев, нехорошо... Подругу вон привел. Теснота и без того.

— За мной твои сестры ухаживать не будут.

— Да, ведь, доктора нужно. Я приглашу, пожалуй.

— Никаких я ваших докторов не приму.

Зоя не выдержала.

— Да что это за глупость за окаянная. Вы что, не понимаете, солдаты, что ли, в чем дело? У него, ведь, форменный тиф. Он всех нас заразит. Вас в первую голову.

— Нам заразы бояться нечего. Она всегда кругом нас. Всех, видно, переберет,—заметил Самосадов дерзко.

— Нечего и самим на нее лезть, как на рожон. К начальству вашему нужно обратиться, больше ничего. Юренев, вы, кажется, самый развитой из всех. Неужели вы не понимаете, что раз тиф—его, и с военной точки зрения, скрывать—преступление. Вы сами что лежите? Тоже захватило?..

Юренев молча кинул на Зою быстрый взгляд. Марианна прочла в нем: «как не понять, что против товарища идти неудобно».

— Ах, к начальству!—Самосадов покраснел от негодования.—Пожалуйства. Сколько вашей душе угодно.

— С какой стати пришла женщина,—не унималась Зоя.—У нас квартиру отвели под солдат. У нее, наверное, нет даже вида на жительство?

Стеша испуганно вскочила с койки.

— Да я и уйду,—забормотала она, тычась в поисках своей одежды и не находя ее.

— Сиди,—загремел Кондратьев, собирая последние силы.—Сказал—ты останешься, ну, и останешься. Сказал—не пойду в околодок, ну, и не пойду.

Он заворочался и страдальчески простонал:

— Голова разломиться хочет, а они трещат, галдят. Ишь набежало, как воронья на падаль.

— И в самделе. Больного-то человека можно в покое оставить,—внушительно подтвердил Самосадов.

Пахомовы ушли. Марианна молча резала хлеб. Иван Николаевич курил, задумавшись; Зоя, с красными пятнами на лице, далеко отшвырнув налитую ей чашку кирпичного чая—остатки китайского Марианна заварила накануне для Кондратьева,—застегивала бесконечные кнопки на выходном платье.

— Я прямо к Гезу Яковлевичу обращусь. Да и Смирницкий может помочь. Что-ж, что офицерская жена! Что-ж, что эвакуировалась! Какая, подумаешь, важность... Женщина поступает по-женски, выходит замуж. Отдали меня за офицера, а теперь выйду за коммуниста. Это значения не имеет.

Вернулась она не скоро.

— Ну, все обещано. Даже дезинфекция.

В обед в квартиру Пахомовых вошло четверо. Впереди—высокий, худой человек в вязаном шлеме, с решительным и жестким лицом; сзади двое франтовато-одетых, последним—толстый киргиз с живыми, как у мыши, равнодушно-любопытствующими глазками.

— Кто здесь заявлял в штаб о красноармейце, скрывающем болезнь?

— А, это я. Я, товарищ. Вы фельдшер?—залепетала Зоя, вскакивая и устремляясь в прихожую.—Здесь. Вот здесь. Не думайте, чтобы я заявила неправду. Вы видите здесь друзей советской власти. Мой жених—командир бригады. Брат вот не хотел служить при Колчаке. Сколько перенес.

Иван Николаевич стиснул ей руку до боли.

— Оставь, пожалуйста, Жаночка. Я знаю, что говорю. Мне уже надоело это отношение к нам. Словно, зачумленные какие-то, а, между прочим, надо еще спросить, кто больше сочувствует.

Высокий красноармеец, обращая на Зою столько же внимания, сколько обращают на пустое место, шагнул в кухню, бросил быстрый взгляд на Кондратьева.

— Вы, ведь, комбат, товарищ?—обратилась Зоя, не унывая, к франтоватому военному.

— Нет, я—лекпом.

— Давно хвораешь, товарищ?—спросил высокий.

— С сегодняшнего утра,—ответил Самосадов, безотчетным движением поднимаясь с табуретки.—Прошлую ночь он был в наряде.

Жест в сторону нарядного военного.

Доктор и фельдшер подошли, смеряли температуру, сняли с Кондратьева рубашку.

— Сыпняк, безусловно.

— Сам дойдешь, товарищ?

Кондратьев слабо качнул головой в знак согласия. Фельдшер одел его, поставил на ноги, взял под руку, киргиз подхватил под другую, доктор пошел сзади. Стеша шмыгнула, как кошка, за ними, позабыв даже свой узелок с маленькой подушечкой и ситцевым, розовым, мятым платьем.

Высокий на секунду задержался.

— Нужно избегать склоки с обывателями, товарищи.—И вышел, ни разу не взглянув ни на кого из Пахомовых.

— Ишь ты, вертячая,—злобно пробормотал, красный от стыда, Самосадов,—самого начальника полка подняла!

Через час пришли дезинфекторы. Самосадов протестовал было против дезинфекции, но его никто не слушал.

— И у них, когда так, делайте,—заявил он, разгорячась.—У них тоже тиф был.

Дезинфектор вопросительно посмотрел на Марианну.

— Да, был, действительно. Но я сама произвела дезинфекцию очень тщательную—кипятком, скипидаром, керосином.

— Давно было?

— Три с половиной недели тому назад. Больной уже поправляется. Мой брат навещает его каждые два дня.

— А. Ну, другое дело.

— Что, Самосадов, видно доносчиком не год?—Губы Марианны сложились надменно-насмешливо.

— То-то, что, видно, год!—ответил Самосадов вызывающе-дерзко, на лету схватил шинель с крюка и вышел. Юренев вскочил и кинулся за ним. Это движение ножом полоснуло Марианну: «Значит ссора. Навсегда. Ну что-ж... прекрасно».

Дезинфекторы уехали, улив всю кухню известкой и наполнив ее до краев едким, густым запахом карболки. Когда красноармейцы вернулись, стена около кухонной скамейки, скамейка и пол на том пространстве, на котором Марианна ворочалась около печи, были чисто вымыты, койки же солдат, стена около них и пол попрежнему забрызганы были известкой и

черной карболкой,—не вымыта была даже та часть стола, у которой, обыкновенно, сидели солдаты.

— Марколавна! Это что-ж у нас такое? Кто же у нас кухню мыть будет?

— Вы, Самосадов, и будете. Теплая вода в печке.

— Как это! Да я сроду и не мыл. Не мое это дело. Вы дезинфекцию звали, вы и мойте.

— Не валяйте дурака, Самосадов. Столько лет прослужили в солдатах и будто бы не умеете вымыть пола... Ерунда.

— Тут его и не домоешься. Вы никак три недели не мыли кухни?

— Не мыла! А какие были морозы? Сегодня первый день потеплее. Я в ваш угол, между прочим, даже и не хожу.

— Так не будете мыть?

— Даже и не подумаю.

Самосадов пулей вылетел за двери. Был четверг, день, когда Марианна занималась с Юреневым. Но она не позвала его заниматься. И он не сказал ни слова. Глубокое отчуждение, от которого Марианне хотелось рыдать, легло между ними, но ни за что не заговорила бы она первая.

Неожиданно вошел маленький, подобранный красноармеец. Он прошел прямо в комнату и с достоинством, хотя и несколько поспешно, уселся на первом попавшемся стуле, стараясь придать своему молодому лицу со вздернутым носиком как можно больше важности.

— Вы хозяйка?

— Я хозяйка,—ответила Марианна.

Она встала, руки сложила на груди, намеренно не стирая с губ издевающейся, презрительной усмешки.

— Да. Хозяйка. Хотя мои обязанности вы на себя, видимо, берете. Садитесь, пока я вас об этом еще не попросила.

— Отчего же вы не желаете мыть пола? Почему так очень гордо себя повели? Кухня ваша, вы ее и мойте.

— Наша, да я ею не пользуюсь. Я вашим солдатам не прислуга. Я учительница. Вы кто такой сами? Где ваш мандат? Принесите мне письменный приказ от Сибревкома или командующего армией, что я должна каждый день пол в кухне мыть,—я каждый день буду это делать. Ну, а теперь, извиняюсь, мне некогда. Хотя сегодняшний день у меня и свободный, но иду поправлять тетради. Если хотите здесь сидеть—сидите. Вы мне не мешаете.—Она зажгла свечу в Зоиной комнате и начала поправлять немецкие пересказы; руки у нее дрожали; строчки сливались в глазах; она ловила себя на том, что поправляла неправильно.

Красноармеец посидел минуты две, шагнул через порог.

— Не думайте: ответите за это.

Она не повернула головы.

Девочки посещали с некоторого времени школу. Как раз их смена была вечерняя. Марианне приходилось самой мыть посуду, так как позже посуда очень засаливалась и вода остывала. Ей смертельно не хотелось идти в кухню, там слышалось какое-то движение: солдаты уже вернулись. Необходимо было преодолеть это желание. Пошла.

Юренев и Самосадов сидели на койке в шинелях. Горела их собственная лампочка. Лицо Юренева закрыто было газетой.

Марианна молча достала таз, воду, мочалку.

— Нет. Вот нужно их спросить, зачем им Красной армии не надо...— заговорил Самосадов голосом, придушенным от сосредоточенной, убежденной злобы. Его добродушное лицо кривилось, в сузившихся глазах появился стальной, беспощадный блеск.—В чрезвычайке вот спросить бы их, зачем им Красной армии не надо. В Сибчека.

Марианна молчала.

— Сами нас заразили...

Вызова нельзя было не принять.

— Так, так, Самосадов. Отличаетесь. Сибчекой пугаете. Клевещете. Как это мы вас заразили?

— Очень просто. Что свою стену мазали, а нашу нет. К нам все и переползло. Как раз две с половиной недели срок.

— Ложь. Больше. Да у Чердынцева и вшей не было. У нас их нет. Мы с ними боремся.

— Была же, которая его укусила. «Мы боремся»,—передразнил он.— А мы не боремся. Мы, по-вашему, свиньи. Нам казенной бани мало, казенной смены мало. Мы, при своей бедности, белье заводим, отдаем стирать. На свои лишний раз в баню ходим. Я, где бы отдохнуть, валенки вон подшиваю; Юренев конверты клеит чуть не до утра. Нам вши, конечно, приятны. Мы—свиньи. Вы почему нас не хотели на квартиру пускать?

— Да потому, что, сами видите: тесно, грязно. Вместо уборной—яма с двумя перекладинами... Кому охота еще чужих людей пускать! Может быть, вы с своей точки зрения правы, но и я не чувствую себя ни в чем виноватой. Раз вы мне отказываетесь оказать какую-нибудь услугу, я тоже вправе никаких услуг вам не оказывать. Я вас к себе не приглашала. Ничего вам не обещала.

— Мы что ли виноваты, что ваши белые весь Омск загадили? Вы, думаете, нам приятно у вас на кухне валяться? Вам тесно в трех комнатах впятером, а нам троим, значит, в кухне свободно? Да я бы по своей-то воле и на двор бы за нуждой в вашей кухне сходить не захотел! Чужие... Вы тут сидели, в тылу окопались—мужья-то, небось, у обеих живы—флёрты на казенном пособии разводили, а мы в болотах мокли, в окопах гнили, нашего брата при царизме расстреливали, как скотину. Сюда шли—без настоящего порциону, без валенок. Вас же освобождали. Вы все тростите: «от Колчака пострадали». К начальнику Зоя с этим адресовалась. Как он отшил! Нуль внимания, как на собаченку, понимаешь, из-под подворотни. Это вот человек. От Колчака пострадали, а сами—первая контр-революция. Белый верх будет, так удерете к ним без юбченки. Не верил я партийным, все сомневался. Но теперь вижу их правда. Потому это все, что вы нам—враги. Да, настоящие, смертные враги.

— Ну, это, положим, пустяки,—дрожащим от волнения голосом, но, сделав презрительную мину, возразила Марианна.—У меня еще не было врагов. Я ко всякому человеку отношусь по-человечески.

— Да... так кажется. А поглядишь, так, понимаешь, не так. Были же тут в Омске люди и теперь их полно—я знаю—и роду не хуже вашего и образованность, наверное, побольше вашей образованности, однако, принимают нас, как своих. Одинаковы мы с ними. Ваши дезертиры были, так они их укрывали, кормили, белье им стирали. Я знаю. А вас я попросил парочку выстирать, так вы, как на медянку босая наступила: «мужского стирать не люблю». А не все равно мужчина, что я, что брат ваш? Я не больше его за-

нашиваю. Еще, чай, гордились про себя: «какая я деликатная мамзель». По-человечески. Нет, не по-человечески. А по-вражьи, по-собачьи. За все вам нагнись, за все благодари. «По-человечески». Небось, Чердынцев приехал, забегались, как тараканы под кипятком, кто постель, кто кровать, кто доктора, кто бульон варит. Вот вы три недели пола в кухне не мыли из-за холода, а человек на нем спал, валялся, как скотина у негодного хозяина. Я Кондратьева не хвалю. Ну, а он, все-таки, понимаешь, человек. Обращайся с ним по-другому сызмальства, и он был бы другой. Не вам его судить. Это вот, что ветчину жрали, да изгибались перед вами, дурачились... это вот ваши.

Марианна побледнела, подняла испуганные глаза на Самосадова. Обжигающий, секущий град бил ее по плечам, по голове, по лицу, багрово вспыхнувшему после минутной бледности. Она рассеянно уронила мочалку на пол, молча ушла в свою комнату, легла на кровать и заплакала бурными, разрешающими слезами: «Вот, вот, что надо было понять... И вот чего она не понимала. И вот отчего так неудовлетворенна, одинока, несчастна».

Красноармейцы ушли. Дверь громко стукнула... Прошел час, другой. Марианна все лежала. Ей чувствовалось так, как будто она долго, ожесточенно борясь, захлебываясь, билась против ночных суровых волн. И вот— не ошибка. Она плыла верно, боролась правильно; близки огни, близок берег, становится мельче. Кажется, можно встать на ноги... Какое счастье, что можно лежать одной в темноте и в тишине, как хорошо выздоравливать! В кухне кто-то завозился. Марианна вспомнила, что дверь не закрыта и бегом бросилась в кухню. Она не того боялась, что их обокрадут. Страшно было что-то другое, неизмеримо важнейшее.

Коптилка не хотела зажигаться. В тусклом отсвете окна Марианна видела, как кто-то возится. Очерчивались согнутые фигуры. Наконец, фитиль коптилки поддался усилиям ее нервных, торопящихся пальцев, вспыхнул красный огонек. В нем мелькнула только серая спина Юренева, уносившего какой-то узел.

— Стойте!—крикнула Марианна звенящим голосом, полным убедительности.—Подождите.

— Чего стоять? Не запряжены,—проворчал Самосадов.—Чего там еще? Уж не думаете ли—ваше что взяли?

— Стойте.—Марианна схватила за локти Юренева, посадила его на кухонную лавку, схватила Самосадова и с ним сделала то же самое.

— Сидите на чистом. Я сейчас вымою кухню.

Она достала воду, нож, принесла скипидару, надела кожаную столетнюю куртку Ивана Николаевича, крепко повязала голову. Скоблила, мыла, орызгала, терла, развела утюг. Длинные тонкие руки ее так и летали. Когда она начала мыть стену, Юренев стал рядом с ней на койку и так же молча, как и в первый раз, взял из ее рук таз с горячей водой, чтобы ей было ловчее. Койки она высушила утюгом.

— Ну... тепер готово.

— Ишь ты, Марколавна, как скоро. Ментом,—пряча глаза, проговорил Самосадов. Ему было, как будто, стыдно, не то за себя, не то за Марианну.—Ну, а я, все-таки, к Опивалочкину уйду ночевать. Когда только печь как следует протопишь, карболовка эта выйдет. А я слышать ее духу не могу, хвораю. В войну ее все лили в траншеях. Покойником, мертвечиной,

понимаешь, несет, добром этим человеческим, понимаешь, и... карболовкой. Ну, прямо, с души прет. Смерть моя, понимаешь. Я ушел.

— Я остался,—сказал Юренев и улыбнулся.

Марианна ушла в свою комнату. То же чувство неловкости, почти стыда, которое заставляло Самосадова говорить, опустив глаза, сковывало ее по рукам и по ногам. За ужином она не говорила и не ела.

— Да уж и ты не больна-ли?—спросил Иван Николаевич, обеспокоенный.

— Нет, не бойся, Жаночка. Я совсем, совсем здорова. Если и хворала, так выздоровела. Прямо, не хочется.

Когда все улеглись и посуда была убрана, Марианна тихонько оделась, и вышла на двор. В комнате ей было душно, тесно, глаженье при тусклом, мигающем свете не спорилось. Воли, простора хотелось ей для того нового, что незримо и мучительно росло и, наконец, созрело в ней.

Ночь переваливала за половину. Висела ясно-стальная, ущербленная луна, небо казалось глубоко темным, улица глухо спала. Марианна присела на узкую скамейку, с которой девочки катались с горы, прислонилась к забору и с наслаждением вдохнула чистый морозный воздух. У дверей кухни ей почудилось движение. Она взглянула. Вышла высокая фигура в шинели, огляделась. Марианна не испугалась, не удивилась. Она знала, что это Юренев. Он должен был придти, не мог не придти. Юренев увидел ее, подошел.

— Марианна Николаевна. Почему вы так сильно отказывались, спорили, а потом—вдруг сами пришли и вымыли кухню.

— Потому, что Самосадов был прав.

Юренев помолчал.

— Прав?

— Да. Совершенно. И потому, что я не их, а ваша...

— Сесть с вами можно?

— Конечно.

Оба засмеялись тому, как Юренев не знал, куда девать свои черезчур длинные ноги. Он сел к Марианне очень близко. Она не отодвинулась. Она ждала этой близости давно-давно. Сама не знала, что ждет так сильно...

— Так—хорошо. Не надо никаких извинений, никаких об'яснений... Все это—лишнее.

— Значит, жизнь принимаем?..

— Значит, принимаем.

— Со всем, что в ней?

- Со всем. Ведь надо же знать, надо верить, что страшное в ней—последнее. А если не последнее, то, ведь, для того оно, чтобы пришло—последнее.

— Да, если поверишь! Я сам догадывался. Сам так думал. Не раз мне говорили. Впрочем, мне больше о борьбе говорили. Голова—одно, а вон середина, душа, ну, как там изобразить, она—другое... Измучился я, Марианна Николаевна. Раза три за веревку хватался, а то думаю: «пристрою винтовку или у кого-нибудь из состава наган унесу». И всякий раз жалко станет себя, людей, дубочков на полянке, родную деревню, кажется, все обцеловал бы до травинки... Так и отойдешь. Будто забудешься. Думаешь должна быть жизнь, должна быть жизнь!

— Жизнь есть. Но я поняла ее не сразу. Вы не должны судить меня строго,—она запнулась,—Николай Григорьевич. Знание приходит так трудно. Я росла уже после первой революции. Ее боялись, о ней не говорили. Хорошие книги нам не попадались. Мы Арцыбашева читали, Сологуба, Вербицкую... Ах, как мы читали Вербицкую. Ночами напролет. А потом—такое раннее замужество. Мелочи всю жизнь заполнили. Детей я иметь не хотела... Говорить—так уж все. Тут—война. Такой под'ем, такая какая-то любовь к России. И все-таки—ничего не понимала. Левых газет мы и не читали. Я с левой печатью только здесь, в Омске, познакомилась. Слышала что-то смутное... И в каком виде: «шпионы, предатели России, нож в спину революции». Несоответствие больно ударяло... Это я понимала... Выходишь солдата, полюбишь его, как родного. И так сердце болит, когда его на комиссию отправляешь. Ни о какой победе не думаешь. Напротив того. Думаешь: это—бойня. Это—напрасно. Татарченок один был в лазарете; он раньше лежал с военнопленными и любил рассказывать о них. Я очень с этим татарченком была дружна. Он раз в минуту откровенности и говорит: «такой же бедный народ, как и мы. Силком их на нас погнали. Люди везде одинаковы... и мы дураки». Помню, я была у нашей генеральши-немки в Казани. Тогда первые слухи дошли о насилиях над офицерами. Ух! Такое чувство злобы, ужаса поднялось. Говорили, говорили, замолчали. Мне тоже было очень обидно, горько. Вдруг, девочка четырнадцати лет, дочка генеральши, такая розовенькая, глазки карие, пухленькая, ну вот, как пирожное с корицей, губки маленькие, бантиком. И она этими губками так медленно, благоразумно, как хорошие немецкие дети говорят: «А все-таки, во всем виноваты богатые и знатные». Мать всполошилась. «Но что ты говоришь? Почему так?». «Потому, что они черезчур обижали бедных». Вот был эффект. Вот так по кусочкам, по кусочкам...

— Но как это окончательно случилось? Что вас переработало? И почему так долго?

— Не знаю... на ваших глазах случилось. Так вышло. А у вас почему долго?

— Да ведь я неученый... У меня как голова работает? Да я вам уж рассказывал, как трудно решать...

— Ой, ой, товарищ Юренев. Разве это от образования? Это оттого, кто из какой печи щи хлебает. И есть ли храбрость раскрыть глаза и сказать себе: это вот—белое, а это вот—черное. И хочешь, не хочешь... а так. Теперь вы про себя говорите.

— Не знаю—как. Если все—очень много. Целый год не переговоришь.

— Целый год и будем говорить. Чем мы рискуем?

— Какая вы веселая!

В калитку гулко постучали.

— Эй, кто там по ночам говорит?

— Красноармеец.

— Открыть калитку.

Юренев глянул, поднявшись через забор, отворил. Вошли шесть человек. И в первый раз еще, за последние два года жизни, Марианна при виде вооруженных людей не испытала леденящего, расслабляющего чувства страха.

— Билет.

Кто-то чиркнул спичку. Старший прочел.

— Кто с тобой?

— Хозяйка.

— *О чем говорите?*

— Я рассказываю, как одну зиму учился в трехклассной, как скотину пас... как в казарме время проводил, грамоте выучился по-настоящему. Про войну. Про Керенского. На фронт он к нам приезжал.

— Это любопытно. Самолично видел?

— Самолично. Приезжал в вольной одежде, с красным цветком на груди. Речь говорил. Кричит, как женщина, все звал нас в наступление. Не понравилось нам это. Он тогда ту речь, что мы уже в газетах читали. «Ах, отчего я не умер». А у нас в седьмой роте был Ивнев, певец, шутник. «А чорт тебя знает, говорит, чего ты не сдох». Да так явственно. Чуть мы не загрохотали.

Голос Юренева, как ручей солнечными блестками, звенел клубящимся счастьем. Старший зажег новую спичку и поднес ее к лицу Марианны. На него взглянули живые, ласково-смеющиеся темные глаза, показавшиеся ему пленительно-прекрасными. Он издал горлом короткий звук не то удивления, не то восхищения.

— Муж где?

— *Не замужем,—ответил ему ясный, счастливый голос.*—Я разошлась.

— Да вы что наруже сидите? Или от кого тишком?

— Товарища увезли в больницу, надушили карболкой, голова разболелась.

Старший положил руку на плечо Марианны.

— Полюбезничай, полюбезничай. Мы о вашем брате соскучились.

— А мы о вашем...

Кругом сочувственно засмеялись.

— Однако, идите в халупу; по ночам разговаривать не полагается.

Звякнул запор калитки.

— Ну, Марианна Николаевна. Ну, не уходите. Еще рано. Мы шопоточком... Вполголосочка.

— Да вы озябли, товарищ Юренев. Я то хорошо одета.

— Что вы, озяб? Жарынь на дворе!

— *Ну хорошо, кончим обо мне. Вы спрашиваете, что меня переработало.* Все вообще. Я думаю—не малую роль сыграли бедность и труд. Я узнала, что такое настоящий труд, настоящая усталость. Я люблю труд. Когда стряпня выходит экономно и вкусно—радуюсь. Когда скоро и чисто уберусь—тоже. Придумаю, как скорей стирать белье, как скорей научить правильно произносить по-французски—тоже. А в общем, чего-то не хватает и самого главного. Мне хотелось бы, когда я состряпаю, чтобы тысяча, две тысячи человек ели бы. Белье выстирать на огромной машине, перебегать от одной ручки к другой. Тут вертеть, там толкать... И вот готово. Белье на три тысячи человек...

— И Самосадову?

Неожиданно вырвавшийся смех.

— Самосадову в первую голову. Мне радоваться так бы хотелось, чтобы огромная площадь, огни, песни. Я все понимаю. Я в душе у каждого и каждый у меня... И если горе—знать, что везде, везде, во всех закоулках

земли о тебе знают, тебя любят, твое горе разделяют. Ох, как одиночество ужасно!

— Не миновать партии...

— Не миновать... Страшно все-таки как-то. А если там не то?.. А если сам не годишься?

— Нет, то. Я давно догадываюсь, что и для меня и для вас—именно то... А не годиться? Что вы. Вы то? На совесть работать. с убеждением! И говорить нечего.

— Смотрите, смотрите: ведь светлеет.

— Что вы, Марианна Николаевна. Совсем еще темно, хоть глаз вон коли. Ночь.

— А луна то высоко-высоко, как голубиное перо, побледнела. А вон там светлая полосочка. Нет, товарищ Юренев, раннее утро.—Марианна решительно встала. Юренев покачнулся и свалился на землю. Хохотали, закрывши рот руками.

Но как только Марианна отошла, чувство одиночества, беспокойный страх, боязнь какой-то уничтожающей всю жизнь утраты охватили Юренева.

— Марианна Николаевна, Марианна Николаевна,—голос его звучал неуверенно, покорно, почти с мольбой,—а вы, ведь, не бросите меня? Не перестанете со мной заниматься? Ведь еще надо переговорить. Ведь, я же вам ничего еще не сказал. Может быть, самого главного-то и не сумел.

Марианна обернулась, серьезная, тихо-радостная.

— Конечно, конечно... Мы вместе... Главное, мы все-таки, кажется, сказали... Что вы? Отчего волнуетесь? Ведь у нас много, много дней впереди.

О НЕДАВНЕМ.

I.

Да, по-кочевому жили вовсе,
Крепко точки ставили свинцом.
На зимовки зря манила осень—
Мимо шли, ветрам открыв лицо.

Дорожили вот как черствым хлебом,
Спали, приходилось, на снегу.
Все-же сердце бодрым билось гневом,
И пощады не было врагу.

Время шло от боя и до боя,
Был ненужен дней обычный счет.
Дружною шагали мы гурьбою
По нехоженным путям еще.

И по ним, как солнышко вставало,
Вышли на просторное шоссе.
Шумным и большим стоим привалом
По-иному зажили совсем.

Но забудешь-ли былые годы?
Память жжет порой огня сильней.
Заметают нынешний наш отдых
Вихри боевых жестоких дней.

II.

В эшелоне бились песни,
В убегающий рвались простор,
И казалось, что теплушка треснет,
Глоток яростный не выдержит напор.

Как из пулеметов—матерились круто,
Жеребцами гоготали на девах.

Обсуждал народ: ох, баламуты,
Озорные—страх!

Эх, не понимали, значит,—
Это-ж буйствовала жизнь сама.
Встала в рост, как есть и, озадачив,
Намечала свой большой размах!

Кто-то на теплушке вывел мелом,
Подкрепив свой лозунг матерком:
— Смерть, растак твою, всем белым!—
И пузатого проткнул штыком.

И опять бежал, ревя потоком,
Длинный неспокойный эшелон.
А ему в ответ с востока
Громыхал, сверкая, чешский фронт.

III.

Что теперь? Живешь—не тужишь.
Радостные видишь сны.
Греешься на печке, если стужа,
Дождь пошел—домой и хоть-бы—хны!

Видишь копошится малый в зыбке,
Жду, вот позовет,—качай.
Не согнать с лица теперь улыбки
Не нарочно, невзначай.

Даже вспомнишь фронт, окопы,
Вшей—и то лишь скажешь: что-ж,
Нечего впустую языком нам хлопать,—
Ты по-деловому подытожь!

Полною свободно дышишь грудью
И какие говоришь слова.
Словно вкруг иные люди,
У тебя-ж другая голова...

Георгий Павлов.

Р А З Д У М Ь Е.

Минула удаль ямщиковая,
Заглохли в селах кабаки.
Лишь конь мой звонкою подковою
Вспугнул затишье у реки.

В глуши таится жуть и оторопь.
Виляет путь нивесть-куда.
— Когда-ж обозы вновь застопорят
Заставы в наши города?

Не в захолустьях-ли поветрия
Подкарауливают люд?
Как не хочу разбойной смерти я
В глуши, где близкие живут!

Мой дальний путь—ровнее скатерти,—
Из пустырей увел в Москву,
Но заронили приискатели
Мне в сердце вещую молву.

У них узнал, что ширь таежная
Мне отравила рано кровь.
Что сторона моя острожная —
Мой отчий угол и мой кров.

На берегах поганой Яузы
Она мне чудится, да так,
Что никакой заядлой кляузе
Не очернить ее никак.

Пусть не терплю я глушь суровую,
Пусть от тайги я отрекусь,
Но трактовой звенеть подковою
Не перестанет моя грусть.

Не перестанет, если вздумаю
Зажить в Московской стороне,
И не вернусь в страну угрюмую
Скакать на добром скакуне.

Мих. Скуратов.

О Б Ь.

Запутанная сеть бесчисленных проток,
Каймящих острова узором прихотливым,
Продольных отмелей сереющий песок
И купы тростников над глохнущим заливом.

Река в движении своем нетерпеливом
Меняет каждый год неудержимый ток,—
И бешеной весной развившийся клубок
Волнистых струй бежит, катясь по голым ивам.

Напрасно ищет глаз возвышенностей скал
Иль круглых выступов вершин уединенных,—
Все раздробил и смыл тысячелетний вал,
Все сглажено в веках загадочных и темных.

И вот блуждает Обь, сливаясь и делясь,
Творя непрочную, причудливую вязь.

П. Драверт.

Луна на небе, как верблюжий вьюк,
Качается, и тучи голубые
Несут собой блестящий полукруг.
Кругом все дико, словно в дни былые...

Мне кажется, что в мире век Батыя,
Те дни, когда топтали орды юг.
Мерцают сквозь откинутый тюндюк
С небес полночных звезды золотые.

Земля гудит от топа табунов,
Бурьян звенит глухим и тяжким звоном,
В полыни слышен дикий вой волков.

Здесь орды шли с бряцанием и стоном,
Здесь медленно дыхание веков...
Луна плывет над первобытным лоном.

Сергей Вологодский.

ПРОСТЫЕ РАДОСТИ.

I.

Нету мне путей заказанных...
Оттого-ль сквозь частокол
Люди пальцами показывают
На истрепанный подол?

Вдруг стоскуется, нет моченьки,
А пошто—не знаешь сам,
И пойдешь с утра до ноченьки
Колесить по пустырям.

Раз и два пропав до зорьки я
Растеряла всех подруг.
Да пускай,—кто сердце горькое
Пожалеет, тот и друг.

Оттого-ль, что не улещивал,
Или было по пути,
Я в твой домик неприметливый
Стала чаще заходить.

Видно, слово тебе знаемо
Неуемное унять...
Как жива была родная мать,
Не любила я гулять.

Ах, напрасно как то к ночи ты—
Месяц выплыл нас стеречь,
И на улке пели кочеты—
О любви затеял речь.

Не могла сказать ни слова я,
Засмеялась, да пошла.
Говорят,—я непутевая...
Уж какая я жена...

II.

Я больше губ не в силах закусить,
И крик мой все неистовей и жальче...
Глазами только можно попросить.
И кто-то отвечает... «мальчик...»

Я мать!
И жду отца, чтоб рассказать,
Как все вдруг стало радостней и проще,
— Пусть он посмеет мне сказать в глаза,
Что плохо сын мой мною взрощен!

И жду, когда раздастся голосок
Комочка изнемогшей плоти,
Чтобы вложить набухнувший сосок
В голодный чмокающий ротик.

Нина Изонги.

Сырая пашня пухнет в небо,
Дрожащим маревом кадя.
Несет теплом душистым хлеба
И терпким запахом дождя.

Вон облака блестящим краем
Задели берега земли,
Как бы проходят (что я знаю?)
В далеком море корабли.

А здесь, наверное, устали,—
Закрыли ставни. Тишина.
Над тыном розовая мальва—
Наверно мать у них больна.

Здесь тот же ветер дышит глуше,
Чтобы молчанья не задеть,
И тополь нежную верхушку
Полощет в голубой воде.

Ксения Львова.

Первый Сибирский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов 1905 г. *).

(Страничка из воспоминаний о 1905 г. в Красноярске).

Борис Шумяцкий.

Почти 20 лет от одного рубежа—от октябрьских дней 1905 года—и 7 лет от другого рубежа—от другого октября, величайшего по своему историческому значению, от октябрьской революции 1917 года.

Какая разница в глубине этих рубежных событий! И в то же время—какая удивительная логика спайки этих двух звеньев славного прошлого русского пролетариата с его недавним настоящим.

I.

Героический город Красноярск—наш сибирский Ленинград, колыбель и твердыня большевизма, крепость советской власти!..

Что было в Красноярске в 1905 году?

А было то, что горсточка в 2-3 тысячи местных рабочих, по преимуществу — железнодорожников, руководимая—со средины октября 1905 года, т.-е. непосредственно после «Великой Сибирской ж.-д. забастовки 12-18 августа»—большевистской организацией, во главе которой до конца октября стоял тов. Урицкий (кличка «Кузьмич»), 16 октября захватила власть над ст. Красноярск и ее центральными, для всей Сибирской железной дороги главными Красноярскими жел.-дорожными мастерскими и, создав сперва, так называемый, Об'единенный Стачечный Комитет, а затем и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов (солдатских от расположенного в то время в г. Красноярске железнодорожного батальона), к ужасу царских слуг и буржуазии, начала захватывать в свои руки власть.

Об'единенный стачечный Комитет (фактически Совет) к 19 октября прочно обосновался в правительственной губернской типографии и помимо своих оффициальных бюллетеней начал печатать там прокламации и проч.

---

*) В «Сибирских Огнях» №№ 4 и 5—6 за 1923 г. и № 1 за 1924 была помещена ст. т. А. Абова (А. Ансон)—«1905 г. в Красноярске», составленная на основании архивных материалов и воспоминаний участников. Предлагая вниманию читателя небольшие воспоминания т. Б. Шумяцкого, одного из активных работников Красноярской с.-д. организации в 1905 году (ныне полпреда С. С. С. Р. в Персии), мы не делаем к ним никаких фактических поправок в отношении дат, фамилий участников событий и пр. **Редакция.**

В полдень 19 числа пишущий эти строки, как заведующий технической группой Красноярского партийного комитета, прибыл в эту типографию, чтобы забрать для распространения очередную прокламацию.

Примерно через час туда же врывается т. Кузьмич (Урицкий) с манифестом царя (17 октября) и здесь же на тэллере наскоро набрасывает прокламацию, об'ясняющую истинный смысл этого мошеннического документа. Наиболее ярким местом этой прокламации было указание на то, что томские черносотенники с местным губернатором и архиереем во главе—несомненно по указке царя и его слуг—авторов октябрьского манифеста,—сожгли 500 человек рабочих и служащих, которые собрались в помещении Управления Сибирской жел. дороги (ныне Томской), чтобы обсудить свои нужды.

Весть о манифесте, самый выпуск которого свидетельствовал о растерянности творцов помещичьего режима, разнеслась по городу с необычайной быстротой. Либералы, из крупных чиновников и купцов, носились по городу и, стараясь изобразить манифест царя, как необычайное благо, в тот же день создали в Красноярске «свободную народную партию», с В. Карауловым, А. Желуцким во главе.

Немного позже (4 ноября) в прокламации Красноярского Комитета РСДРП давалась этой «партии» достойная характеристика:

«На-днях в Красноярске появилась новая политическая организация, именующая себя «свободной народной партией». Вылезла эта партия на свет скоропалительно и быстро. Правда, не совсем удобно с ее стороны называть партией группу красноярских обывателей, которые не принадлежат ни к одной всероссийской партийной организации, которые решили выставить свою собственную программу, даже не справившись с настроением единомышленников в России: либеральных промышленников и дворян. Но цель оправдывает средства. Наивных людей всегда найдется достаточно, тем более в России, где слово правды редко доходит до народа, где народные массы на первых порах могут пойти за всяким либеральным болтуном, заговорившим с народом новым языком, непохожим на язык самодержавной бюрократии. Народ прост. Почему, в самом деле, не сделать попытку быстрым ходом увлечь его за собой, увлечь в то время, пока он не успел еще разобраться во всем происшедшем, пока он еще не научился отличать своих врагов и друзей. Поэтому, как бы мы не относились к новой группе, как к настоящей партии, или только как к самонадеянной попытке основать таковую, мы, социал-демократы, считаем себя обязанными раскрыть истинный ее характер. Пока рабочий класс и мелкий люд на своей собственной шее не испытал, что значит доверять защиту своих интересов буржуазным либеральным партиям, до тех пор можно ожидать, что намерения буржуазии опереться на народ для преследования только своих классовых целей не останутся бесплодными»...

Беготня новоиспеченной «свободной народной партии» в этот день—20 октября—ничего не дала либералам. Приходили они и к нам в Комитет насчет об'единения, но, получив там соответствующую отповедь, ограничились лишь уговором быть на другой день—21 октября—на всенародном митинге, устраиваемом Стачечным Комитетом в Народном доме.

II.

События 21 октября развернулись в ряд отдельных достопамятных моментов.

День этот—наудачу теплый и ясный—начался митингом в сборно-паровозном цехе главных мастерских. На митинге выступал ряд массовиков ораторов и, между прочим, один из офицеров проходящего мимо ст. Красноярск из Манчжурии эшелона. Этот офицер произнес типичную интеллигентскую речь и продекламировал только что появившиеся стихи П. Якубовича, посвященные жертвам Цусимы. Офицер картавил, жеманничал, но все же у всех врезались в память строфы о безумной авантюре царизма, пославшего на верную гибель целую эскадру.

Митинг закончился принятием резолюции, предложенной т. Кузьмичем (Урицким), отвергающей «жалкую подачку царя» и призывающей рабочих к дальнейшей борьбе...

По окончании митинга рабочие стройными рядами, имея впереди боевую дружину с массой красных транспарантов и знамен, пошли в Народный дом на «всенародный» митинг.

Митинг открылся в 1 час дня. Описание митинга мы берем из сборника материалов о 1905 г. в Красноярске, подготовляющегося к печати:

«Народный дом переполнен до крайности, председателем, по обыкновению, избирается тов. Урицкий, который заявляет, что черносотенцы готовят свою «патриотическую» манифестацию, что возможна с их стороны попытка сорвать митинг, и просил лиц «со слабыми нервами» удалиться, предупреждая в то же время, что всякий выстрел внутри здания будет считаться провокационным.

Боевая дружина поставлена снаружи и несколько человек послано в разведку для наблюдения за «патриотической» манифестацией. Черносотенцы все стянулись к кафедральному собору, откуда, получив благословение архиерея, иконы и царский портрет, двинулись к Народному дому. Разведка сообщила, что среди них много выпивших. Подойдя к Нардому с пением «Боже, царя храни» и криками «да здравствует монархия», «ура»..., они потребовали выхода собравшихся на митинге, сдачи оружия и выдачи «жида» Урицкого. В это время было два провокационных выстрела, первый—внутри, при чем стрелявший был задержан и об'яснил, что выстрел произвел случайно и ранил себя в руку, но по его осмотру оказалось, что он совершенно не ранен, и было ясно, что это провокатор. Но во время сутолоки он успел скрыться. Второй провокационный выстрел был произведен на улице из толпы черносотенцев и пуля пробила царский портрет. С этого момента черносотенцы открыли стрельбу по дружине, которая стала отвечать довольно удачно, так что черносотенцы, побросав своих раненых, стали разбегаться. Но в это время им на помощь прискакал казачий дивизион, окруживший Нардом.

Сзади казаков бушевали черносотенцы, кричали «бей», «жги Народный дом» и проч. Между прочим, они потребовали бочек с керосином для поджога здания.

Губернатор и другие власти в это время собрались в доме Семенова-Романова, что против Нардома, и оттуда наблюдали за происходившим. Не имея возможности попасть в Нардом, черносотенцы стали избивать случайно проходивших рабочих и интеллигенцию. Тут, между прочим, они в суматохе отрубили конец носа нотариусу (кадету) Ицину, очевидно, приняв его за «красного». В это время избитые и раненые насчитывались сотнями, убитых же было 12 человек. Губбольница и лечебница были переполнены ранеными.

Внутри Нардома было спокойно и митинг продолжался, но были раненые; сорганизовавшийся красный крест не имел ни перевязочных мате-

риалов, ни медикаментов. Необходимо было раненых срочно доставить в больницу. Сделали самодельные носилки, и санитары с фельдшерицей Еленой Прейс понесли раненых. Когда прошли линию осаждавших казаков, то черносотенцы бросились на Прейс и санитаров, до полусмерти избили их и раненых и при этом сбросили раненых с носилок на землю. Губернские власти и казаки спокойно наблюдали эти ужасные избиения.

Во всех избиениях, как и в черносотенной демонстрации, принимали участие переодетые полицейские и жандармы. Около часу ночи боевая дружина сообщила, что казаки и черносотенцы в панике разбегаются.

Оказалось, что второй железнодорожный батальон, узнав об осаде в Нардоме, пошел на выручку.

Черносотенцы и казаки, увидев быстро приближающихся со штыками на перевес солдат ж.-д. батальона, моментально в паническом страхе бросились бежать.

Рабочие-солдаты пришли освободить своих братьев. Здесь произошло первое братание рабочих и солдат.

Во время осады из Нардома к губернатору ходил областник Всеволод Крутовский с просьбой снять осаду, но губернатор соглашался это сделать только в том случае, если будут выданы руководители митинга и дадут возможность жандармам переписать всех присутствующих. Понятно, митингом эти условия приняты не были. Да и Крутовского никто не уполномачивал вести переговоры с губернатором».

К этому описанию мы должны добавить только несколько сохранившихся в памяти деталей.

Наша дружина состояла из 50—70 человек, по преимуществу из железнодорожных рабочих. Вооружена она была, по большей части, револьверами. Расположилась она в Народном доме так, что заняла все входы и выходы, образуя тем самым как бы сторожевые посты митинга.

Как сейчас помню, что главный вход и выход охранялся десятком дружинников, из них двое были нашими силачами: Федя Журавлев (кузнец) и т. Журавский (кажется, рабочий столярного цеха). Последний был вооружен винчестером и во время осады был убит.

Начальником дружины был кузнец Федор Данилович Журавлев, а из членов я помню только следующих: С. Богачева, А. Рогова, К. Старцеусова, Б. Шумяцкого, Андреева, Палея, З. Бондаренко, К. Мельникова, Л. Николаевского, А. Розенштока, Г. Супруна, И. Лютровича, С. Литвинова, Л. Когана, К. Липнягова, В. Быстрова, Е. Гусева, А. Глаголева, А. Гольба, П. Демьяненкова, Ф. Глинкина и Н. Малыгина.

Описываемый выше митинг начался речью тов. Кузьмича (Урицкого). Пункт за пунктом он обстоятельно разобрал мошеннический манифест царя и особенно подчеркивал отсутствие в этом вынужденном документе указаний, как царь капиталистов и помещиков собирается разрешать рабочий и земельный вопросы.

После Урицкого произнес лирическую речь меньшевик студент А. Калашников о всеобщем избирательном праве.

Его сменил бурно-пламенный оратор эсер-максималист—брат пишущего эти строки—Марк Шумяцкий, тоже работавший в депо ст. Красноярск.

Речь этого оратора блистала не столько своей содержательностью, сколько своей страстностью и необычайной изящностью, верней «красивостью».

«Пусть эти сирены (либералы, славославящие манифест) с высоты высот Олимпа своего классового могущества опустятся на нашу грешную землю, к рабочим, к многомиллионному крестьянству, и я уверен,—говорил этот оратор,—что тогда голоса этих сирен должны будут смолкнуть».

Двухтысячная аудитория, захваченная страстностью речи оратора, бурно реагировала на пряную красивость его слов. Произошел даже такой случай: когда оратор произносил слова «сирены», то с галерки, несмотря на то, что публика любила этого оратора, раздавались густые голоса:

— «Полегче. Нельзя-ли без сирен».

Говорил затем речь и представитель либералов, адвокат А. Желудский, который и на этом же митинге выкинул такую штуку: когда, немного спустя, черносотенцы стали осаждать Народный дом, где происходил митинг, то этот храбрец, олицетворяя стойкость своего класса и его вероломство, тут же переоделся в женское платье и сбежал с митинга.

Как я уже сказал, осада продолжалась до 9 часов вечера, пока не подошли на выручку солдаты 2-го ж.-д. батальона. Радости участников митинга не было границ, когда на трибуне, которая находилась на сцене, появились трое вооруженных солдат—т.т. Масаковский, Сосновский и Смецкий—и когда один из них, обращаясь к присутствующим, произнес краткую речь, из которой у меня осталась в памяти только незабываемая фраза о братании армии с народом.

III.

Но жизнь требовала не только митингов и речей. Она требовала и осуществления власти, ибо, распустив в ноябре жандармерию, полицию, Городскую Думу и Управу, Красноярский Совет вплотную подошел к проблеме власти. Население требовало от него ответа на муниципальные, полицейские, административные вопросы. Он мало-по-малу начал их разрешать и уже к середине ноября его Исполнительный Комитет разбился на секции: **муниципальную, охраны порядка** в городе и на железной дороге, **охраны труда, охраны здоровья, искусства и зрелищ и секцию—управления губернией.**

Работа секций фактически началась еще до их образования. Население искало и требовало власти. Под его воздействием и складывался аппарат первого Совета.

Канцелярия Совета—верней Исполкома,—помещавшаяся в железнодорожном собрании, в это время походила на роившийся улей. Работники работали круглые сутки. Председатели секций, а пишущий эти строки был сам в их числе, буквально сбивались с ног. Старых дел под руками не было. Приходилось заводить новые. Кто-то надоумил, что неразумно создавать где-то на отлете совершенно новый аппарат, а надо перенести секции в канцелярии старого. Так, были перенесены в помещение Городской Управы—муниципальная секция, во главе которой стоял наш старейший и ныне здравствующий товарищ Вл. Сим. Гоштовт, в помещение управления полиции—секция охраны, в Пушкинский Народный Дом—секция зрелищ и искусства, в помещение городской больницы—секция охраны здоровья. Но остальные секции крепко держались за Исполком и не хотели уходить из железнодорожного собрания.

Когда местная буржуазия, напуганная характером революционного движения в Красноярске, бросилась выбирать из Красноярского отделения Государственного Банка вклады, то Красноярский Совет немедленно

послал туда комиссара, но, повторяя ошибку Парижской Коммуны, полного захвата банка не осуществил, оставив этот важнейший инструмент в концерте власти—в руках слуг старого строя.

Тем не менее, чтобы пресечь остановку банковской работы и панику вкладчиков, Совет обратился к населению с призывом к спокойствию, об'явил неприкосновенность вкладов, а для охраны поставил около банка, а особенно около его кладовых и кладовых казначейства, свою верную «дружину народной охраны», наряды которой, вплоть до самого подавления Красноярского движения, охраняли банковские и казначейские запасы. Насколько верно и преданно эти наряды несли свою службу, может служить следующий факт: частные банки неоднократно обращались к Совету с настоятельной просьбой дать и им наряды из «дружины народной охраны».

Затем выяснилась необходимость организации Красноярским Советом и своего собственного суда, ибо суд царский -окружной и мировой— был об'явлен распущенным и бездействовал. При Красноярском Совете была поэтому организована судебная секция.

Ее сразу же завалили работой—сотней дел. Судить и разбирать их приходилось наспех, на бивуаке, тут же занимаясь и правотворчеством. Судили и приговор выносили «именем Революционного Народа». Здесь же на месте население давало и своих присяжных заседателей, и своих обвинителей, и своих революционных защитников.

Во главе судебной секции был поставлен т. Гусев (брат М. С. Гутовской), позже работавший вместе с пишущим эти строки в качестве фрезировщика в токарном цехе депо ст. Слюдянка и там же умерший от чахотки.

Тов. Гусев отличался необычайной находчивостью и его формулировки вопросов присяжным (на каждом заседании секций присутствовало три присяжных) всегда поражали всех своей находчивостью и оригинальностью. Например, припоминаем одно дело о выселении из квартиры за неплатеж квартирной платы семьи, глава которой упал при постройке жел.-дор. моста на реке Енисей с высоты нескольких сажен на лед и отбил себе внутренности. Тов. Гусев так формулировал свой первый вопрос присяжным заседателям: «признается ли такой-то виновным в том, что, работая там-то, упав с такой-то высоты, причинив себе такие то повреждения и оставшись без работы, он не платит такому то владельцу квартирные деньги».

Конечно, присяжные ответили «нет» и оправдательный вердикт был обеспечен.

Но судебной секции первого Красноярского Совета 1905 года приходилось не только разбирать дела и судить тяжущихся, но, как сказано выше, заниматься и правотворчеством и даже законодательствовать. Так, напр., в связи с одним бракоразводным процессом, ей пришлось вырабатывать и устанавливать даже нормы о разводах.

Секция искусств и зрелищ взяла в свои руки организацию разумных развлечений, широко используя находившуюся в то время в Красноярске приличную провинциальную драматическую труппу с артистами Роковским (комик) и одной драматической артисткой, фамилию которой не помню, во главе. Эти два артиста чутко отнеслись к задачам секции и во всем помогали ей удовлетворять новые запросы разбуженных революцией масс.

Работа секции охраны здоровья выражалась в том, что она, взяв в свои руки больницы, особенно большую городскую, приблизила их к населению, открыла амбулаторный прием и в ней, широко используя при этом весьма гибкий и демократический аппарат Красноярской фельдшерской школы и об-ва врачей.

IV.

Но главная работа Красноярского Совета 1905 года сосредоточивалась не в судебной и даже не в муниципальной, а в железнодорожной секции, ибо этой секции, которой помогал комитет железнодорожников, приходилось в это время управлять всем железнодорожным делом Сибири и обеспечивать эвакуацию из Манчжурии нашей демобилизационной армии. Надо было скорей перебросить домой к родным очагам—преступно заброшенных в чужую Манчжурию 300 тысяч землеробов центра, одетых в солдатские шинели, а это обязывало работать без перебоев, как часовой механизм.

И сказать должны, что эта секция действительно работала круглые сутки. Недаром стоявший тогда во главе ее, в числе других наших работников,—тов. Алексей Рогов через 12 лет, т.-е. после победоносной октябрьской революции, был выдвинут Всероссийским железнодорожным об'единением на пост первого Наркома Пути РСФСР. Красноярский Совет 1905 года был для него хорошей школой.

Но наша железнодорожная секция не только управляла железной дорогой, она не только ведала и осуществляла передвижение и эвакуацию войск, она не только руководила подачей и ремонтом паровозов и подвижного состава, но она одновременно с этим вела среди масс—среди рабочих и окрестных крестьян, а главным образом среди солдат проходящих эшелонов—широкую революционную работу, она устно и письменно сеяла среди них те семена, всходы от которых были собраны Великим Октябрьским переворотом 1917 года.

Одновременно с советской работой в городе и в вокзальных и пригородных слободках, населенных преимущественно рабочими, шла работа и по созданию партийной с.-д. организации, которая в то время, хотя и была единой, но по традиции, а главное по характеру рабочей массы, всегда была большевистской.

V.

Тогда же был создан в Красноярске первый в Сибири легальный с.-д. орган—газета «Красноярский Рабочий», редакция которого была фактически и без борьбы захвачена меньшевиками: М. Хейсиным, А. Байкаловым, А. Калашниковым и др. Произошло это потому, что все большевики были по горло заняты непосредственно революционной работой—в Совете, его секциях, в Красной гвардии, в профессиональных союзах, да и к тому большевики были по преимуществу рабочая публика, которая по тем временам литературной работой не занималась и не имела о ней никакого представления. Только позже нелегальная работа, эмиграция, тюрьмы и каторга научили многих из нас владеть не только топором, но и пером.

Вот почему, если историк революционного движения будет знакомиться с газетой «Красноярский Рабочий» 1905 года, пусть он по ее содержанию не судит о направлении деятельности Красноярской Больше-

вистской Организации, а тем более о направлении и характере деятельности Совета 1905 года. Об этой деятельности «Красноярский Рабочий» очень мало писал, он уделял свое внимание, главным образом, общеполитическим темам да предвыборной борьбе с домовладельцами, с нарождавшейся тогда партией «буржуазно-народной свободы». Борьба пером и словом вообще была более близка натуре и фракционным настроениям руководителей газеты.

Но предвыборной борьбе редакция уделяла $^{9}/_{10}$ своего внимания и по долгу службы, ибо состав редакционной коллегии—Хейсин, Байкалов и Мельников—помимо того, что были меньшевиками и литераторами, были в то же время и теми лицами, которые от имени организации входили в созданное Красноярским Советом 1905 года Бюро по проведению выборов в новую Народную Городскую Думу, созывавшуюся вместо разогнанной домовладельческой.

VI.

Затем большую работу вела в это время (ноябрь и декабрь 1905 г.) наша партийная организация по созданию в городе Красноярске ряда профессиональных союзов. В результате были созданы: союз железнодорожников, союз строительных рабочих, союз портных и сапожников, союз типографских рабочих и ряд других.

Наша партийная организация, разбухшая от условий легализма—от наплыва многих новых членов—попутчиков, возглавлялась комитетом, в состав которого входили: от большевиков—т.т. И. Воронцов, К. Кузнецов, А. Рогов, С. Бродский, Б. Шумяцкий, а также меньшевики, А. Мельников, Д. Калико, доктор М. Хейсин и А. Байкалов.

Затем среди Красноярских железнодорожников зародилась тогда (в конце октября 1905 г.) идея организации рабочей Красной Гвардии и среди них же в первых числах ноября (1905 г.) она нашла свое организационное выражение. Построена она была по принципу десятков и сотен. Ядром ее явился ученический цех главных Красноярских железнодорожных мастерских и незадолго перед тем организованная, по преимуществу из железнодорожников же, дружина народной охраны.

В Штаб Красной Гвардии вошли: начальник т. Палей (эсер-максималист), помощник Ф. Журавлев (большевик, кузнец), члены штаба—рабочие ж.-д. депо ст. Красноярск—большевики: А. Рогов и Б. Шумяцкий.

Начальником ж.-д. районного отряда Красной Гвардии был назначен Ф. Журавлев, а городского Л. Коган (член городской гимназической организации, считавший себя анархистом).

Всего в рядах Красноярской Красной Гвардии 1905 года было около 380—400 бойцов, которые немного позже (25—26 декабря) все, как один, вышли с оружием в руках на восстание в главные ж.-д. мастерские, чтобы там, в кольце 10-ти тысячного окружения частями царской армии генерала Редько, драться за лозунги и за власть первого в Сибири Красноярского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

VII.

В состав Красноярского Совета 1905 года входило около 120 членов, в том числе около 80 человек от рабочих, а остальные от солдат.

Наиболее активными членами этого Совета были:

№№ по порядку	Имена и фамилии	Партийность	Примечание
1	Иннокентий Воронцов . . .	Большевик	Позже ушел от нас
2	Константин Кузнецов . . .	»	
3	Алексей Рогов	»	Все рабочие главных Красноярских железнодорожных мастерских и Депо ст. Красноярск
4	Вавила Рогов	»	
5	Федя Журавлев	»	
6	Борис Шумяцкий	»	
7	Халимон	»	
8	Александр Аргудяев	Эсер-максималист	
9	Лопатин (машинист)	»	
10	Марк Шумяцкий	»	
11	Сергей Богашев	»	
12	Константин Старцеусов . .	»	
13	Николай Бехтерев	Большевик	
14	Аликин	»	
15	Феличкин, старик 75 л. . . .	»	Рабочий винной монополии
16	С. Бродский	»	Ж.-д. техник
17	Макс	»	Типографский рабочий
18	Львов	»	»
19	Калико	Меньшевик	»
20	Урицкий	Большевик	Лидер Краснояр. орган.
21	А. Мельников	Левый меньшевик	
22	В. Гоштовт	»	—
23	Г. Трегубов	»	
24	Е. Прейс	Большевички	Учен. фельдш. школы
25	К. Ежова		
26	А. Гусев	Левый меньшевик	—
27	М. Хейсин	Меньшевик	Доктор, известн. коопер.
28	Жуков	»	Доктор
29	Монюшко	Левый меньшевик	Кличка „генерал", ибо в действительности он имел чин действительного ст. советника и состоял в должности управл. госуд. имущ. Енисейской губ.
30	Смецкий	Эсер	Солдат ж.-д. батальона
31	Г. Бондарь	Меньшевик	Учитель, ныне монархист-белогвардеец, эмигрировавший в Бразилию

№№ по порядку	Имена и фамилии	Партийность	Примечание
32	Н. Кузьмин, прап.	Эсер	Выборн. команд. ж.-д. батал., инженер, толстовец, позже в 17 г. эсер и пом. ком. войсками Петрогр. военн. округа
33	А. Байкалов	Меньшевик	Студент, ныне белый эмигрант
34	М. Гутовская	Меньшевички	Учит. ж.-д. школы
35	С. Ландеховская		
36	Д. Либман	С.-р. максималист	Студент, позже расстрелян ген. Ренненкампфом при усмирении Иркутской тюрьмы
37	Палей	»	Рабочий столяр
38	А. Кусков	Меньшевик	Брат известной Кусковой, редактора белогвард. газеты „Дни"
39	Батрак	Эсер	Солдат ж.-д. батальона
40	Николай Сосновский	С.-д.	»

Председателем Совета, после отъезда т. Урицкого, состоял т. А. Мельников (Гомер).

В состав Исполнительного Комитета Совета входили от большевиков: И. Воронцов, К. Кузнецов, А. Рогов, Марченко, Феличкин, Аликин, Б. Шумяцкий; от меньшевиков: А. Мельников, М. Хейсин и А. Байкалов; от эсеров-максималистов (или, как они тогда назывались, «молодых»): М. Шумяцкий, А. Аргудяев и К. Старцеусов и толстовец прап. Кузьмин.

VIII.

В непрерывной работе, в укреплении организации, в агитации среди проходящих войск и среди окрестного крестьянства прошли два с половиной месяца со дня взятия Советом в свои руки власти.

Но гроза уже надвигалась. Оправившись от внешнего—манчжурского разгрома—и внутреннего—от аграрного движения и октябрьской забастовки,—русский царизм стал подбираться к революционному Красноярску или, как его услужливо окрестила тогда бульварная печать, например, «Русское Слово», к «Красноярской Республике»...

Царизм боялся только, как бы ударом по Красноярску не вызвать перерыва в ж.-д. движении и в эвакуации из Манчжурии своих войск, что уже одно могло для него создать новую катастрофу.

Вот почему царизм медлил и так долго терпел.

Вот почему царизм допустил неслыханное и нигде невиданное зрелище, чтобы рабочие и солдаты, разогнав и арестовав царские власти и создав свой Совет, сами бы стали осуществлять власть над городом, губернией и почти над всей Сибирской железной дорогой.

По мере того, как в центре—в Петрограде и Москве—царем и помещиками водворялся порядок, и после того, как в Москве отзвучали последние выстрелы повстанцев и знаменитое Московское Декабрьское вос-

стание Пресни было подавлено,—царь и его слуги обратили свое благосклонное внимание и на революционный Красноярск.

Правда, посланный в это время на его усмирение царский палач Меллер-Закомельский промчался в своем поезде мимо ст. Красноярск, ибо боялся рабочих и солдат жел.-дор. батальона, хотя эти последние в то время уже сидели осажденные в сборно-паровозном цехе главных жел.-дорожных мастерских.

Но все же усмирение «Красноярского бунта», «Красноярской республики» уже было задумано и даже уже началось.

Началось это усмирение так:

В 20-х числах декабря 1905 года в Красноярске получились вести, что приказом главного командования часть эшелонов, не доходя до Красноярска, была остановлена, не взирая на лютый мороз. Обозленным, рвущимся домой солдатам начальство заявило, что их дальше не пускают красноярские забастовщики, которые не хотят-де работать, а «на японские деньги» (как видите, клевета об иностранном подкупе и в 1905 году, т.-е. задолго до 1917 года, была излюбленным приемом старого строя) устраивают бунты и революцию.

Ярости задержанных солдат не было границ.

Тогда начальство начинает их обрабатывать убеждениями, что необходимо «пробиться» через Красноярск силой. Не трудно было этих темных, несознательных людей, мечтавших лишь об одном—о доме—склонить к тому, чтобы «походным порядком двинуться на Красноярск», дабы заставить везти их дальше.

В движении получился небольшой затор, а несколько эшелонов полным походным порядком двинулись на Красноярск.

Узнав про это, Красноярский Совет быстро восстановил жел.-дор. движение, но остановить пешее движение упомянутых эшелонов не мог, так как они осторожно, по-военному, высылая дозоры и сторожевые охранения, подходили уже к Красноярску.

22-го или 23-го декабря полки вошли в Красноярск и там, встреченные хлебом и солью буржуазией—домовладельцами—и щедро подпоенные вином черносотенцами как раз накануне Рождества 1905 года, т.-е. 24-го декабря, начали окружать район железнодорожных мастерских и казармы жел.-дорожного батальона.

В эту ночь никто из членов Совета, нашей партийной организации, не спал. Шли непрерывные заседания, говорились страстные речи о борьбе «до последней капли крови». В мастерские свозилось оружие и на заре, утром 25-го или 26-го декабря, все железнодорожные рабочие и ушедшие из своих казарм солдаты жел.-дор. батальона, многие члены нашей и эсеровской партии из города, много членов семей рабочих собрались на последнее легальное заседание Совета в сборно-паровозный цех главных жел.-дор. мастерских, вокруг которых с этого момента и сомкнулось кольцо царско-помещичьих войск. Началась осада. Со стороны царя и помещиков в ней принимало участие около 10 тысяч разного рода оружия войск.

Но уже на последнем легальном заседании Красноярского Совета 1905 года ярко обозначился раскол между большевиками и меньшевиками. Большевики (К. Кузнецов, И. Воронцов, А. Рогов, Б. Шумяцкий), как руководящее крыло Совета, при поддержке эсеров-максималистов (или, как их тогда называли: «молодых») указывали на восстание, как на единственный выход из положения, а меньшевики (устами своих ли-

деров—д-ра М. Хейсина и А. Байкалова) указывали на необходимость иных форм, звали «разойтись» и проч.

Звал не допускать «кровопролития» и прап. Кузьмин, но только по идейным и моральным побуждениям, как толстовец, хотя это не помешало при суде над ним царю и его слугам, а также и буржуазной уличной прессе, подняв шумиху, считать прапорщика Кузьмина «президентом Красноярской Республики». К чести прап. Кузьмина следует, однако, сказать, что он остался на восстании вместе со своими солдатами и даже семьей.

Меньшевики же: д-р М. Хейсин и А. Байкалов, произнеся свои речи, улетучились из мастерских (за исключением левых, которые участвовали в восстании) и, конечно, в восстании не участвовали.

Но несмотря на эти голоса, красноярские рабочие остались верными себе и, хотя не обещались насчет исхода предпринимаемой ими борьбы, тем не менее бросили жребий на восстание.

Оно началось, если память нам не изменила, 26-го декабря, продолжалось упорной борьбой, обстрелом нас—повстанцев—из пулеметов, атаками, контр-атаками и баррикадами и продолжалось непрерывно около 10-ти дней.

В числе участников этого героического восстания нельзя было не отметить, что за час до того, как кольцо блокады вокруг повстанцев было сомкнуто, к ним, в качестве дружины Красного Креста, а на самом деле—в качестве активных борцов, явилась вся красноярская фельдшерская школа со следующими нашими партийными товарищами-фельдшерицами во главе:

1. Бертой Бродской.
2. Александрой Дубровинской.
3. Лией Шумяцкой.
4. Павлой Чудешко.
5. Настей Салазкиной.
6. Саррой Калико.
7. Бертой Берг.
8. Марией Сисиной (меньшевичка).

Вся школа—33 фельдшерицы—на восстании не только несли санитарную службу, но и исполняли все самые тяжелые работы: таскали уголь, помогали строить баррикады и пр. Во главе школы, как отряда Красного Креста, на восстание пришел и врач—кадет—Пальмов, или, как его у нас называли, «белая ворона»».

4-го и 5-го января 1906 года восстание было раздавлено.

Наша твердыня, оплот первого Совета, как органа власти—Красноярские железнодорожные мастерские пали...

Борцы были взяты в плен и брошены в тюрьмы, откуда одни, а в том числе и пишущий эти строки, бежали, а другие—как т. Рогов Ал. и многие др. пошли на каторгу.

Таково было «введение» 1905 года в революционную жизнь и борьбу сибирских, в частности Красноярских, рабочих и солдат 1917 г.

Если мы что-нибудь в нем пропустили, спутали, то пусть товарищи-читатели, а особенно современники, исправят замеченные ошибки в этой революционной были. Но пусть ее не забудут...

Персия, Тегеран.
Октябрь, 24 года.

Туруханка.

(Очерк по истории политической ссылки в Туруханский край).

Як. Шумяцкий.

«Про нее сам черт забыл, не только леший» -сказал на этапе «челдон», узнавший, что партия наша следует в Туруханку. Иосиф Федорович Дубровинский (Иннокентий) на первой же остановке этапа расспрашивал меня, как «обратника», что из себя представляет край, можно ли там уединиться, работать и каковы взаимоотношения с администрацией края.

Это происходило в конце 1910 года или в начале 1911 г., т. е. после моего неожиданного ареста в Верхне-Инбатске, Туруханского Края, и отсидки в Енисейской тюрьме около 4 месяцев.

Об этой встрече с тов. Дубровинским и жизни ссыльных в Туруханском крае до и после своего ареста я попытаюсь рассказать, полагая, что это имеет некоторый исторический интерес.

* * *

Приблизительно в марте 1908 года в Красноярске, на Песочной улице, в квартире Ефимии Грачевой были арестованы шесть человек, а именно: Николай Токарев, Александр Смагин, Бронислав Кржановский, Бондырев, «Александр Васильевич» и Грачева.

Так как, по сведениям охранки, в столовой Ефимии Грачевой была главная конспиративная квартира, то губернатору Гирсу и местной жандармерии казалось, что им удалось захватить «головку» тогдашнего бюро сибирской социал-демократии, о чем они поспешили оповестить в местных губернских ведомостях.

Нас привели в участок под усиленным конвоем. Еще дорогой мы успели кое с кем столковаться о предупреждении других товарищей.

Вскоре, однако, в тот же участок привели еще человек семнадцать с воли, в том числе Митрофана Меновского, Александра Шмакова, Штольца, Иннокентия Нешумаева и Михаила Иванова. Привели еще некоторых чиновников из Переселенческого Управления, фамилии которых я забыл, так как никакого отношения они к нам не имели и вскоре были освобождены[1]).

Приведенные в участок не все знали друг друга, за исключением пяти-шести активно действовавших подпольщиков. Эти последние догадывались, что кем-то преданы, и решили пока держаться выжидательно;

[1]) Один из этих чиновников, выдавший нас, провокатор Александр Пежемский.

т. е. врать на допросах. Нелегальные сговорились настоящих своих фамилий не открывать.

Из бесед друг с другом выяснилось, что компрометирующих улик почти ни у кого не нашли, за исключением Бондырева, у которого взято было четырнадцать паспортных книжек и подписной лист в пользу «техники» (нелегальной типографии). У меня же была только отобрана фальшивка, написанная Лукоциевским—«Капитан». Лишь впоследствии, по выяснении моей квартиры, которую я при аресте скрыл, в ней были найдены несколько воззваний местного комитета С.-Д. по поводу выборов в третью думу и книга регистрации совершенно легального проф. союза кондитеров, где я вел секретарскую работу по поручению Красноярского Комитета Р. С. Д. Р. П.

На другой день нас всех привели в «Каменушку» и рассадили в так называемом Минусинском коридоре в общих камерах. Не добившись желательных результатов, жандармы ограничились первым дознанием и оставили нас в покое. Большинство арестованных были выпущены.

Однако, Кржановский, Бондырев, Шмаков и «Александр Васильевич» остались. Кроме того, по указанию Пежемского, уже прямо в тюрьму были привезены Соболевский, Владимир Гоштофт и Межевой. Этот Межевой был взят даже с особой помпой, как губернский советник и бывший полицмейстер Красноярска.

Через две недели нас вызвали на допрос в одиночку. При этом оказалось, что Бондырев это—Федор Шумяцкий, а Кржановский—пишущий эти строки—Яков (а тогда Арон) Шумяцкий.

Интересно отметить, что о совпадении наших фамилий мы впервые узнали только после жандармского допроса, хотя совместно работали в Сиббюро С.-Д. и состояли оба в большевистской фракции. Оба воевали с меньшевистской фракцией, возглавлявшейся тогда Аркадием (он же Вадим), т. е. Яковом Федоровичем Дубровинским, братом упомянутого мной Иннокентия.

Отмечу кстати здесь-же, что в конце 1907 г. и в начале 1908 г. Красноярская С.-Д. организация, унаследовавшая славные традиции революции 1905 года, была почти сплошь большевистской и таков же был ее комитет. Однако, это не исключало возможности работы в ней меньшевистски настроенного Якова Дубровинского, впоследствии перешедшего во фракцию большевиков и погибшего героем во время Колчаковской реакции.

После бегства из Шелаевской волости, где я находился на поселении, и после восьмимесячной подпольной работы в Красноярске, я, таким образом, начал вновь тянуть тюремные дни «предварительного заключения» и тянул их целый год.

В начале 1909 года, наконец, нам об'явили приговор департамента полиции: Шмакова, Смолгина, Штольца и некоторых других приговорили к административной высылке под гласный надзор полиции в Енисейский уезд. Бондырева (он же Федор Шумяцкий), Кржановского (он же Я. Шумяцкий), Лукоциевского (он же «Капитан»), Шемелева (он же Александр Васильевич) выслать административным порядком в Туруханский край в распоряжение Отдельного Туруханского пристава на пять лет.

Мы ждали этапа. К нашему несчастью, губернская власть медлила отправкой. Неожиданным препятствием оказался знаменитый «бунт» туруханских ссыльных анархистов, о котором упомяну ниже. Этот «бунт», начавшийся в конце 1908 года, не на шутку обеспокоил местные власти.

В крае было об'явлено военное положение и туда для расправы был назначен особый генерал-губернатор Толмачев, которого не следует смешивать с еще более известным сатрапом Одессы.

Наконец, нас отправили. Но вместо Туруханки мы попали в Приангарскую ссылку, в глухой угол Енисейского уезда, в Кежемскую волость.

Партия наша, где был я, Федор Шумяцкий, Вячеслав Лукоциевский и Шемелев, была раз'единена. Я попал в деревню Селенгино. Будучи оторванным от друзей, я немедленно решил бежать. К этому побудило меня еще и то обстоятельство, что власти находились в явном заблуждении, считая меня административно-ссыльным и платя мне по 8 руб. 50 коп. в месяц, тогда как я был «лишенным прав» ссыльно-поселенцем. Вышло это потому, что жандармский ротмистр Скербуц безнадежно запутал дело, смешав меня с Федором Шумяцким, бежавшим из Нарыма. Путаница получила санкцию департамента полиции, решившего «братьев Шумяцких сослать в Туруханку». А бунт туруханцев дело довершил, так как папки с делами нашими, прибывшие в Отдельное Туруханское Управление, были сожжены восставшими там анархистами в числе других дел ссыльных. Начальству для нас пришлось состряпать новые папки и послать на Ангару.

Выходило так: я административный, следовательно полноправный обыватель, которого «изолировали» в порядке усиленной охраны. Если при неудачном побеге поймают даже за Сибирской границей, то максимум отсижу три месяца и буду вновь водворен в не «столь отдаленные». Если же меня успеют раньше разоблачить, то труднее будет бежать, ибо за переход границы Сибири поселенцу обеспечено верных четыре года каторги. По этим соображениям я с весенним льдом пустился вниз по Ангаре, вместе с тов. Акашевым, Феофановым и Жбановым[1]).

Опасные пороги Ангары, утлая наша ладья, погоня, столкновения с кордонами, а главное—триста верст пехтуры от Енисейска до Красноярска—все это было преодолено.

В Красноярске я пробыл только два дня и, увы!.. на вокзале меня берут вновь; на этот раз с паспортом, на время «одолженным» мне Ксенофонтом Хруцким, товарищем по Красноярской тюрьме.

Я всячески доказываю свое алиби: да, я сын попа, студент и т. д. Однако, снимки пальцев и фотографические карточки, хранящиеся в Жандармском Управлении, непреложно устанавливают, что я—Шумяцкий, год с лишним тому назад взятый в Красноярске.

Никуда не денешься. Снова сижу. Это было летом 1909 г. Поместили меня в камере с Вл. Виленским и Алексеем Роговым. Затем меня сажают в одиночку, судят за «липу»[2]) и побег. Отсидел. В августе отправка уже не на Ангару, а в Туруханский край, согласно первоначальному постановлению департамента полиции...

* * *

Наша баржа, прицепленная на буксире к «Дедушке», представляла собою своеобразную пловучую тюрьму, катящуюся по волнам Енисея на далекий Север. Если бы не озверелая физиономия конвойного офицера да винтовки солдат, публика в серых халатах чувствовала бы себя

[1]) Акашев—бывш. анархист, сейчас видный работник авиации. Феофанов – с.-р., тамбовец, Жбанов—уралец, с.-д. В Красноярске я всех троих снабдил паспортами и они благополучно продолжали свой путь. Я же был узнан жандармским ротмистром Игнатьевым на вокзале и арестован.

[2]) «Липа» на тюремном жаргоне означает фальшивый вид на жительство.

совсем по-дачному. Откуда то появились длинные шесты с удочками, куплена была даже коробка червей у какого то лодочника и кое-кто начал «промышлять».

Арестантов было около семидесяти человек.

Все они отправлялись в Енисейский уезд на поселение после отбывания каторги или просто высылались в административном порядке. Только трое из этой партии направлялись туда, куда Макар телят не загонял, т. е. в Туруханку. То были Геллерт, Нейштадт и пишущий эти строки. Первые двое, **«обратники»**, были арестованы в Туруханском крае и возвращались туда опять после отсидки в Красноярской тюрьме. Я же отправлялся туда в первый раз.

Мои похождения в Канской и Ангарской ссылке, бегство оттуда, все мытарства, опасности и отчаянный голод казались пустячками в сравнении с перспективой в полярной глуши Туруханской тундры. Никто из партии нам троим не завидовал.

Кроме адски-суровой природы края о Туруханке, в связи с знаменитым бунтом ходили среди арестантов чудовищные слухи. Отчасти факты, имевшие место в далеком Туруханске, мне были известны еще раньше. Я был осведомлен о них из достоверных источников, за что чуть не поплатился жизнью.

Дело в том, что после последнего ареста, как я уже упомянул, мне сначала пришлось сидеть в камере вместе с Виленским-Сибиряковым и Роговым (Алексеем). Затем почему-то нас распределили по одиночкам. Над моей одиночкой в четвертом этаже сидели три участника бунта: Великанов, Аксельрод и Иваницкий. Все они в схватке с солдатами в далекой тундре были ранены, а по дороге в Красноярск отморозили себе ноги, так что Аксельроду была даже произведена **ампутация обеих ног.** Но это не мешало им дожидаться суда и смертной казни. Ежедневно я с ними перестукивался и привязывал к опущенной сверху ниточке табак, спички и записку товарищеского утешения. Они же писали мне бесконечные жалобы на предательство некоторых участников, на необдуманность поступка и высказывали запоздавшие соображения в таком, примерно, духе: «Вот, если бы это затеяли не в начале зимы, а ближе к весне—дело непременно увенчалось бы успехом. Удалось бы взять пароход и добраться до берегов Норвегии» и прочее в таком же роде. Попутно они излагали факты, но я записки все уничтожал.

Аксельрод лепил из хлеба диковинные художественные безделушки и послал мне даже шахматы из хлеба, но все это было отобрано при обыске, происшедшем в результате следующего события.

Как то Иваницкий стуком попросил меня к решетке окна. Я подготовил очередную «посылку», т. е. несколько спичек, горсть махорки, бумагу и записку. Все это связал в тряпочку и поднялся на стул, чтобы привязать к традиционной ниточке, с которой предварительно снял почту.

Вдруг—т-р-р-р-ах! Солдат, повидимому, спрятавшись где-нибудь, караулил и бахнул в меня, но дело сорвалось: «дура», задев решетку, дала рикошет и угодила в потолок. В коридоре поднялась суматоха. Пришли в мою камеру брать «мясо» (на тюремном жаргоне—труп убитого). А я лежу на наре живехонек и в подкладку, сквозь оборванный карман мой, уже спущены головки спичек и махорка. Знаю, что карцера не миновать, а там эти вещи нужны. Так оно и вышло. Почему то верхне-этажники во-время не потянули нитку и посылка была вскрыта в конторе. Я поплатился тремя днями «каларифера», т. е. карцера.

Бунтарей судили и перевели в так называемый церковный коридор. Оттуда уже перед своей казнью, зная, что я отправляюсь в Туруханку, они писали мне о нравах далекой ссылки, предостерегали от «кобылки» и просили передать последнее «прости» своим товарищам, оставшимся в Енисейской тюрьме и Туруханском крае.

В Енисейской тюрьме, лежащей на пути в Туруханск, партию разбили. Следовавших в Туруханск вызвали в контору и дали начальственно-отеческие наставления. Пробыли мы здесь около недели. За это время я успел познакомиться еще со многими участниками Туруханского восстания, уже осужденными на разные сроки каторги и тюрьмы, которые также меня достаточно ознакомили с Туруханской трагедией.

Проверенные затем на месте факты, по рассказам местных ссыльных, крестьян и других лиц, в общем сложились в моей памяти, как редкая эпопея борьбы, в которой наряду с героизмом отчаяния и храбростью обреченных было проявлено не мало бандитизма и мальчишества.

* * *

Вкратце, «Туруханское дело» сохранилось в моей памяти по следующим фактам и событиям.

В сентябре или октябре 1908 г. группа анархистов-ссыльных села Осинова задумала бежать из края. Во главе этой незначительной группки стоял бывший учитель, сосланный из Армавира, некий Дронов—человек решительный и неглупый, со складкой Разиновского народолюбия, свойственного в те времена всем **Савицким, Лбовым** и другим одиночкам, осмеливавшимся поднимать бунтарское восстание в разных концах России.

Дронова на «дело» толкнуло то простое соображение, что одной административной ссылкой он не отделается, т. к. за ним были дела, имеющие все шансы стать достоянием гласности. На родине группа **«черноворонцев»**[1]), к которой он принадлежал, то и дело садится по разным **«эксам»**, выдавая друг друга направо и налево, чтобы спасти свою шкуру.

Дронов со дня на день ждал ареста, а в перспективе петлю.

В таком же положении был и другой главарь Туруханского дела—ростовский семинарист Самойлов. Двадцатилетний юноша с чисто южным темпераментом—он в противовес рассудительному и мрачному Дронову был полон мальчишеского задора и не на шутку фантазировал о немедленном анархическом рае без царей и властей, если не на всейземле, то, по крайней мере, хотя бы в Ростове или Красноярске, что-ли. Нужно только иметь волю Зелим-Хана[2]) и программу Крапоткина.

А пока что—Самойлов весело кутил и старался украсить мрачную ссылку выпивкой, анекдотами, ухаживанием и т. д. Средства ему, видимо, посылались зажиточными родными. И его прошлое было достаточно подмочено и он тоже ждал суда и смерти. Согласившись с Дроновым и еще несколькими лицами пробить себе путь до Енисейска, что было нелегко в виду казачьего кордона в Ворогове, группа начала деятельно готовиться к походу, запасаясь оружием, аммуницией, провиантом и пр. Велась энергичная переписка с товарищами, живущими в глубине огромного края, ближе к Туруханску.

---

[1]) „Черными воронами" называла себя авантюристическая группа анархистов-коммунистов, совершившая в 1906-7 г. на юге России ряд террористических убийств и экспроприаций—«эксов», как говорят для сокращения.

[2]) Известный Кавказский партизан.

В это время в тридцати верстах к северу от резиденции края, в деревне Селиванихе, совершено было нападение на французскую фирму Рошет, скупавшую пушнину у инородцев. Взята была изрядная сумма денег, был ранен управляющий.

Властями было арестовано несколько человек, из которых двое, Хаймович и упомянутый мною выше Геллерт, были немедленно препровождены в Красноярскую тюрьму, а еще двое (Кадинер и Левин) отсиживались пока в Туруханской кутузке. Эти последние под усиленным конвоем казаков препровождались в Енисейскую тюрьму.

В Осипове, т.-е. в крайнем пункте, граничащем с Енисейским уездом, между пьяным конвоем—с одной стороны, и группой Дронова-Самойлова—с другой, происходит кровавое столкновение, имеющее целью освобождение арестантов. В результате ночной перестрелки оказалось несколько убитых и раненых казаков. Кадинер и Левин были освобождены, но первый скрылся и был найден замерзшим.

После этой схватки и начинаются действия группы, терроризировавшей край в течение всей зимы.

Дронову, Самойлову, Левину и их товарищам оставалось либо открыть активные действия и очистить себе путь до Енисейска, а там добраться врассыпную до жел. дороги, либо продвигаться на север, в расчете на поднятие восстания изголодавшихся ссыльных и местной голытьбы.

А дальше что?

Совершенно ясно было для всех ссыльных, что при враждебном настроении туруханского населения и общей реакции ни поход в Енисейск, ни продвижение на дальний север не сулит ничего хорошего и просто является нелепостью. Маленькие селения, расположенные по обоим берегам Енисея, чем дальше на север, тем реже встречаются, а за Гольчихою начинается полярная тундра, где редкие туземцы-самоеды и долгане кочуют со своими оленьими стадами в безграничном пространстве вплоть до Северного Ледовитого океана.

Отказавшись от «похода» на Енисейск, ватага Дронова решила двигаться на север, т.-е. по линии наименьшего сопротивления, но без всяких перспектив. Между тем, логика событий требовала последовательных действий.

После кровавой схватки с конвоем оставалось, во-первых, уже в открытую запастись оружием, деньгами, провиантом и обозом на долгий период времени; во-вторых, нужно было увеличивать свои силы за счет желающих примкнуть к «лихому делу»; в-третьих, уничтожать всякие препятствия на пути и в первую очередь уничтожить правительственную охрану; а в-четвертых, обеспечить себе «тыл» и обезопасить предстоящий путь быстрым продвижением на север.

Все это очень хорошо стало известно враждебному населению, так как «программа» начала осуществляться путем убийства местных охранников, купцов и просто зажиточных крестьян, воспротивившихся реквизиции лошадей для обозов «армии».

В нелепом положении очутились колонии ссыльных, обсудившие на общих собраниях в Осинове, Сумарокове и других селах края создавшееся положение.

Что делать? Препятствовать товарищам по ссылке, т. е. играть в руку властям предержащим—преступно. С другой стороны, примыкать к «делу» безрассудно и просто бесцельно, так как кроме верной гибели ничего впереди не было.

Между тем, помогать им чем-нибудь, хотя бы теми или иными указаниями, и принять у себя прибывающих гостей, все же связанных с любым изгнанником общими интересами ссыльных—это было необходимо.

Ряд горячих дебатов на совещаниях разных колоний кончался решением: пусть каждый поступает, как ему угодно. Во всяком случае движению не препятствовать, хотя бы впереди за это грозили скорпионы.

Нужно отдать справедливость анархистам, поднявшим «волынку»: они к беднейшему населению относились очень хорошо: распределяли кое-где между ними награбленное добро местных кулаков и, кроме того, по мере продвижения на север уничтожали наиболее ретивых стражей, в том числе и нескольких провокаторов.

Недалеко от Туруханска братва встретила снова партию арестованных, конвоируемых из Туруханска в Енисейск. Завязался новый бой, и арестанты были освобождены, конвой обезоружен. Характерно, что группа освобожденных, узнав от своих избавителей о цели последних, отказалась к ним примкнуть, предпочитая с уже обезоруженным конвоем итти до Енисейска, в тюрьму. Остался только один удалой молодец Сударикoв, сосланный из Москвы по делу С.-Д., но в ссылке увлекшийся «эксами» и анархизмом.

До Туруханска, лежащего в стороне на расстоянии сорока верст от главной артерии края—Енисея, публика со своим обозом и добром шла более или менее благополучно, имея на пути редкие стычки со стражниками или, как в упомянутом случае, с конвоем. В группе набралось около двадцати человек. Можно было миновать «столицу» края и сократить путь к цели. Но, во-первых, цели не было, а, во-вторых, оставить Туруханск в тылу нетронутым—значило бы наверняка провалить дело и быть пойманным через несколько дней.

Туруханск все-таки был укрепленным пунктом, с управлением, которому ничего не стоило в один день поднять всю стражу и охотничье население ближайших деревень и пуститься в погоню. Поэтому, как ни рискованно было вступить в бой с Туруханском, группа горячих голов решила ударить ночью на столицу края. Роли были распределены общепризнанным вождем Дроновым, и в глухую январскую ночь публика с нескольких концов напала на тюрьму, Управление и главные пункты.

Застигнутые врасплох, стража и обыватели Туруханска попытались обороняться, но вскоре капитулировали. В результате убиты помощник пристава Воден, игравший в жизни края провокаторскую роль, два стражника и местный кулак Вяткин, пытавшийся укрепиться с несколькими лицами в церкви. Судьба его была решена тем, что он ранил из винтовки одного из активистов группы—Сударикова. Над ним устроили полевой суд.

Как только было взято Управление, немедленно были вскрыты дела канцелярии. Оказалось, что в крае несколько провокаторов. Одного из них, Ходяшева, начали искать в самой «столице», но он скрылся в тайге. Негодяя все-таки нашли и казнили. Много компрометирующих документов, по которым ссыльным грозили суд и расправа, были уничтожены, между прочим, и дела Красноярской группы С.-Д., о которой я рассказывал вначале.

Расправившись с Туруханском и подкрепив свой обоз и запас оружия, повстанцы двинулись дальше. Однако, у некоторых из группы начали возникать предательские сомнения насчет успеха предпринятого дела.

Никто всерьез еще не ставил себе вопроса, какова цель и чем может закончиться вся эта история. Первые военные успехи, упоение местью врагам, уничтожение кулачества и, наконец, трофеи победителей, перед которыми открывались Ирбитские ящики с драгоценными песцами, соболями и погреба с винами—все это не могло не вскружить головы таким лихим «черноворонцам», как Самойлов, Кравченко, Аксельрод или полууголовный бандит Джафар. Накипевшая злоба, самовстряска, агитационные призывы: «Встань, подымайся», «будет нам терпеть», «уничтожим гадов»—все эти лозунги были весьма несложной программой, подменившей цель. По мере продвижения к северному полюсу, такие лица, как Иваницкий (с.-д.) и неглупый Левин (с.-д.), взятый почти насильно, не могли не видеть всей сумбурности своего предприятия. Уже в Туруханске возникает мысль о точном плане дальнейшего продвижения. Решили из Туруханска итти на запад притоком Енисея—Тазом, двинуться на Обдорск, соединиться с Нарымской ссылкой, а там видно будет. Но через два дня юраки (туземцы финского племени) принесли вести, что по Оби уже снаряжена военная экспедиция. Тогда решили двигаться прямиком, вниз по Енисею.

Пользуясь тем, что телеграфа нет и никто по пути следования не осведомлен о событиях в крае, компания пыталась примириться с населением и выдавала себя за научную экспедицию по исследованию северного полюса.

Однако, несмотря на щедрость Дронова, раздававшего подарки жителям и туземцам, слухи об убийствах и грабежах успели уже проникнуть в самые далекие селения, так что всюду приходилось брать деревни с боем и устраивать экзекуции. В Дудинке, т.-е. в 600 верстах за полярным кругом, группа задержалась. Сначала здесь ее встретили стрельбой, а затем Дронов примирился с местными кулачками Пуссе, Сотниковым и др. и пошли попойки.

Между тем, вести о восстании не на шутку встрепенули Сибирь. В Красноярске губернатором была, по приказу из Питера, снаряжена военная экспедиция какого то стрелкового полка под начальством капитана Нагурного и отправлена в погоню. Генерал-губернатор Селиванов в Иркутске со своей стороны распорядился отправить экспедицию, имевшую направление -Лена—Нижняя Тунгузка—Хатанга.

Нагурному были даны самые широкие полномочия в отношении расправы, а последовавшему за ним Толмачеву предписывалось чинить экзекуции над безоружными ссыльными, совершенно не причастными к делу, а порой даже и прямыми противниками начавшейся «волынки».

Лютые морозы, доходящие в Туруханском крае до 50°, мешали продвижению Дронова, но задерживали также и карателей.

Эти последние вымещали злобу на всех ссыльных, оставшихся в крае. Здесь было об'явлено военное положение и после 4-х часов ссыльным возбранялось общаться друг с другом. Настала пора самой лютой реакции. Допросы в Осинове, Сумарокове, Верхне-Инбатске, Туруханске и т. д. кончались избиением прикладами и арестами. У ссыльных искали награбленное повстанцами добро. Доносам местных жителей на того или иного ссыльного придавалось незыблемое значение и несчастных ссыльных допрашивали, пытали, наконец, буквально переполнили ими всю Енисейскую тюрьму.

Впоследствии многие из них были осуждены на разные сроки арестантских рот «за сокрытие и содействие».

А герои драмы продолжали свой путь на север.

Одолев последнее препятствие, крайний северный пункт Туруханки — Гольчиху, наши молодцы очутились в безбрежной тундре. Тут пришлось испытать настоящую «пургу» и опасность остаться «без руля и без ветрил» во власти бушующей стихии. С грехом пополам они приучили к себе сына тундры—самоеда. Он им указывал пути моржей, белых медведей и песцов, но—увы! От этого было не легче.

Самоед был в родной стихии, и никакая пурга, никакой холод не казались ему диковинными. По северному сиянию, по направлению и силе ветра, а то и просто по крику белого луня или гагары он знал заранее, когда нужно зарыться в снег и переждать опасность, в каком направлении надо двигаться, чтобы миновать препятствие в виде речек, Нарымских гор и т. д. Наши же удалые молодцы, вооруженные компасами, винтовками, дорогими шкурами, бенедиктином и водкой, чувствовали себя в снежной пустыне не лучше, чем Робинзон на острове. Они отлично понимали и знали от инородцев, что отовсюду следует за ними погоня, но откуда, с какого конца она придет, этого, конечно, они определить не могли.

А двигаться надо. Началось разложение компании на почве разногласий. Отсутствие плана заменялось множеством «прожектов», из которых один другого был фантастичнее, один другого нелепее. Кравченко предлагал пробраться к Енисейской губе и выждать весну: авось северным путем проберется какой-нибудь пароход. Его надо экспроприировать и пробраться в Лондон. За это был и Великанов. Но русские пароходы ходят только до Гольчихи, т.-е. не доходят до Енисейской губы на тысячу с лишним верст, а иностранные суда бывают очень редко: раз в 3—4 года.

Тогда предложено было строить баржу, установить паруса и выждать попутного ветра. Но нет кораблестроителей, нет людей, знающих дело. Был один моряк Левин и тот погиб, еще до прихода в тундру, «нечаянно» от выстрела своего товарища. Иваницкий выдвигал план не более реальный: продвинуться на оленях к северо-востоку, до Якутского края, тут поднять ссылку, добраться до Камчатки, а здесь подойти к Берингову проливу. Затем на какой-нибудь японской шхуне пробраться на Аляску.

Наконец, решили выйти на Лену и соединиться с якутской ссылкой.

Иначе говоря, после 2500 верст, сделанных уже от Осиновки, нужно было еще пройти 5000 верст до Лены. Двигаться нужно было на оленях, а последних приходилось брать у, так называемых, «князьков», т.-е. самоедских главков.

Всякие демобилизационные затеи отдельных товарищей Дронову удалось ликвидировать убеждением и дисциплиной, но зато пошло новое внутреннее разложение: карты и пьянство. Оторванные от всего мира, калифы на час, очутившись в тундре и в ожидании гибели, решили: «хоть день, да наш». Это совсем погубило дело, которое уже заранее было обречено на неудачу.

Последние революционные действия Дронова выразились в том, что, узнав о беспощадной эксплоатации туземцев, наезжающими из Енисейска и Туруханска кулачками, он решил найти этих последних в тундре и строго наказать.

Купец Войлочников, собрав своих рабов и компаньонов, хотел даже оказать сопротивление, увидев приближающийся обоз Дронова. Дронов легко сокрушил сопротивление и расстрелял купца и его помощников. Это был последний акт.

В дальнейшем начинается агония всего предприятия. В тундре путники остановились в маленьком селении Хатанга, лежащем к северо-востоку от Енисея. Сюда на зиму приезжают миссионеры обращать в православие «неверных инородцев» и искатели приключений, мамонтовой кости и охоты на белых медведей.

В это время здесь жил некий «старый морской волк» и очень бывалый человек Вегичев и поп-миссионер Суслов, занимавшийся больше обиранием, нежели просвещением «инородцев». Дронов и его друзья, считая себя в безопасности, остановились в этом селении, чтобы отдохнуть, набрать оленей, хорошенько разведать путь и проч. Бегичев говорил ему об эфемерности предпринятого дела, но возврата уже не было. Компания отдыхала, пила и веселилась.

А в одно прекрасное утро капитан Нагурный со своими переодетыми стрелками окружил селение и открыл по пировавшим оружейный огонь. Застигнутые врасплох и отрезанные от своего обоза, где хранились и винтовки, Дронов, Самойлов и их друзья пробовали отстреливаться из револьверов, но силы были неравные. Дронов одним из первых был пронизан пулей, Самойлов тоже. Взявшие на себя командование Сударикова и Кравченко предложили своим сдаться. И тем дело кончилось. Все побросали револьверы и лишь один Джафар упорно продолжал отстреливаться, пока пуля его не уложила.

Инсургентов арестовали и в их же «балках» (род крытого шкурами фаэтона) повезли обратно в Туруханск, Енисейск и Красноярск.

Однако, Нагурный суда не дождался и большую часть арестованных ликвидировал дорогой. Из оставшихся в живых и привезенных в Красноярск—Кравченко, Великанов, Аксельрод и Иваницкий были казнены и несколько человек были приговорены к бессрочной каторге.

Так кончилась Туруханская «волынка», ставшая трагедией для остальных ссыльных. В это именно время в край прибыли Геллерт, Нейштат, Тютюнюк, я и некоторые другие.

Так как мой формуляр был сильно замаран уже двумя побегами, начальство решило направить меня из Туруханска, где я прожил всего месяц, в Дудинку. Но сначала о самом Туруханске.

Здесь была колония человек в 10-12. Из них я помню – Крузе, Кинцлера, поселенцев из Прибалтийского края и столяра Львовского, тоже поселенца.

Был Дмитрий Арнадский со своим товарищем Александром (фамилии не помню) и здесь же жили Зельтын, Мартын и Елена Шофер, вскоре ставшая женой Зельтына.

Приглядевшись к жизни Туруханской колонии, я заметил, что все еще находятся под влиянием недавно пережитых событий. Начальство то и дело создает процессы по каким-то мифическим делам, за никогда не совершенные нападения на хлебо-запасные амбары или за ограбление почты, которые никакого отношения к политическим ссыльным не имели. Общественной жизни в колонии не было. Все жили одиночками, за исключением небольшой коммуны, где Львовский, Бердичевский (делегат Лондонского с'езда) и Крузе жили как-будто дружней.

О побеге никто и не мечтал. К этому не располагали ни обстановка созданная военной диктатурой, ни общие условия далекой России, которая, казалось, совершенно забыла про изгнанников, томившихся в ссылке.

Административно-ссыльные получали по 15 рублей в месяц, хотя и не регулярно, и тянулись кое-как с хлеба на квас, но поселенцы должны были добывать себе хлеб в «поте лица».

Добро бы было, что делать. Но в убогой стране, где даже царское правительство не считало возможным держать «монополькy» и брать солдат, в стране, где кроме картошки и клюквы никаких овощей и фруктов, не говоря уже о хлебе, не было,—что можно было делать нашему брату?

Административно-ссыльные часто устраивались вместе с «лишенцами» и тогда последние хоть как-нибудь тянули полуголодное существование. Но эти коммуны бывали редкими явлениями, в общем же большинство голодало, работая за гроши у местных купцов, занимались извозом, охотой, ставили дрова для частных и казенных пароходов.

Мрачна и безотрадна была эта жизнь.

Некоторые кончали самоубийством (Цветкова, Лекая, Вольфсон). Многие разлагались, совершенно обезличиваясь в поисках куска хлеба и продавая местным купцам не только свой труд, но и душу. В последних случаях приходилось прежде всего у какого-нибудь купца Плотникова Дружинана или Кожевникова стать «своим человеком», женившись на его дочке или родственнице, стать правой рукой эксплоататора в деле нещадного грабежа остяков, самоедов и других инородцев.

Следует, однако, заметить, что царскому правительству, возлагавшему на Туруханский край особенные надежды в смысле обезличивания своих врагов, эта цель не всегда удавалась. Случаи самоубийств и моральной самоликвидации наблюдались весьма редко. Даже в самые мрачные годы 1909-1910 на отдельных станках Туруханского края были товарищи, соединенные в группы и пытавшиеся из своего мрачного далека не только реагировать на окружающую безотрадную обстановку, но и не порывали связи с революцией, временно скрывшейся в подполье столыпинской России и Сибири. Так, напр., в Туруханской колонии Бердичевский, Зельтын, Арнадский и пишущий эти строки—собирались по вечерам и поев «сибирских яблок», т.-е. картошки, жадно прочитывали газеты, прибывающие сюда через полтора месяца, дебатировали вопросы партийной жизни, между строк «Современки» (подголосок кадетской «Речи») пытались нащупать пульс подполья.

* * *

Но я прожил в Туруханске с месяц. Внезапно из Отдельного Туруханского Управления прибыло предписание: Шумяцкого—он же Кржановский, Нейштата, Геллерта и Тютюнюка водворить в Дудинку. Заблуждение насчет моей административной ссылки продолжалось, и я получил первые 15 рублей месячного пособия наряду с другими ссыльными. Чтобы не нарушать своего «инкогнито», мне оставалось подчиниться.

Нас отправили «на низ».

Был конец сентября. По руслу и фарватеру Енисея шла уже шуга (сало). Но великая река гневно ломала ледяные оковы и бурно разрушала тонкую пелену льда, прикрепленную холодными утренниками к берегам.

Больше пяти дней наша лодка под охраной двух туруханских казачков катила по волнам, останавливаясь в редких деревнях, чтобы сменить лодочников.

Никогда не забуду стужи, «пурги», в ночь на 26-е сентября. На реке было нечто вроде ледяного шторма. Нашу лодку подбрасывало волной на страшную высоту и то и дело заливало борта. Никакие черпаки не в состоянии были удалить воду со дна нашей лодки, тяжелевшей с каждым часом. Держать руль никто не хотел, так как на корме сидеть было не безопасно. Гребец тоже бросил весла: «грести бесполезно, пускай несет». На бортах от воды образовался толстый слой льда, еще сильнее отягощавший лодку, которая погружалась все ниже и ниже. Казаки инородцы начали молиться, неистово крестясь и читая «отче наш», а затем, видимо, решив, что православный бог никудышный, взвыли страшными голосами кликуш, как потом оказалось, шаманили.

Тютюнюк, матрос Черноморского флота, сидел и добродушно покуривал трубку, а я, Нейштат и Геллерт из сил выбивались, чтобы черпаками из бересты выбрасывать воду из лодки.

Ночь. Ни зги не видать. От берега мы были на значительном расстоянии и поэтому не могли даже заметить огней в редких селениях, расположенных на каменистом восточном берегу. Но если бы даже и заметили деревушку, то причалить к ней не могли бы по компетентному мнению Тютюнюка. С Нейштатом мы сговорились в случае крайней нужды выкинуть «стражу» за борт, чтобы облегчить этим тяжесть нашей лодки. Никакого труда это не составляло, т. к. «шаманы» были в положении «птицы сирен, у которой голос силен: когда господа бога воспевает, то сама себя позабывает». Побросав винтовки на дно лодки, эти охранители устоев самодержавия совершенно забыли охраняемую ими «крамолу» и затянули таким речитативом, от которого хохол Тютюнюк трясся от хохота. Геллерт усердно толкал в бок то одного то другого казачка, но они были буквально в экстазе и никакие тумаки не действовали.

Было не безопасно выбрасывать этот «балласт» за борт в силу разных соображений, и поэтому мы их терпели, угощая время от времени веслом уж больно неистовствующего.

Так прошла ночь. К утру ветер затих и мы заметили станок «Лузино», т.-е. 115 верст отмахнули без остановки. Отогревшись на так называемой «дворянской квартире», т.-е. по-просту заезжей, и оставив здесь Нейштата и Геллерта, мы с Тютюнюком и стражниками отправились в Дудинку. 28 сентября были мы наконец на месте назначения.

Дудинка это один из административных пунктов края, лежащий на 76° северной широты. Морозы здесь доходят до 56° по Цельсию. С 20-х чисел октября начинается сплошная ночь и жители круглые сутки живут при огне. Так продолжается до 20 декабря ст. ст., когда солнце понемногу начинает показываться и уже в 20-х числах апреля настают белые ночи. А в мае в 12 часов ночи можно проверить по солнцу солнечные часы. Это, однако, не значит, что настало лето или даже весна.

На вопрос товарища, каковы климатические условия, Дудинский ссыльный ответил: «здесь 12 месяцев зима, а остальное время все лето». Это изречение близко к истине, если добавить, однако, что примерно в первых числах июня в климате тундры начинается быстрая метаморфоза: мигом ломит толстый ледяной покров, в два-три дня тают снега и не

успеешь оглянуться на весну, как уже настало лето с температурой до 25-30°.

Но это лето крайне непродолжительно и безнадежно. Уже в августе нужно одевать шубы, а вскоре и «унты» (род туземных сапог). Таков благодатный край, куда царское правительство бросало своих врагов. В Дудинке было несколько богатых купцов из обрусевших самоедов, например, Хвостов, Войлошников. Русские же и иностранные купцы (Пуссе) некогда прибыли сюда с целью наживы и действительно в результате неслыханной эксплоатации туземцев, купцы богатели и некоторые из них производили крупные операции с пушниной в Ирбите, Н.-Новгороде и даже в Берлине.

Были случаи, когда за медный котелок или, что еще хуже, за бутылку спирта (спирт воспрещалось ввозить) купец получал у туземца песца или соболя. Самая грабительская работа велась в тундре. Сюда купцы выезжали на своих оленьих стадах, сбывали всякую дребедень (бусы, аллюминиевую посуду, сумки, водку) и вывозили оттуда несметные богатства, ввиде горностая, соболей, мамонтовой кости, моржовых шкур и т. д.

Дронов, Самойлов и их веселая ватага нанесли значительный удар этой бесцеремонной вакханалии. Они «просветили» умы «князьков» и привели в чувство уж больно зарвавшихся мародеров, купцов, встряхнувшихся после расправы с Войлошниковым и К°. Но с ликвидацией волынки все пошло почти по-старому, с той лишь разницей, что теперь уже не сами купцы, а некоторые из ссыльных, по мотивам борьбы за существование, начали своими руками жать, загребать для г.г. купцов. Правда, ссыльные делали это дело не так бесцеремонно-грабительски, как сами купцы.

К моменту нашего с Тютюнюком прибытия в Дудино, здесь жила колония человек в двадцать. Некоторые из них, как например Булановский (известный затем в Красноярске разбойник «Чайка») там именовали себя анархистами и имели свою группу собутыльников (Кузнецов—рабочий из Ростова; Тюменцев, Кирсанов и др.). Диомид Артемьев, с.-д., служил у Пуссе и был буфером между ядром ссылки и компанией купцов, не желавших давать ссыльным ни квартир, ни приюта.

В Дудинке жила семья, высланная из Красноярска, мало причастная к революции, но очень симпатичная. Это—М. Борховский, его жена и дети. У этой семьи образовалось нечто вроде столовой и клуба ссыльных. Здесь были д-р Мейерчак П., с.-д., погибший затем в Красноярской тюрьме во время Колчака. Был Вержбицкий из польской «Левицы», студент Питерского Университета, малый серьезный и твердокаменный. Был Соколовский, с.-д., сбежавший затем вместе со Штейном на иностранном пароходе и очутившийся в Кракове; был Казмерчук—польский рабочий из Домбровского района, были еще некоторые и наконец Тютюнюк и автор этих строк.

Мейерчак и Вержбицкий занялись медициной и метеорологией (в Дудинке была метеорологическая станция). Я занялся портняжеством и учебой, главным образом, математикой. Построили мы «пасти» для песцов, строили «плашки», ставили капканы на «ушканов» (зайцев), пробовали рыбачить.

По вечерам собирались у Борховского, куда совместно выписывали газеты из России и Сибири, читали, спорили о величии Толстого и о том, что «на каждого мудреца не мало простоты». Я же доказывал, что на

каждого «простеца не мало мудрости». Математик Вержбицкий намекал, что не всякая обратная теорема верна, грозил мне двойкой на следующем уроке и горячо отстаивал «великана». Дело кончалось тем, что страж-ник Сидельников, по инструкции не имевший права заходить без особой нужды в общежития ссыльных, услышав шум, приходил и предлагал расходиться. Вскоре мы с Соколовским начали затевать побег. Оба мы не ждали ничего хорошего. Я не мог думать, что меня не разоблачат и лишат 15-ти рублей пособия в месяц. Тогда хоть караул кричи. Соколовский был поселенцем и жил на средства товарищей, тем более, что у него одна рука была не в порядке. Но как бежать? Нужно податься дальше на Гольчиху. Здесь, по слухам, в конце лета 1910 года должен быть иностранный пароход, или оставалось перебраться на юг, в Туруханск, а там устроиться как-нибудь с баркой, приезжающей торговать, или в с. Монастырское с пароходом незаметно улизнуть.

Вдруг получается бумажка, что административно-ссыльные, кончающие срок ссылки, должны о сем заявить в отдельном Управлении края с указанием места, куда они хотят быть водворены на предмет гласного надзора и отбывания воинской повинности.

Опять лафа -решаю я. Ведь со дня приговора департамента полиции прошло два года. Дело о пятилетнем приговоре было по слухам сожжено. Есть только приговор к трем годам. Значит скоро кончаю. Дай-ка напишу, что желаю вернуться в Сосновицы.

Почему в Сосновицы? Потому, что Мейерчак и Вержбицкий имели там хорошие связи и давали мне письма в Варшаву к Розенталю.

Сосновицы—граница с Австрией. Шаг с полупаспортом и я вне пределов досягаемости. Я написал приставу, выписал из Курейки Гендлина, чтобы с ним посоветоваться и совместно предпринять шаги. Гендлин, мой земляк и друг (ныне предгубпрофсовета в Ростове), вскоре прибыл ко мне в Дудинку, а затем продвинулся еще дальше на север в «Толстый Нос», чтобы обучать детей у какого-то купца и тем добывать себе хлеб. Но парень не мог долго оставаться один без живых сотоварищей.

Многобабья семья купца прилипла к моему другу, как пчела к меду, и чтобы не растаять совсем от жарких печей на холодном севере, мой приятель прикатил на обратном пароходе весной 1910 года. Отплевываясь, он рассказывал мне совсем не полярные, а прямо-таки экзотические вещи...

Поехали мы с ним обратно в новую столицу края--Монастырь, на что никакого права я не имел и, чтобы не судиться за самовольную отлучку, решил «заболеть» и выехать в Туруханск.

Здесь, повидавшись со своими друзьями -Львовским, Крузе и другими, я выехал в Верхне-Инбатск дожидаться конца ссылки. Здесь была колония, состоявшая большей частью из лиц, причастных к делам П. П. С.: Щепаньяк, Гофман и др. Был с.-р. Дзегановский, жена его с.-д. Пересветова из Томска, Латынцев из Ставрополя.

Колония, несмотря на сравнительную близость к Енисейску (около 900 в.), жила бесцветнее Туруханска и Дудинки. Тут все еще трепетали перед возможностью рецидива диктатуры военщины и держали ухо востро. Я поселился у своих старых знакомых по Ангарской ссылке—Дзегановских, успевших после меня сбежать оттуда в Киев и быть вновь арестованными.

В октябре 1910 года ко мне на квартиру явились два надзирателя и даже приехавший из Енисейска жандарм.

В чем дело? Я ждал «проходного свидетельства» до Сосновиц, мечтал об Австрии и вот, не угодно ли?

— Вы арестованы. По открытому листу пойдете этапом в Енисейск.

Отобрали книги, письма, велели собрать пожитки. Разговоры излишни. Иду в Енисейск.

Со мной в партии были Кениг и Завьялов из Лисвенского завода, арестованный за какое то письмо, полученное от товарища и вскрытое приставом. Потолковали с Завьяловым и решили, что кто-то край предает. Пришли в Енисейск.

Вызывают к жандармскому ротмистру. Там же и исправник.

— Вы кто?

— Шумяцкий,—отвечаю.

— Административно-ссыльный Туруханского края?

— Да.

— А не ссыльно-поселенец, бежавший из Шелаевской волости и арестованный в Красноярске в 1908 г.?

— Гм! Может быть,—говорю.

— Почему молчал, такой, сякой, и получал казенные деньги? Почему не говорил, что лишен прав?

— Не велика честь,—говорю,—чтобы кричать, а деньги... почему не брать, жить нечем было.

— Ну вот и будешь сидеть до распоряжения губернатора.

— Ладно.

Вернулся в камеру. Сижу месяц, два. Встретился здесь с Аксеновым, тоже отбывавшим срок за Туруханское дело, работаю в тюремной мастерской.

Итак, думаю, «разоблачили». Но чья же это работа? *). Как будто никто этого не знал, ибо я никому не говорил и никому не писал о своем поселенчестве. Разве кто в письме ко мне болтнул? Отсидел месяца четыре. Наконец, вызывают: «отправляешься с партией в Туруханск, собирай вещи». Я немедленно собрал манатки и приготовился в путь.

* * *

В маленькой пересылке Енисейской тюрьмы несколько человек ждало отправки в Туруханск. Среди них были разные лица, отправлявшиеся, главным образом, в Погодаево, Назимово, Ворогово и др. пункты Енисейского уезда и только один из них отправлялся в Туруханку. Это был Иосиф Федорович Дубровинский, известный в партии под кличкой «Иннокентий».

Невысокого роста, с темно-рыжей бородой и улыбающимися глазами, тов. Дубровинский особенно не выдавался среди других арестантов. Хорошо помню, что вначале мое внимание было привлечено к нему чисто внешними причинами. Я никак не мог понять, как сможет этот щупленький на вид человек добраться хотя бы до первого этапа в коротенькой тужурке и довольно таки потрепанной барашковой шапке, да еще в башмаках с галошами, тогда как мороз стоял уже не ниже 25°.

*) Впоследствии оказалось, что выдал меня, как и многих других в крае, Филипенко—он зарезался.

— Неужели в этакой обмундировке вы думаете жить в Туруханске?— спросил я его, узнав о месте его назначения.

Иосиф Федорович усмехнулся и заметил:

— Если завтра из Красноярска ничего не получу, значит так и двинусь. Не ждать мне здесь две недели до очередного этапа из-за шубы, шапки и проч.

На завтра из Красноярска от его брата Якова (погиб во время Колчака) были переданы ему шуба и унты.

Я еще тогда не знал, с кем судьба меня столкнула, но из первой же беседы я сразу почувствовал, что Иосиф Федорович—фигура исключительной революционной и моральной силы и что под его лысеющим, чуть-чуть ленинским, куполом-лбом хранится колоссальный багаж ученого марксиста. Он был скуп на слова и очень мало говорил о своем прошлом, но того, что я успел узнать от него на длинном пути в «Туруханку», было совершенно достаточно, чтобы проникнуться к нему уважением и любовью и не забыть его никогда. Самые серьезные вещи о делах партии, о клокотавшей тогда дискуссии между **ликвидаторами** и партией, **об империоманизме и богдановцах, богоискателях, отзовистах и пр.**— он рассказывал как бы в шутливом тоне, «между прочим», —точно посторонний созерцатель. Но слушатели Дубровинского, помимо его воли, не могли не видеть того, что перед ними фактически один из руководителей партии, много потрудившийся над ее строением и внутренне до физической боли страдающий ее болезнями.

Сначала в Назимове, затем уж в Сумарокове, Подкаменной-Тунгузке и др. этапах Туруханского края Иосиф Федорович при моем посредстве, как старого туруханца, устраивал нечто вроде рефератов. Это были собеседования у жарко-натопленной железной печки, после суточного продвижения по Енисею, когда холода уже достигали до 30° и больше. Помнится в Костине, где мы решили устроить «дневку», собралась местная колония. Если память мне не изменяет, здесь в колонии были Шадрин, Самарец, Филипп Захаров и некоторые другие товарищи. С неподражаемым юмором Иосиф Федорович рассказывал о происходивших заграницей фракционных боях, начавшихся после январского (1910) пленума, постановившего создать единый центральный орган «Соц.-Дем.», вместо выходивших до того времени «Пролетария», органа большевистского ЦК и меньшевистского «Голоса Социал-Демократа».

Как известно, меньшевики тогда не подчинились постановлению **Парижского** пленума и продолжали издавать свою газету, тогда как «Пролетарий» закрылся. Большевики заграницей негодовали. Тов. Дубровинский рассказывал, что по этому поводу происходили жаркие бои и чернильницы и пресс папье чуть не летали в головы.

— Ведь архаровцы то каковы!—негодовал Иннокентий.—Пользуясь тем, что касса и финансы находились у меньшевиков, эти господа посмотрели на дело, **как «отцы города» в Питере и в Москве смотрят на «муниципальные предприятия».** Они в ус себе не дуют и на партийные денежки творят антипартийное дело ликвидации подполья в угоду культурничеству и «малым делам», тогда как большевики честно исполняют свое обязательство, закрыв фракционный орган. Но скоро и «Голос Соц.-Дем.» закроется, так как финансы с некоторых пор должны быть переданы в нейтральные надежные руки одного немецкого товарища.

— А кто этот немец?—интересовались слушатели.

— Бебель или Зингер [1]). Только таким образом можно добиться толку. Передать русские партийные финансы немцу—иначе единства не добиться,—посмеиваясь заканчивал Иосиф Федорович.

Рассказывал он много любопытного о подвигах Бурцева, не на шутку вообразившего себя в Париже Шерлок Хольмсом по русским революционным делам и тут же демонстрировал несколько анекдотов из жизни эмигрантов.

В дальнейшем я узнал от него, что он был арестован в последний раз в Москве по возвращении из эмиграции, которая ему надоела. Много хлопот доставил он жандармам, арестовавшим его в какой то гостинице. Охранка искала его днем с огнем и, арестовав скромного статистика Московской Земской Управы Дубровинского, все-таки не знала, что это и есть «Иннокентий». А узнав, наконец, что это он самый и есть, не имела никаких улик, чтобы учинить над ним суд, ну хотя бы по 102 статье уг. улож. за принадлежность к партии. Поэтому, несмотря на предательство (как потом выяснилось, предал Дубровинского Малиновский—депутат Государственной Думы), столыпинская охранка только и могла придумать для «Иннокентия» четыре года Туруханского края в административном порядке.

В Монастыре мы с Дубровинским разъехались. Он остановился в Костине, где жил до своей трагической смерти. Я же проехал в Туруханск. На этот раз я здесь застал довольно многолюдную колонию. Здесь был Як. Фишман, с.-р. (руководитель лево-эсеровского мятежа в 1918 г.), Ермолик, Боровик (ведал метеорологической станцией), Рыбникова Кл. Ив. (затем моя жена), Головко, Алексей Стогов, участник туруханских событий, затем освобожденный по суду Мленек, Галин (латыш, с.-д., поселенец, покончил самоубийством), Земет, Павел Ясеновский (анархист) и многие другие.

Это было время 911 г., когда предрассветная заря начала загораться «Звездой», «Северной Звездой» и, наконец, «Правдой».

Сначала одинокий выстрел Богрова в Киевском театре и крушение Столыпина, затем Ленский расстрел и львиное рычание пролетариата, как ответное эхо протеста.

Все это пронеслось в жизни ссыльных, как метеор в глухую ночь.

Ссылка начинает копошиться. Сидеть не хочется. Старые административно-ссыльные кончают срок и выезжают из края. Кое-кто бежит. Штейн (Носков), Соколовский пробираются на крайний север и на пароходе капитана Вебстера в качестве «юнгов» пробираются в Норвежский порт Гаммерфест. Член английского королевского общества и английской палаты депутатов, прошедший огни и воды и льды всяких научных экспедиций, должен был за свой «либерализм» отведать, что такое русский клоповник «Красноярской кутузки».

Нужно было дипломатическое вмешательство иркутского консула, чтобы освободить Вебстера, кормившего клопов за преступное содействие побегу «государственных преступников».

Капитан Вебстер выгрузил свой пароход с солью и мануфактурой на северных пунктах края, где редкие иностранные пароходы пользовались «портофранко», т.-е. беспошлинной продажей товаров. Продав свои товары частным пароходовладельцам—Вебстер свой пароход отправил обратно, а сам выехал в Красноярск, где и был арестован за пропуск на свой пароход «Нимрод» Штейна и Соколовского.

[1]) В действительности деньги переданы были на хранение Кларе Цеткин, Мерингу и Каутскому. Зингера в то время в живых уже не было.

Была затем интерпеляция в палате общин, известно-ли это статс-секретарю по иностранным делам сэру Эдуарду Грею и т. д., но комедия кончилась ничем, как сообщал мне с гостеприимных берегов тов. Штейн.

Он мне эзоповским языком предлагал «последовать примеру», но увы! на другой год швед Лидс, пробравшись в Туруханск тем же северным водным путем, что и капитан Вебстер, очень любезно ответил некоторым из нас: «Не могу, связан словом, данным губернатору». Всякие надежды на бегство северным путем исчезли. Приходилось устраиваться в Туруханске всерьез и надолго. Совместно с Пашкой Ясеновским, Сергеем Нюбергом и Алексеем Стоговым мы уходили далеко в тайгу и ставили дрова. Местный купец Лукашевич из уголовных ссыльных, некогда пришедший сюда по нашумевшему делу «червонных валетов», до известной степени нам покровительствовал. Он давал нам в кредит топоры, бродни и продукты, а мы за это платили ему каторжным трудом, работая зимой на лыжах в тайге по установке дров.

Его приказчик принимал их по рублю за сажень и мы были рады, ибо есть было нечего.

Весной тот же Лукашевич нанимал всю туруханскую колонию на работу по погрузке и отправке товаров из Монастыря или Селиванихи в Туруханск, так как пароход в этот последний не заходил и потому товары, прибывавшие по Енисею на пароходах для Туруханска, попадали в этот последний на специальных лодках по рукаву Енисея.

Быт и жизнь ссыльных к этому времени достаточно успели оформиться и принять известные очертания, характерные для многих колоний. Административные, получавшие 15 руб. в месяц пособия, жили порою более или менее сносно. Жили коммунами, куда примыкали и поселенцы, лишенные прав и вынужденные поэтому влачить жалкое существование и зарабатывать гроши непосильным трудом. К этому времени относится несколько самоубийств и несчастных случаев в связи с погоней за заработком или вследствие острой тоски.

Так, ссыльный поляк Роговский отправляется из Туруханска в Монастырь. На другой день его находят замерзшим.

Поселенец латыш, Галин, редкий труженик, инструментальный мастер, слесарь и плотник строит себе домик, где им была оборудована слесарная мастерская. На первых порах была работа и Галин даже выписал из Митавы жену и зажил чин-чином. Вдруг к весне 1912 г. Галин кончает счеты с жизнью. Да еще как кончает! В отсутствии жены запирает ставни и зажигает изнутри дом, где сам остается. Когда ссыльные-поднятые тревогой, прибежали спасти товарища, оказалось, что вери,-накрепко заколочены, а изнутри взрываются коробки с охотничьим дорол хом и кислотами. Дом, облитый керосином, сгорел, как свеча. А покоо горна был найден обуглившийся труп Галина, предвари тельно застрелив шегося из винтовки.

Этот ужасный случай и такой же в Верещагине заставил ссыльных несколько ближе подойти друг к другу, чтобы совместно дружно побороть тоску и голод. Ермалик начал организовывать хор, изредка ставились спектакли, публика начала издавать нечто вроде журнала, который, увы! должен был ликвидироваться, вследствие отсутствия материала и живой хроники.

Скандальной, впрочем, хроники порой бывало больше, чем достаточно. Так, например, на почве картежной игры Булановский откусил своему

приятелю нос, Хаймович лишился таким же образом уха; стреляя в цель, Захаров (кажется) в Костине ранил Шадрина.

Пострадавшая публика собиралась в Туруханск, как единственный медицинский пункт, где старик доктор Венлав всем делал «операции». Операции состояли в том, что он тупыми ножницами просто напросто отрезал ненравящиеся ему части тела, вплоть до замерзших пальцев, а то с такой же простотой пришивал нос или ухо, висящее на квинте.

Весной 1912 г. я снова встретил Иннокентия. Он был занят переводом «супругов Вебб» и каких то других экономистов. Встретились мы с ним на этот раз, как старые приятели, и он кстати рассказал мне следующую любопытную историю.

Рожкову удалось пробраться в Иркутск из Балаганска, где он был на поселении. Ему в Иркутске удалось собрать вокруг себя группу литераторов для издания газеты. Сотрудничать в этой последней Рожков предлагал и Иннокентию. Но Иосиф Федорович ответил на это предложение какими то смешными виршами, смысл которых примерно таков: «не гоже мне работать с приват-доцентами, имеющими огромную амплитуду колебаний слева направо».

Иосиф Федорович, кроме переводов, был занят еще педагогией. У него был кружок местных деревенских парней, любивших его, как человека «не от мира сего».

К этому времени состояние его здоровья значительно ухудшилось, но он не унывал; рассказывал он чудеса «рубцевания процессов» каким то химическим способом, чему он сам был свидетелем в какой то заграничной санатории.

— Да, науки в Европе делают свое дело.

— А искусство?—спросил я.

И тут только я узнал от Иосифа Федоровича, что эта сторона его ни мало не интересует. Рассказывая чудеса об успехах электротехники, авиации, промышленности из непосредственных своих наблюдений на выставках, в университетах и предприятиях, Иосиф Федорович невинно пожимал плечами, когда речь заходила о современной беллетристической литературе.

Никаких «пантеонов» или там картинных галлерей заграницей он не видал и не посещал, хотя был в Париже, Риме, Берлине.

Насчет Зайцева, Ремизова и даже Сологуба он разводил руками, делая вид, что не знает их. Это казалось нам удивительным и даже несколько однобоким.

Но таков был этот бесстрашный боец, ездивший заграницу исключительно для целей революции. Как немногие из вождей, он знал все тонкости французского синдикализма или оттенки итальянского реформизма, но ему не было никакого дела ни до Пантеона, ни до Венеры Милосской, ни до Маринетти.

Между тем, это был человек редкой души в отношении к товарищам и свои 15 руб. буквально отдавал нескольким поселенцам, задалживаясь в ожидании платы за разные переводы.

В последний раз я видел Дубровинского в конце лета.

Каково же было мое удивление, когда на столе у него я увидел томик Верхарна, да еще во французском подлиннике. «Так, от нечего делать перевожу»,—заметил Иосиф Федорович в ответ на мой смущенный вопрос: «что сие означает».

От Филиппа Захарова и др. я слышал, что настроение Иосифа Федоровича неважное. Но все же расстались мы весело. В ту зиму 912/13 г. в В. Инбатске я получил еще от Иосифа Федоровича пару писем, где он оценивает события в России, как оживление дела, надежды ссыльных в связи с 300-летием дома Романовых считает ребячеством. Но вот прошла зима. Весна 1913 года. Узнаем ужас. Нет Иосифа Федоровича, куда то исчез. Спустя несколько времени, Енисей выбрасывает его труп где то у Монастырского. Только недавно уехала жена его из Края... Неизвестно, в чем дело. Утонул—это ясно. Было ли это самоубийство или несчастный случай во время одинокой прогулки по берегу—это до сих пор остается загадкой.

Воспоминания покойного т. Ногина в «Братской могиле» [1]), где определенно утверждается самоубийство, кажутся нам слишком смелыми. Впрочем, может быть, у кого-нибудь имеются незыблемые доказательства самоубийства в виде писем Иннокентия. Но в печати мы таких до сих пор не встречали. К этому же времени, к весне 1913 г. относится самоубийство Вольфсона на ст. Аленском, недалеко от Верхне-Инбатска. По рассказам Ильи Шера, жившего совместно с ним, Вольфсон находился в отчаянном положении политического поселенца, потерявшего всякую надежду на заработок. Вольфсон вложил себе в рот дуло дробовика и толстым пальцем ноги нажал курок. Шер нашел его плавающим в своем собственном мозгу и крови. Незадолго до этого в том же Аленском зарезался административный Филипенко. Но в отношении последнего были некоторые основания предполагать, что он занимается провокацией. Перехвачена была его переписка с отдельным туруханским приставом Кибировым, где Филипенко предлагал свои услуги и просил сообщить об этом в Екатеринослав. Пока же он занимался мелочью. В частности ему приписывали некоторые аресты в Туруханске, в том числе арест Завьялова и мое «разоблачение», так как Филипенко где-то слышал о моей истории. Ссыльные его допросили, выяснили его роль и Филипенко перерезал себе горло.

* * *

В период 1913-14 г.г. в Туруханский край прибыло несколько партий ссыльных, до известной степени изменивших быт и жизнь в Крае.

Вначале к нам в Верхне-Инбатскую колонию был водворен Яков Ефимович Боград, известный затем сибирский большевик, один из организаторов и вдохновителей Центро-Сибири (погиб как заложник в Красноярской тюрьме в 1919 г., во время Колчака).

Яков Ефимович прибыл из г. Одессы, откуда он высылался Толмачевым по делу рабочей печати. Тов. Боград был тогда завзятым меньшевиком-ликвидатором и внес своеобразную струю в жизнь Верхне-Инбатской колонии. Друг Дейча и близкий родственник Плеханова, тов. Боград был высоко образованным марксистом и еще в 1905 г. принимал участие в рабочем движении юга России, после чего вынужден был эмигрировать заграницу. Здесь Яков Ефимович занялся учебой и совершенно оторвался от революционного движения России. Штудируя науки сначала в гор. Берлине, затем в Берне, тов. Боград поддерживал связь с меньшевистскими кругами и до своего возвращения в Россию находился в тисках ликвидаторства. Не успел он приехать в г. Одессу из своего прекрасного далека и приобщиться к российской действительности, путем издания ликвидаторской газетки, как его арестовали и послали в места не столь отда-

[1]) «Братская могила»—так назван изданный Московским губистпартом сборник, в котором опубликованы биографические данные и сведения о революционной деятельности умерших уже товарищей, в свое время работавших в Москве.

ленные. К его прегрешениям в области политики Толмачев присовокупил еще «академическое преступление». Дело в том, что тов. Боград, кончив Бернский университет и получив там степень доктора философии и математических наук, возымел свирепое желание сдать экзамены при Новороссийском университете в г. Одессе. Пока университетское начальство справлялось у швейцарских «шпиков» о политической благонадежности тов. Боград, последний успел сдать государственный экзамен и получить диплом.

Кассо (царский министр просвещения), узнав об этом инциденте, попытался даже телеграммой «отменить экзамены», но было уже поздно.

В отместку за хитрость Яков Ефимович поплатился Туруханским Краем.

В ссылке тов. Боград с первых же дней попытался было образовать кружок «эсдеков», в котором начал проводить идеи меньшевизма, но в этом ему не повезло, т. к. кроме пишущего эти строки в колонии находился Ян Вильсон, рижский большевик, Филинов и Панюшкин, железнодорожники с большевистским уклоном.

Но если Яков Ефимович не находил себе сторонников в области политики, то зато вся почти колония собиралась на его лекциях по марксизму. Нельзя без благодарности вспоминать работу тов. Боград в области просветительства как по общественным наукам, так и по общеобразовательным предметам.

* * *

Приблизительно в июне 1913 года в Туруханский Край прибыл Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили).

Еще при отправке его из Красноярской тюрьмы почти на всех станках Туруханки знали, что Сталина везут в Край и что его запрячут подальше от центра. Ходили самые легендарные слухи об особых дарованиях «души человека» улетучиваться из-под любого конвоя среди какой угодно обстановки. И его действительно постарались так «запрятать», что общение с ним было доступно лишь очень немногим.

Знали, что «неистовый Виссарионыч» насчитывает за собой чуть ли не семь побегов из разных Вятских, Архангельских и даже Нарымских ссылок, знали, что за ним числится довольно солидный стаж «тюремного гражданства». Мало, однако, кому было известно о том, что Джугашвили был на Пражской конференции 1912 года и является членом Центрального Комитета, выбранного на той же конференции.

Известно лишь было, что Джугашвили серьезный литератор, марксист, сотрудник различных журналов.

Разумеется, что лучше нас в отношении Сталина была осведомлена охранка, предписавшая отдельному Туруханскому приставу Кибирову держать тов. Сталина подальше. Неудивительно, поэтому, что на сей раз тов. Сталин был «зажат» так ловко, что о новых побегах ему не приходилось и помышлять.

Он был водворен в глухую деревушку, скорее в «зимовье» Курейку (названо по притоку Енисея, р. Курейки), лежащей в 120 верстах к северу за полярным кругом. Отсюда-то не очень сбежишь, т. к. даже обычные остановки пароходов во время летней навигации бывали здесь чрезвычайно редко. Пароходы заходили в Курейку лишь только для того, чтобы забирать графит, который добывался в 60-70 верстах от устья речки, где находилось селение из двух-трех домов.

Здесь то и поселился тов. Сталин. Ему, разумеется, пришлось отложить всякие попечения насчет побега и зажить одиноко, приспособляясь к окружающей обстановке.

Надо отдать справедливость тов. Сталину. Несмотря на свой кавказский темперамент, особенно в отношении побегов, которых у него было множество—он сумел взять себя в руки и акклиматизироваться в холодной тундре.

Точно заправский «челдон» Полярной Туруханки, тов. Сталин окружил себя таким ворохом сетей, неводов, «морд», «самоловов», переметов, капканов, плашек и дробовиков, что каждый побывавший у него «диву давался».

Тов. Швейцер, ездившая в Курейку с Суреном Спандарьяном (о нем ниже), рассказывала затем автору этих строк про чудеса, творимые новым «рыбопромышленником».

Тов. Сталин неводил, добывал подледную осетрину, сам потрошил ее и даже сам готовил «орудия производства».

Вся эта возня не мешала ему, однако, работать над некоторыми своими произведениями («Национальный вопрос» и др., позднее появившиеся в печати). Жил он один в отдельной избе и зорко охранялся курейским стражником.

* * *

Весной 1913 года в Туруханку прибыла новая партия с Як. Мих., Свердловым во главе.

Один из будущих организаторов Октября и первый председатель В. Ц. И. К. при Соввласти—Свердлов прибыл в край вместе с Горевым-Гольдманом, Медведевым (друг Шляпникова), Голощекиным и др. Среди последних был литератор Девинижский (А. Вайтер) и эсерка Рейфшнейдер.

Остановилась эта партия на некоторое время в Верхне-Инбатске, где гостеприимно была встречена местными ссыльными.

Тов. Свердлов, впрочем, не сразу согласился остановиться у нас. Будучи чем-то вроде старосты партии, он не спеша ознакомился с условиями жизни ссыльных и обывателей и на мое предложение части партии поселиться у меня (я жил с женой и ребенком) ответил, примерно, так: «Не спешите, батенька, с радушием; не возрадуетесь. Да и нас это не устраивает, а вот лучше укажите, где тут у вас в Верхне Инбатске можно разместиться так, чтобы каждому полностью использовать дневку и толком отдохнуть. Все мы чертовски устали, и особенно вот эта дама».

Эта дама была Рейфшнейдер, видная эсерка.

В этой же партии был Горев-Гольдман, известный меньшевик, который держал себя в стороне от прибывшей партии.

Европейски одетый, в новом котелке, крахмальных воротничках, с подстриженной черной бородкой, он казался на туруханском фоне какой-то «белой вороной», покровительственно беседовавшей с разношерстной простоволосой публикой нашей колонии. Не отказывался он, впрочем, сообщать нам те или иные новости далекой России.

Надо сказать, что вопросы, интересовавшие тогда Горева-Гольдмана, не имели почти никакого отношения к политике вообще и к ссылке, в частности. Его занимал вопрос «Еврейской общественности», глашатаем которой он вдруг заделался на весь период империалистической войны. Выбравшись в 1915 г. из Туруханского края, Горев-Гольдман являлся в ряде си-

бирских городов представителем так наз. О. Р. Т.'а (Общество Распространения Технических знаний среди евреев) и очень слабо реагировал на политические события в России и Европе.

Однако, бывш. цекист-меньшевик не мог не иметь известного влияния среди некоторых ссыльных в резиденции Туруханского края в селе Монастырском, где он поселился; но это сказалось уже позже, во время начавшейся империалистической войны.

Чтобы не забежать вперед, упомяну еще о двух-трех лицах, прибывших в период 1913-14 г. г.

Своеобразное впечатление оставил на окружающих ссыльных тов. Голощекин, также прибывший вместе с Свердловым, Медведевым и др.

Участник Пражской конференции 1912 г., уже тогда член Ц. К. и будущий видный уральский деятель—производил вначале на окружающих впечатление некоторой суетливости и повышенной восторженности. Одетый с иголочки и причесаный, с характерной жестикуляцией и сильным акцентом, Голощекин казался средним коммивояжером, не совсем правильно об'ясняющимся по-русски. Однако, это впечатление постепенно сглаживалось.

По мере оживления тов. Голощекина, его собеседникам становилось ясно, что пред ними типичный подпольщик-профессионал, для которого рабочее движение и революция не только стремление и цель, но и прямая профессия, будничное дело, повседневная черная работа.

Он рассказывал о разных делах Москвы и Урала, о пробуждающемся рабочем движении, о количестве бастовавших на том или ином заводе, о требованиях, пред'явленных администрации разных предприятий и, наконец, о политической окраске того или иного выступления рабочих. Голощекин знал, кто где находится, кого куда из видных деятелей сослали и по каким делам. Короче говоря, это был ходячий «партийный справочник», знавший на-зубок все резолюции, принятые на последних с'ездах и конференциях партии.

Если память мне не изменяет, Голощекин и Медведев в первое время поселились тоже в Курейке вместе со Сталиным, но вскоре переехали в Монастырь.

* * *

Ярче многих других зарисовалась в памяти туруханцев монументальная фигура Сурена Спандарьяна.

Он прибыл значительно позже перечисленных мною лиц, приблизительно, в июне 1914 г., уже незадолго до войны. Его за какие то прегрешения переводили из канской ссылки, кажется, за доклад, прочитанный им в селе Рыбинском. Администрация не скупилась и Сурен Спандарьян попал в Туруханку.

Остановившись вначале в Верхне-Инбатске, он квартировал у меня несколько дней.

Друг Сталина и также участник Пражской конференции, где он был выбран кандидатом Ц. К., Спандарьян был могучей и неукротимой фигурой революционера, марксиста и крупного организатора.

От него веяло какой-то беззаветной, до фанатизма, преданностью делу революции и такой ненавистью к угнетателям, от которой становилось жутко.

Он равнодушно не мог слышать о «порядках», установившихся в Крае, о гибели и самоубийствах многих отчаявшихся и судорожно сжимал кулаки, угрожая кому-то. Одновременно у него проявлялось какое-то любовное беспокойство за близких товарищей, гибнущих по другим захолустьям Сибири и на каторге.

Первый вопрос его был о тов. Сталине, как он живет и как устроился; но я ничего существенного не мог ему сообщить, т. к. знал лишь о том, что тов. Сталин живет в Курейке.

На собрании колонии Сурен Спандарьян сообщил нам все слышанные им новости о событиях в Питере, Москве, Риге и начавшемся движении в Баку.

Дело уже двигалось к баррикадам, и Сурен наговорил нашей колонии не мало любезностей, от которых многих коробило.

— «Какая у вас здесь тишь и благодать—ни сучка ни задоринки, все во всем согласны—и эсеры, и большевики, и меньшевики, и анархисты, а в общем никто ничего не делает, а кончают самоубийством. А ведь нужно же взяться за дело, самоопределиться, готовиться к боям—они не за горами. Разве вы не знаете, что к голосу ссылки прислушивается питерский пролетариат? Там поднимается стихийная волна рабочего движения и кроме «Правды», терзаемой ежедневно, никто делом почти не руководит, если не считать кретинов из «**Рабочей Газеты**», хлопочущих о «свободе коалиции» и болтовне с думской трибуны.

Хотя Спандарьян переводился из одной ссылки в другую, он с исчерпывающей полнотой был осведомлен в делах партии и неустанно рассказывал о лицах и событиях.

Все группировки партии, их оттенки и оттеночки, кампании, поднятые вокруг страховых касс «Правдой» и «Рабочей Газетой», составляли основу его настроений и мыслей. Он рвал и метал по адресу «Рабочей Газеты», «легальных дел мастеров» и думской «шестерки» во главе с Чхеидзе. Он спрашивал о настроении ссыльных и недоумевал по поводу трогательного и несокрушимого мира между ними.

Спандарьяну еще не ясна была вся безрадостная, ужасная своей **анемичностью** туруханская трясина. Полная оторванность от живого мира, отсутствие живых связей и голод делали свое дело обезличивания ссыльных и их физического уничтожения. Люди кончали самоубийством или совершенно растворялись в окружающей кулацко-челдонской среде.

Здесь не могло быть фракционных разногласий за отсутствием к этому побудительных причин, а главное—всем было «не до жиру—быть бы живу».

Спандарьян, однако, горел и по всему было видно, что здесь, на «краю света», он быстро испепелится.

Так оно и было. В 1916 году весной нервные и сердечные припадки Сурена усилились, а когда тов. Швейцер (жена Спандарьяна) выхлопотала ему переезд в Красноярск—уже было поздно. Осенью 1916 г. Спандарьян умер в Красноярске.

* * *

Возвращаюсь, однако, к тому, что с прибытием новых лиц, т.-е. Бограда, Сталина, Голощекина, Свердлова, Спандарьяна, Медведева, Масленникова и некоторых др.—жизнь в Крае в значительной степени зашевелилась.

Публика эта рассосалась по всему Краю и, главным образом, сгруппировалась, конечно, в Монастыре (резиденции Края), где можно было скорее получить газету, сносную квартиру и даже связаться с Сибирью и Россией. Сюда прибывала общая почта, а летом здесь дольше, чем в других местах, останавливался пароход.

Концентрация главного ядра ссыльных в самом Монастыре не замедлила отразиться на быту и жизни колоний во всем Крае.

Мы откуда то начали получать нелегальщину. Затевались связи, рождались организации. Сначала на чисто материальной базе, затем на почве общих собеседований вспыхнули дискуссии, начались устройства, вернее, содействия некоторым побегам. Так, например, из Верхне-Инбатска удалось спихнуть на пароход сначала Байсбейна, затем Умановского и Клейнера.

За мое «содействие» вскоре пришлось отдуваться сравнительно небольшой отсидкой при местной каталажке.

Не добившись толку, власти освободили меня, ограничившись изъятием некоторых писем, карточек и книг.

В Монастыре и Туруханске образовались группы вокруг Спандарьяна, с одной стороны, и Свердлова—с другой. Там публика боролась совместно против администрации и врозь друг с другом уже из-за «сфер влияния» на окружающую среду ссыльных.

К этому времени относится постройка телеграфа на протяжении 1500 верст из Енисейска в Туруханск и дальше. Сооружение это, почти на 90 проц. воздвигнутое ссыльными, внесло не мало оживления, а вместе с тем и устойчивости в жизнь туруханских ссыльных.

Наша В.-Инбатская колония подрядилась артельно поступить к надсмотрщику на работу. Таскали, чистили столбы, прорубали просеку в девственной дремучей тайге, взрыхляли целину, а затем продалбливали вечно-мерзлый грунт.

Дальше, «столбоставка», таскание тяжелых кругов проволоки, взлезание на когтях на столбы и развеска проволоки - все это под руководством эксплоататоров—агентов почтового ведомства производилось руками ссыльно-поселенцев.

В нашей артели работали Науменко—хохол-поселенец, с.-р., Коногов, Махов, я, Еремкин, Вольфович и первое время пытался работать Боград.

Много у него было курьезов с ночевками в тайге и неприспособленностью к тяжелым земляным работам.

Бедняге Якову Ефимовичу с самого начала не повезло. Долбил, долбил он топориком тонкую березу, по указанию Науменко, и, наконец, подрубив ее со всех сторон и не сумев определить по вершине, куда она упадет, побежал как-раз по тому направлению, в котором повалилось деревцо.

Очутившись натурально под «березовой кашей», легонько потрепавшей его массивную фигуру, Яков Ефимович несколько растерялся, пока Коногов не подоспел ему на помощь. Так и кончилась неудачная попытка Боград заняться «настоящей работой».

Вскоре развилась его болезнь и он был вынужден просить разрешения выехать на операцию в Лозанну. Ему это разрешили. Состоялось собрание колонии, на котором Боград говорил, что ему из иностранных газет (он получал «Гуманитэ» и «Форвертс») известно, что скоро состо-

ится социалистический с'езд в Вене. Так как он, Боград, едет заграницу, то он просит колонию выдать ему нечто вроде мандата на этот с'езд от имени ссыльных.

У меня уже до этого времени бывали стычки с Бограда на почве полемики «Правды» и «Рабочей Газеты», по поводу ряда выступлений о страховых кассах, сборах в «день рабочей печати» и подсчета голосов; спорили мы о полемике и о нападках по поводу писем Германова в «Правду», по поводу инцидента с Малиновским и невероятных измышлений «Рабочей Газеты», целиком отстаивавшейся Богра дом, и т. д. и т. д.

В этих спорах мне усердно помогал тов. Бутузов Ив. Егорович—пимокат из Томска, на редкость прекрасный человек и уже тогда сознательный большевик.

Поэтому, несмотря на все свое уважение к Якову Ефимовичу, я и Ив. Ег. Бутузов высказались в том духе, что едва-ли Яков Ефимович сможет правильно представить мнение всей ссылки.

Тем не менее непоколебимый авторитет и уважение сделали свое дело.

Якову Ефимовичу дали мандат, который он бережно спрятал, но—увы! воспользоваться им ему не пришлось.

Не успел он доехать до Красноярска, как мы от него получили телеграмму: «Воюют: Россия, Франция, Англия—с одной стороны, Германия и Австрия—с другой. Италия и другие пока в нейтралитете».

Через 20 дней (увы! газеты приходили туда только в этот срок) мы, наконец, узнали, что известие, полученное от Бограда,—факт.

Собственно говоря, мы по газетам и так понимали, что на европейской шипке далеко не все обстоит благополучно. С надеждой и тревогой следили за событиями, развертывающимися в Питере и Москве, когда под влиянием отравления рабочих сначала на Треугольнике, а потом и в Риге, призывной трубой зазвучала «Правда»: запросы «пятерки», выезд на фабрики Бадаева-Петровского. Дело, чувствовали мы, доходит и действительно дошло до баррикад и вдруг...

Этот несчастный выстрел Принципа в Сараеве, ультиматум Сербии и кровавая каша, которой захлебываются наши зубры епископы Евлогий, Вергуны, целующиеся с Милюковыми, и невероятный поток подлости, шовинизма и ханжества!

Неужели реакция опять восторжествует и опять гниение в Туруханске?

На первых порах как будто так. Приезд Пуанкаре, закрытие газет, патриотические манифестации и, наконец, «манифест» самого Плеханова.

Не может быть! Но факты неопровержимы. До далекой Туруханки докатывается этот шовинистический поток и дробит ссылку надвое. Одни кричат: «Война до победного конца» и вместе с попами и урядниками устраивают вечера в пользу раненых воинов. Другие скрежещут зубами и втайне радуются каждому новому поражению царизма на войне.

Вот картинка: Герулайтис-Сцепуро, отбывающий поселение после каторги, ведает метеорологической станцией, обеими ногами стоит на оборонческой точке зрения. К нему пароходом заезжает мой старый приятель по Туруханску Зельтын. Захожу я. Разбирают последний № «Речи». Оба бравируют по поводу занятия нами «августовских лесов». Я не узнаю Зельтына.

— Неужели непонятно, что нельзя радоваться вместе с победителем Ренненкампфом — палачем русской революции 1905-1907 г.г.? Неужели неясно, что эта победа означает глубочайшую реакцию Хвостова-Пуришкевича и новый разгром пробуждающегося Питера, Москвы, Баку, Риги и т. д.?

Нс—увы! Мы перестали понимать друг друга. Они приводят в свидетели самого Плеханова, Алексинского, и никакие исторические доказательства в пользу нашего разгрома не помогают.

— Пораженец!—бросает мне мой приятель Герулайтис, и мы расходимся на долгое время.

Он агитирует за устройство концертов. Я пытаюсь их всячески сорвать, доказывая на собраниях ссыльных простыми фактами, что нам выгодно поражение.

— Вспомните 1812 г. и, так называемую, «отечественную войну», разгром Москвы и после этого зарождение русской революции—декабристов. Берите Севастопольский разгром и за ним эпоху «великих реформ» завершившихся в 1861 г. освобождением крестьян.

Разгром Луи-Бонапарта в Седане, за этим реставрация республики и французская коммуна. За нашим манчжурским разгромом 1905 года следует полукапитуляция царизма и революция 905-907 г.г. Все победы царизма знаменовали, наоборот, глубокую реакцию. Победа европейской коалиции знаменовала господство «священного союза» с Меттернихом во главе.

Бисмарковская победа 1870-1871 г.г. вызывает закон против социалистов. Даже наша сомнительная победа 1878 г. создала реакцию 80-х годов. Нужны ли еще доказательства?

— Это примитивный и совершенно не диалектический подход, кричали оборонцы.—Германскому жандарму надо дать в зубы, а вы играете ему в руку вместе с г.г. Шейдеманами.

Такие же картины имели место на всех станках Края. Всюду ссылка раскололась.

Само собой разумеется, что ссыльные, жившие на разных станках огромного Края, не имея ни газет, ни журналов, или получая их случайно в более центральных пунктах: в Монастыре, Верхне-Инбатске, где были почтовые отделения,—прислушивались к тому, что происходит в центре Края—в Монастыре.

Но и здесь вести о войне ошарашили публику и многих заставили брать совершенно неверные ноты и петь в унисон с тем «кошачьим концертом», эхо от которого докатывалось до далекого Туруханска.

Ясно и четко представлял себе дело покойный Спандарьян.

Одним из первых он занял непримиримую позицию «пораженчества» и на редких товарищеских заседаниях саркастически клеймил социал-патриотов с французским прононсом.

Горев-Гольдман, Зельтын, Мартын и др. называли его не иначе, как «германофилом», но Спандарьян этим нисколько не смущался. Парируя нападки вражеской группы, он разоблачал предательство Алексинских и падение Плеханова. По адресу других (уже единомышленников), занявших вначале тоже не совсем определенную позицию, Сурен презрительно пожимал плечами, называя их слепцами, невидящими дальше носа.

Только лишь в конце 1914 г. и начале 1915 г., когда тов. Сталину удалось побывать в Монастыре и поддержать Спандарьяна,—последний перестал подвергаться нападкам противоположных групп.

Здесь кстати следует упомянуть, что Сталин, будучи совершенно изолированным в своей берлоге, без всяких колебаний занял «пораженческую» линию и спокойно шел по ней до конца, пока его не мобилизовали на войну, от которой он отделался ввиду неразгибания одной руки.

В письмах к Спандарьяну Сталин целиком разделял его позицию и это поддерживало Сурена в его борьбе с противниками.

Надо также упомянуть о том, что Спандарьяну, Сталину и их некоторым друзьям в ссылке удалось наладить некоторую связь с центром России и даже с заграницей и оттуда получать информации о положении дел и политических группировках во всех партиях.

От Спандарьяна мы и в Инбатске начали получать весьма ценные документы (напр., резолюции латышской партии, клеймящей позицию Плеханова и оборончества, и многое другое). Это позволило нам ориентироваться в делах. Сурен же нам послал и манифест ЦК нашей партии, отпечатанный заграницей еще в конце 1914 г., но попавший к нам лишь в средине 1915 г.

Характерно, что администрация Края чувствовала в Сурене-Спандарьяне самого активного деятеля революции и считала его как бы главарем.

Так, напр., по поводу грубого обращения с ссыльными (как потом оказалось, уголовными), группа монастырцев подала в Красноярск губернатору телеграмму протеста. Под этой последней подписалось несколько человек, не исключая и Свердлова; однако, в результате пристав Кибиров счел почему то нужным арестовать Спандарьяна.

Покойный Масленников—прямой и пылкий революционер-большевик (рыцарь без страха и упрека) «Знаменосец»—как его назвал товарищ Сталин, явился к приставу и, стукнув кулаком по столу, потребовал: «Немедленно освободить Спандарьяна и арестовать меня».

Кибиров Масленникову это удовольствие оказал, т.-е. его арестовал, но и Спандарьяна попридержал на несколько дней под тем предлогом, что он-де «коновод».

Так зажила публика в Туруханке уже в эпоху войны.

Постепенно позиции прояснились.

* * *

В конце 1915 года я уже окончательно убедился, что мое пораженчество совпадает с настроениями, имеющими место в лучших кадрах нашей партии, и, между прочим, об этом нам сообщил не кто иной, как сам Я. Е. Боград.

Вместо того, чтобы попасть в Лозанну, где была его семья, сделать себе операцию и затем побывать на «Венском Конгрессе», Боград остался в Красноярске, занялся уроками, обучал даже «дочь епископа Никона», как юмористически лукаво рассказывал затем Яков Ефимович.

После этого он выступил где-то вместе с покойным Патлых и... сел. Посидел и раба божьего опять на старое родное пепелище в «Туруханку».

Ведут его зимой казаки мимо В.-Инбатска. Я из сил выбиваюсь, чтобы попасть к нему, но его стерегут не на шутку. Увидевши меня,

Як. Еф. встрепенулся, встал и всей своей огромной махиной, как перышко, отстранил казачков со словами: «Ну, это финтифлюшки! Где такие инструкции, чтобы у черта на куличках не допускать ко мне моих товарищей?».

Мы обнялись. И тут я, во-первых, с радостью узнал, что Яков Ефимович весь наш и возмущается действиями Плеханова, во-вторых, узнал массу новостей о конференциях в Циммервальде, резолюции латышской с.-д. и т. д.

А весной 1915 года уже на пароходе в Край прибыла и думская пятерка во главе с тов. Каменевым. Группа эта недолго была в В.-Инбатске. Тем не менее я узнал от нее очень много ценного.

Несколько слов о Бурцеве, тоже вскоре к нам приехавшем. Помню курьезный случай при приезде его в нашу колонию.

Чванный журналист и честолюбивый «ветеран» думал, что наша колония встретит его с помпой. Но—увы! Его встретил только Герулайтис. Я же в это время случайно был на берегу: производил водомерное наблюдение. Замечу кстати, что я перенял заведывание водомерным постом от Н. К. Моисеева, с.-д., поселенца, выехавшего из Края в 1914 г.

Видя, что его встречают не особенно, и узнав о том, что я ссыльный, Бурцев взял меня под руку и тут же начал мне диктовать текст телеграммы в «Русское Слово», долженствующей произвести некий фурор. Потом с места в карьер он выпалил: «Русские меня не поняли».

— То-есть?—недоумевал я.

— Как же! Я решился на великую жертву; несмотря на уговоры друзей Чайковского, Алексинского и др. не ездить, я все-таки шел на верную гибель «варвариного суда»[1]) и что же, ни та, ни другая сторона не поняла.

— В самом деле, какая трагедия!—иронически заметил я.

— Вы читали мою статью в «Будущем»—«Николай Второй и Распутин»?

— Не читал, слышал.

— За это и поселение получил. Впрочем, я уверен, что Пуанкаре этого дела не оставит.

— Хорошо итти на такую «верную гибель», заручившись поддержкой Пуанкаре,—сказал я.—Тут и невинность соблюдешь и... все такое прочее.

Но он так занят был своей персоной, что не заметил иронии и продолжал:

— Ведь еще в Стокгольме я сообщал всем газетам о цели своего путешествия в Россию. Главное—победа русского народа. А тут вот встречаю в целом ряде колоний прямо таки холодное, чтобы не сказать враждебное отношение.

— Разве так?—заметил Науменко, шедший рядом с нами.

— Неудивительно—вставил я,—ведь вы же в унисон поете с теми, кто терзает Россию и нас; как же вы хотели, чтобы мы вас встретили?

---

[1]) Варварин—бывший председатель Петроградской Судебной Палаты.

Но тут Бурцев начал длинно доказывать, что Россия и царизм—штуки производные и второстепенные. Главное—победа над Вильгельмом. С этой точки зрения правилен даже лозунг Эрве «Vive le zar». Мы холодно расстались. Старик уехал и действительно скоро вмешательство Пуанкаре вернуло его из «верной гибели».

Мы же еще долго оставались в Туруханском крае, прислушиваясь к далекому грохоту пушек, пока не грянул всезаглушающий набат Великой Революции.

Декабристы и амнистия.

Б. Кубалов.

I.

Вопрос о всепрощении за участие в тайных обществах, за восстание на Сенатской площади и на юге России не покидал декабристов с момента их ареста в течение первых лет пребывания на каторге и поселении в глуши сибирских городов и деревень.

Мысль о неизбежности амнистии вытекала из сознания декабристов, что их дело явилось логическим завершением всего уклада страны, покоилась на твердом убеждении, что они не виновники приписываемого им злодеяния, а искупительная жертва, чья кровь и страдания говорили о безысходном состоянии страны и народа.

Подобное убеждение было распространено в 20-х и 30-х годах прошлого века не только среди декабристов. Его разделяли и, пожалуй, в большей степени друзья и ближайшие родственники осужденных[1]). «Амнистия законна и справедлива»—были их обычные слова. «Государь, ознакомясь с дѣлом, увидит, до какой степени расстройства был доведен государственный организм, и было бы даже неестественно и безотрадно для России, чтобы протест не выразился в какой-либо форме, и если он принял дурной вид, то в этом виновато все-таки само правительство, незаботившееся об искреннем и правильном образовании народа и т. п».

Видя непреклонное убеждение декабристов и близких к ним лиц в готовности Николая I не только облегчить участь осужденных, но даже и помиловать их, придворные круги, играя на этом, распускали слухи о предстоящей амнистии то в связи с рождением у Николая второго сына, то по случаю окончания персидской кампании, то постройки Александровской колонны, либо—празднества, посвященного воспоминанию Бородинской битвы, или по случаю маневров в южных поселениях... Цель подобных слухов не только усыпить общественное мнение, всколыхнувшееся под влиянием возмущения 14 декабря и жестокой расправы с участниками восстания, но, до известной степени, убаюкать декабристов несбыточной мечтой и тем удержать их от повторения хотя бы и в Сибири «злого умысла» бунта, «могущего (чего особенно боялось правительство) заразить сердца развратные и мечтательность дерзновенную». К тому же придворные круги надеялись басней о предстоящей амнистии произ-

---

[1]) Басаргин Н. В.: «Записки». «Девятнадцатый век». Истор. сборник, изд. Бартеневым, кн. I, стр. 111.

вести в умах декабристов определенный сдвиг, примирив их с фактом воцарения Николая I.

Не все, однако, декабристы оптимистически смотрели на вещи. Были среди них такие, кто не только не верил в заманчивую сказку об амнистии, но, не переставая, твердил о вреде увлечения подобной иллюзией. Назову хотя бы Завалишина Д. И.

Зная характер Николая I, его взгляды, изучив основы внутренней политики реакционных правительств, он пришел к выводу, что давать амнистию своим политическим врагам не входит в их интересы.

Завалишин, Лунин, Сухинов и др., отбывая каторгу, пытались рассеять надежду товарищей на снисходительное отношение к ним правительства, на возможность амнистии для участников декабрьского возмущения.

«Я был уверен и предсказал своим товарищам наперед, что если и будет какое уменьшение сроков, то оно будет незначительное, сделано будет неохотно и, сверх того, по такому поводу, который не будет представлять достаточной причины, чтобы явно выказать, что оно сделано по одному произволу»[1]), а не под влиянием общественного мнения.

Завалишин был прав.

В то время, как многие декабристы, веря во всепрощение, в искренность Николая I, сказавшего, по поводу письма к нему Штейнгеля, что «давно в душе своей простил как Штейнгеля, так и прочих государственных преступников», выражали свою преданность сославшему их монарху, раскаяние, прося, как милости, быть зачисленными рядовыми в отдельный кавказский корпус, III-е отделение и сам царь оставались непоколебимы в своих взглядах. Целый ряд поданных декабристами на высочайшее имя прошений оставался неудовлетворенным. Неудовлетворенными оставались и такие незначительные просьбы, как о переселении из одного места в другое. «Начали все проситься, надобно быть осторожнее в согласии на это, и в особенности ныне», такова была резолюция Николая на просьбу Бриггена о переселении его из Пелыми в Курган. То было в 1831 году, а через год, по случаю рождения у Николая четвертого сына, последовало уменьшение срока заключения обитателей Петровского каземата, однако, существенного изменения в положение декабристов оно не внесло.

Ждали 14-е декабря 1831 г.—десятилетия со дня воцарения Николая. «Милости» были даны, но только не в 1834 г., а 14 декабря 1835 года.

Первому разряду осужденных был уменьшен срок каторги на 2 года, а причисленных ко второму—было велено отправить на поселение, сократив срок их пребывания на каторге на $2^1/_2$ года.

Казалось, что со дня опубликования такой «милости» перед вторым разрядом должны бы настежь открыться двери тюрьмы, что полупомилованные без замедления будут отправлены на поселение в указанные им места.

«Вы увидите», тогда же говорил товарищам оставшийся верным себе Завалишин, «что даже в том уменьшении срока каторги, если оно и последует, постараются сделать так, чтобы на деле вышло еще меньше, чем на словах»...[2]) Ему не верили... Некоторые стали собираться в дорогу, приготовляли даже зимние возки, чтобы санным путем добраться до места поселения.

---

[1]) Записки декабриста Д. И. Завалишина, СПБ. 1901, стр. 304.

[2]) Записки декабриста Завалишина, стр. 304.

Прошло несколько недель в напрасном ожидании, как вдруг узнали, что генерал-губернатору предписано, «составив росписание мест поселения декабристов 2-го разряда, прислать его на утверждение в столицу, до этого же утверждения из Петровского завода никого не отправлять». Так как в Петербурге не торопились с утверждением, то и вышло, что второму разряду отправление на поселение было назначено позже даже десятилетнего срока со дня приговора.

Если к этому добавим, что указ 1835 г. совершенно не коснулся ранее водворенных на поселение декабристов, станет вполне ясна его цель. Расчитанный, как и большинство подобных указов и манифестов, на простоту народа, он выявлял на бумаге царскую милость, от которой осужденные ничего существенного не получили.

Первые десять лет, протекшие со дня вооруженного восстания, должны были, наконец, изменить психику и оптимистов, должны были раскрыть им глаза на то, что никакой речи не может быть о политической амнистии декабристов, что пока в руках Николая будет скипетр, он не забудет «своих друзей 14-го декабря».

Факты следующих лет—лучшее тому доказательство. На далекую окраину—Олекминск командируется жандармский офицер Алексеев, делает обыски, производит следствие о стихах Чижова, отбирает у декабристов охотничьи ружья и т. п.

Лунин, отправленный в 1836 г. на поселение, в 1841 г. арестовывается и без суда, лишь по одной воле Николая I, увозится под охраной в далекий Акатуй [1]). Репрессии коснулись П. Ф. Громницкого, осужденного в Иркутский ордонанс-гауз.

Никаких указов, касающихся участи всех декабристов: освобождения от поселения, возвращения на родину и т. п. в течение остальных двадцати лет царствования Николая I-го декабристы (за исключением нескольких лиц) не получали.

В 30-е годы—роста революционных настроений в Зап. Европе, в 40-е годы годы февральских революций, народных волнений, недовольств и заговоров в самой России, декабристы в глазах как Николая I, так и его ближайших советников продолжали попрежнему оставаться опасными людьми.

Подобная точка зрения имела и определенные результаты. Последние декабристы, оставившие стены каземата в 1839 г., отказались от каких-либо иллюзий насчет царских «милостей», насчет возвращения по ту сторону Урала. «Будущности никакой. Надежда всякая отринута», писал в 1842 г. Горбачевский своим друзьям [2]). Такое настроение охватило и декабристов, живших в Зап. Сибири Для них далеким идеалом являлось не возвращение за Урал, а переселение из какого-нибудь Ялуторовска в Тобольск. В 40-х годах Тобольск... а не Москва конечный пункт их мечтаний.—«В Ялуторовске мы жильцы на время, наше назначение в Тобольск»,—писал Оболенский родным.

[1]) В обществе распространилось убеждение, что Лунин был отправлен для расстрела («на пулю») в Нерчинский завод Центральный архив Восточной Сибири (в дальнейшем ссылки на него будут обозначаться Ц. А. В. С.). «Дело о государственном преступнике Лунине». Связка 30, оп. № 576, л. 56.

[2]) «Шесть писем декабриста И. И. Горбачевского» под редакцией Б. Е. Сыроечковского, «Голос Минувшего», стр. 157.

Расселенные в маленьких городках и глухих деревнях Сибири, декабристы на отведенных им землях старались, по мере сил, быть полезными приютившему их краю.

Минуло 30 лет со дня декабрьского восстания... Из сосланных в Сибирь участников его многие успели найти вечный покой на городских кладбищах и деревенских погостах среди безымянных крестьянских могил. Назревала душевная драма и у тюремщика декабристов—Николая I. Будучи не в силах перенести унижений, нанесенных России в Крымскую войну, он в несколько дней кончает счеты с жизнью. На престол вступил его старший сын Александр II. Общество, жившее 30 лет под гнетом николаевского режима как будто, вздохнуло. В кругах, близких к декабристам, тотчас с новой силой ожили забытые слухи об амнистии, о том, что с участников декабрьского восстания снимут клеймо преступников и перед ними откроются двери новой, лучшей жизни.

Манифест 27-го марта 1855 г. вскрыл истинное настроение правящих классов. Приуроченный ко дню пасхи, этот акт должен был ознаменовать начало царствования, дарованием народу «возможных в настоящее время льгот и прощением или облегчением участи тех, которые хотя и опорочили себя противозаконными деяниями, но могут быть нравственно исправлены и загладить прошедшее новою жизнью, сообразно с обязанностями их к Богу и ближним»[1]). О декабристах и вообще о политических в этом акте нет ни слова.

Как в России, так и заграницей этот манифест был принят весьма сдержанно и не оправдал надежд и ожиданий. Правительство это учло. Вот почему в связи с подготовкой к коронованию, назначенному на 26-е августа 1856 года, оно пытается создать шумиху. К этому дню снова должны были «излиться милости на всех подданных». Целый ряд комиссий работал в этом направлении Составлялись проекты манифестов, грамот, высочайших рескриптов, именных указов Сенату, в канцеляриях разных министерств и главных управлениях шла оживленная работа, подбирался материал, составлялись разные подсчеты, списки. Стоустая молва, идущая из дворцовых передних, попрежнему усыпляла народ обещаниями, пытаясь таким путем создать популярность новому монарху.

Наступил долгожданный день 26-го августа. Вслед за опубликованием манифеста «о даровании народу милостей»[2]) бумажным дождем полились: манифест «о милостях и облегчениях верноподданных царства польского»[3]), грамоты «всем сословиям Екатеринославской, Херсонской и др. губерний, одним с изявлением сердечной признательности «за доблестные деяния, совершенные ими в минуты бранной тревоги», другим—«за подвиги, терпение и за жертвы святому делу отечества»[4]), посыпались рескрипты и целый ряд именных указов Сенату об евреях[5]), однодворцах[6]) и т. п. и, наконец, о милостях и облегчениях, дарованных лицам, подвергшимся наказаниям за преступления политические[7]). Из всех этих правительственных актов остановим внимание на манифесте 26 августа 1856 года.

---

[1]) П. С. З.№ 29163.
[2]) П. С. З. № 30877.
[3]) П. С. З. № 30878.
[4]) П. С. З. № 30879, 30881.
[5]) П. С. З. № 30888.
[6]) П. С. З. № 30887.
[7]) П. С. З. № 30883.

Манифест «о милостях народу»—об'емистая брошюра страниц 20 убористого текста.

После широковещательного обращения «изъявить на все сословия монаршие чувства, возбужденные событиями недавно минувших лет, изъявить выражением благоволения и признательности», Александр II «украшает» героев-защитников Севастополя медалями на георгиевской ленте. такими же бронзовыми медалями награждает и всех участвовавших «в блистательных битвах и вообще в военных действиях 1853—55 г.г. как в азиатской Турции, так и в пределах империи». Как из рога изобилия, посыпались медали не только на военных, но и на гражданских чиновников, даже не принимавших участия в походах, а лишь служивших в местах, об'явленных на военном положении. Бронзовым дождем медалей была «облагодетельствована» прежде всего вся служивая и чиновная Россия. Не были забыты и другие сословия. Духовенство «от верховных пастырей до иереев» получило наперстные кресты с тем же изображением, что и на медалях. «Да свидетельствуют они (кресты)», гласит манифест, «и воспоминают всем и каждому, что духовенство наше явило себя достойным своего священного сана и своих бессмертных предшественников, столько раз содействовавших спасению государства усердными, непрестанно воссылаемыми к престолу Господа сил мольбами».

От почтенных служителей алтаря манифест обращается к «верному благородному российскому дворянству». Не в награду, а лишь в память жертв со стороны дворянства в последнюю войну жаловалась каждому дворянскому семейству, в лице главы его, опять-таки бронзовая медаль, которая по смерти получающего ее должна сохраниться в его роду, переходя всегда к старшему в семействе.

Такую же медаль получили почетные граждане и купцы именитые, «которые отличили себя приношением на издержки войны».

А где же подлинный народ—городской, сельский люд? Где серая масса, что официально называлась «обывателем», которая поддерживала государство, вынося на своих плечах всю тяжесть войны? Какие милости и облегчения получили они?

В манифесте о нем упомянуто мимоходом. Земледелец, русский мужик в сухом и напыщенном акте затерялся среди «мануфактуристов и поселенных в России иностранных колонистов». За свое долготерпение, страдание, за потоки пролитой им крови получил он, мало говорящую его уму и сердцу, «благодарность монарха»[1]).

Лицемерием отдает от каждой следующей главы манифеста, начиная с торжественного об'явления о предстоящей народной переписи (имевшей целью «облегчить некоторым состоянием бремя излишних и несоразмерных с настоящим населением податей и повинностей») и кончая упоминанием тех, кто, «хотя и навлек на себя справедливую кару закона противными оному действиями, но по из'явленному ими раскаянию и смирению в наказаниях могут быть признаны заслуживающими смягчения сих наказаний, или и совершенного прощения».

О крестьянском вопросе в манифесте ни слова, зато «милости и облегчения», зависящие от усмотрения начальства, подробно обставлены целым рядом условий.

---

[1]) Населению же Таврической, Бессарабской и др. более пострадавших от войны губерний, дана надежда «облегчения и пособия, которые по точном удостоверении в нуждах и положении каждого края будут определены особыми о том положениями».

Правда, населению дается одна реальная «милость». После целого ряда наборов для укомплектования действующих армий, наборов, окончательно обессиливших крестьянство, манифест обещает не производить таковых в продолжение четырех лет, но это дается опять-таки условно, с оговоркой: обещано наборов не производить в указанный срок постольку, поскольку «чрезвычайные обстоятельства не сделают их необходимыми».

Далее идет целый ряд монарших милостей по отношению к ворам, грабителям, лихоимцам, особливо чиновникам, грабившим казну; затем половинчатые меры о кантонистах, о низших чинах из военных поселян Новгородской губернии, участвовавших в беспорядках 1831 г. в округах пахатных солдат, последним даровано право возвращения на родину... Порвавшие всякие сношения со своим сельским миром, расыленные по селениям и деревням необ'ятной Сибири, или отошедшие в иные миры, они не нуждались в запоздалой монаршей «милости».

Вспомнив Новгородских поселенцев, умышленно не упомянули о солдатах—участниках декабрьского возмущения, участниках бунта на корабле «Александр Невский», отправленных в 1828 г. с палубы корабля на каторгу, и о многих других «бунтарях» из народа.

Ст. XV манифеста посвящена политическим преступникам. Она формулирована так: «Подвергшимся разным за политические преступления наказаниям и доныне еще не получившим прощения, но по изъявленному ими раскаянию и безукоризненному, после произнесения над ними приговора, поведению, заслуживающим помилования, даровать на основании особых постановленных для этого правил: одним облегчения – более или менее значительные, в самом месте их ссылки, другим же освобождение от оной с правом жительствовать в одной из указанных ими во внутренних великороссийских губерниях, а некоторым и дозволение жить, где пожелают, за исключением только С.-Петербурга и Москвы...

Тем из сих, получающих ныне прощение, которые были подвергнуты наказанию по приговору Верховного Уголовного Суда 13-го июля 1826 г., или же на основании постановлений военно судных комиссий по прикосновенности к замыслам и действиям тайных обществ, открытых в 1825 и 1827 г.г. и к бывшему в 1831 г. возмущению в Польше, даровать, вместе с законными их после произнесения над ними приговоров рожденными детьми, все права потомственного дворянства, токмо без прав на прежние имущества».

Здесь что ни мысль, то извилина, что ни слово, то недоговоренность, на каждом шагу рогатки, усмотрение. Манифест в этой части явился вынужденной уступкой общественному мнению, которое требовало амнистии для тех, кто 30-ти летним страданием в стране изгнания искупил «кару дряхлого закона и кару пошлой клеветы».

Как бы неудачно не был составлен манифест, но в условиях русской действительности немыслимо было подвергнуть его открытому и всестороннему обсуждению.

К счастью, в самом манифесте в 37-й статье дана всесокрушающая критика его. Эта статья, слово в слово заимствованная из манифеста 1855 г., говорит о могущих возникнуть при применении манифеста сомнениях и о необходимостях, в таких случаях, руководствоваться указами, коими были об'яснены разные статьи манифестов 1 января и 22 августа 1826 г., 16 апреля 1841 г. и 27 марта 1855 г., и во всех таких случаях входить с представлением в Сенат.

Хороша же редакция манифеста, если для проведения в жизнь милостей и облегчений понадобились в помощь ей указы и толкования, изданные лет 30 тому назад. Сомнения и толкования широко полились как в сенатские, так и в министерские канцелярии. Недостатки манифеста вскрылись самою жизнью и ярко бросались в глаза тем, кто волей-неволей должен был проводить его на местах. Особенно много сомнений вызвал он в Восточной Сибири колыбели ссылки и поселения. Совет Главного Управления Восточной Сибири, детально обсудив манифест 1856 г., препроводил не малое число сомнений и основательных к ним толкований в Министерство Внутренних Дел [1]). Однако, эта своеобразная критика не была достоянием общества, она проводилась секретно в тиши канцелярий.

Если в самой России неуклюже составленный манифест не мог обсуждаться, то заграницей разбору его были посвящены статьи в газетах и журналах. Эмигрантские круги, следившие за ходом дел в России, не могли не отозваться на ожидаемый ими с нескрываемым волнением подобный правительственный акт. От нового монарха и они ожидали «новых идей», ждали ясно очерченной программы его царствования, обещания, в первую очередь, разрешить стучавшийся в двери русской жизни вопрос о крепостной неволе. В манифесте была ими вскрыта фальшь, недоговоренность, неискренность, «иезуитизм в редакции» и полное нежелание открыть глаза на то состояние государства, которое без коренных реформ приведет его к неминуемой гибели.

В данном случае характерно мнение «Полярной Звезды». Разбирая детально манифест, орган, руководимый Герценом и И. Огаревым, прежде всего приходит к выводу, что манифест составлен безграмотно, что правительство не умеет найти подходящих людей для редакции своих законов, что оно поручает писать акты, которые для целого народа должны быть ясны, как дважды два — людям, не только не знающим русского языка, но не имеющим даже человеческого смысла. «Это явление страшное. Оно приводит в трепет за будущее, ибо носит на себе печать бездарности, могущей погубить Россию» [2]).

Негодование эмигрантских кругов вызвала XV статья манифеста, касающаяся осужденных за политические преступления, этих «несчастных жертв благородного стремления, или добросовестных заблуждений».

«Не хватило великодушия дать амнистию просто, без оговорок, а прощаются они с разными уловками насчет раскаяния, поведения, да еще на основании особых правил... надо, по крайней мере, 25 лет ссылки, чтобы русский император мог почти простить политического преступника. Да оно уже, конечно, и не опасно. Когда политический преступник был обвинен, вероятно, он уже был не дитя, а после такого долгого наказания, правительство может быть уверено, что прощает старика незадолго до смерти».

«Что же это такое?»—задает вопрос «ПолярнаяЗвезда»,—«политическая трусость, прикрытая солганным великодушием... И все это в то время, когда Россия хочет отдохнуть после тридцатилетнего безумия и гнета... Обидно и стыдно!» [3]).

---

[1]) Ц. А. В. С. Связ. 1141, оп. № 18. Л. 8-29. «Журнал Совета Главного Управления Восточной Сибири».

[2]) «Полярная Звезда» 1857 г., издаваемая Искандером и И. Огаревым, кн. 3. Лондон, 1858.

[3]) Там-же, стр. 17.

Как сам манифест, так и приемы его опубликования были, главным образом, на эффект.

Узнав от генер.-губ. Восточной Сибири Муравьева-Амурского, что среди чиновников, прибывших с ним из Сибири в Москву, находится сын декабриста Волконского--Михаил Сергеевич, Александр II изъявил желание, чтобы Михаил Волконский отвез в Сибирь «манифест о милостях».

В Сибири не было еще телеграфа. Весть об освобождении должен был принести курьер. Отправлению никого иного, как сына декабриста через всю Сибирь с манифестом о милостях, даруемых всему народу, в том числе и декабристам, не замедлили придать характер театральности.

О следовании Волконского вдоль Московского тракта узнавали в городах и селах ранее его прибытия и толпами выходили на большой сибирский тракт в ожидании приезда государева посланца. Михаил Сергеевич останавливал лошадей, читал манифест, когда было много народу, бросал несколько мимолетных слов, когда народу было мало и... летел дальше. Весь путь от Москвы до Иркутска Волконский проехал в 15 дней[1]).

Большего эффекта и большей театральности, пожалуй, и не придумать.

II.

Ко времени опубликования манифеста немного декабристов доживало свои дни в Сибири.

В Западной Сибири находились на поселении 13-ть человек: Батенькова, фон-дер-Бригген, Выгодовский, Муравьев-Апостол М., Якушкин, Басаргин, Штейнгель, Свистунов, Анненков, Щепин-Ростовский, Пущин, Батеньков и Оболенский, в пределах Восточной жили—21 человек: Трубецкой, Волконский, А. Поджио, Бечасный, Киреев И., Фролов, Фаленберг, Люблинский, Веденяпин, Соловьев, Быстрицкий, Крюков Ал., Раевский, Горбачевский, М. Кюхельбекер, Завалишин, М. Бестужев, Луцкий, а также участники Оренбургского процесса—Колесников, Таптыков и Дружинин. Лишь незначительная часть из них, например, Веденяпин, Крюков, Бригген, Басаргин, Анненков, Свистунов находились на гражданской службе.

Заброшенные за несколько тысяч верст от центра русской жизни, одни из декабристов не порывали связи с ним, их друзья и родственники извещали о положении дел в России; чиновники, сопровождавшие незадолго до Крымской кампании ревизовавших как восточную, так и западную Сибирь сенаторов,—сверстники и знакомые декабристов – делились с ними последними веяниями.

Осведомлены были декабристы из писем друзей, родных и о подготовительных работах к манифесту. «Отовсюду говорят», пишет Пущин своему брату 7 февраля 1856 г., «будто бы намерены нас пустить за Урал». Слухи об амнистии находили оправдание, ибо уже в начале 1856 г. братьям Бобрищевым-Пушкиным разрешено было оставить Сибирь, летом семье Давыдова, незадолго перед тем умершего, разрешено было выехать из Сибири, в марте того же года на местах поселения декабристов стали отбирать сведения о семейном положении каждого.

И. Пущин негодовал даже на оттяжки, носившие, по его мнению, характер издевательства по отношению к людям, выстрадавшим 30 лет

[1]) С. Волконский. «О декабристах» (по семейным воспоминаниям). Петербург, 1922, стр. 112.

за свою любовь к родине и народу. «По моему мнению,—говорит он,—нечего бы спрашивать, если думают возвратить допотопных»[1]).

Была ли у декабристов при таком взгляде на Александра II твердая уверенность в том, что новое царствование принесет им грядущих дней освобождение, что новый монарх по доброй воле даст им полную амнистию, искупив этим актом суровый приговор отца? Дать положительный ответ едва-ли возможно. Правда, Волконский говорит, что «предчувствие о милостях стояло как бы в воздухе... декабристы в них верили»[2]), но в какую форму будет облечена эта милость, в форму-ли всепрощения, или, как то имело место в прежних указах, половинчатость мер, полупрощение, он не предвидел.

Иное настроение переживало большинство, узнавшее на опыте 30 летнего пребывания под опалой цену царским милостям. Я не ошибусь, если назову выразителем предманифестного настроения этой группы И. И. Пущина.

За два месяца до манифеста он пишет по поводу предположения амнистии: «во мне есть что то от Фомы: пока не вижу, не осязаю, не верю...» Вся прежняя политика «Незабвенного» в отношении к декабристам воспитала это недоверие.

Декабристы и в 1856 г. в большинстве не верили в возможность полной амнистии. «Им и в голову не приходило, —говорит на основании семейных воспоминаний внук декабриста С. М. Волконский,—что сын Николая I даст полную амнистию тем, кто поднялся против его отца», и если же они проявили известный интерес к манифесту, то движимые вполне понятным желанием узнать о предстоящих реформах загнанной «Незабвенным» втупик России, реформах, которые властно требовались всем социально-экономическим укладом страны.

Декабристы настолько мало верили в возможность полной амнистии для всех, что продолжали и летом 1856 г., в разгар слухов о милостях, вести те же занятия, что и в прежние годы: ремонтировали на зиму дома, заготовляли запасы, отдавали распоряжения по хозяйству или обдумывали в глуши Селенгинска, Смоленщины, Минусинска планы усилить его производительность, полагая провести в Сибири остаток дней своей жизни.

Вот одна из причин, почему манифест с его «милостью», выехав по ту сторону Урала, застал многих совершенно врасплох.

Если незначительная часть поселенных в Сибири декабристов вела в 50 годах оживленную переписку со своими друзьями и родными, то было не мало и таких, кто успел за годы томительной ссылки порвать всякую связь с родными местами: одни из них не знали даже—остались ли в живых их родственники, будут ли в состоянии оказать им помощь выбраться из Сибири и устроиться на новом пепелище, другие же, хотя и имели родственников, приняли «освобождение» равнодушно, так как, пустив глубокие корни в Сибири, они сроднились с нею, сжились с населением уголков, как Селенгинск, Петровский завод, Тобольск, и сочли за благо отказаться от возвращения в Европейскую Россию.

---

[1]) Штрайх С. Я. «Декабрист И. И. Пущин» (оттиск). Стр 75.

[2]) Записки С. Г. Волконского. Спб. 1902. Стр. 199.

Манифест 26-го августа застал не только декабристов врасплох, не подготовлена к нему была и власть на местах, особенно в пределах Восточной Сибири, где сосредоточено было большинство политических. Не было ни полных списков поселенцев, участников декабрьского и польского восстаний, не было ни точных инструкций, ни определенных толкований. Генерал-губернатор Восточной Сибири находился в столице. Иркутской губернией в то время управлял председатель казенной палаты П. Какуев.

Получив от генерал-губернатора лишь 12-го октября целый ряд указов, предложений Министерства Внутр. Дел и список о милостях, дарованных лицам, сосланным за политические убеждения, он предписал Иркутской общей городовой управе об'явить всем находившимся в городе политическим, «чтобы они 24-го октября явились бы для выслушания милостей, дарованных манифестом, и для дачи сведений, требуемых инструкцией»[1].

Действительно, 24-го октября в назначенный час в канцелярию собрались как жившие в Иркутске, так и прибывшие туда из окрестных сел декабристы и поляки-повстанцы.

Когда исп. должность земского исправника Затворницкий прочел, вслед за манифестом, присланный из Министерства Внутр. Дел список лиц, которым даны милости, произошла неприятная история, омрачившая искусственно созданную торжественность.

В зачитанном списке в графе: «высочайшие милости» после перечисления о каждом: «даровать права», «разрешить возвратиться с семейством из Сибири» и т. п. было добавлено: «быть под надзором», «под наблюдением начальства», «жить где пожелают в пределах империи, кроме Москвы и С.-Петербурга, под надзором»...

Услышав о ненавистном надзоре, который тяготел над ними три десятка лет, присутствующие возмутились, не зная, чем об'яснить позорное о нем упоминание в списке, когда манифест о нем ничего не говорил.

Зная содержание манифеста, они были уверены, что амнистия дается полная, безусловная, тем более, что в XV главе черным по белому написано: «состоящих по прикосновенности к преступлениям политическим под особым надзором, от оного освободить».

Получился неожиданный скандал.

Трубецкой, Бечасный и Дружинин в письменной форме подали протест, заявив, что они считают незаконным, после полученной амнистии, оставление их под надзором полиции. Их устами говорила вся та масса политических, которая в момент получения амнистии, оставаясь в подозрении, бралась под надзор.

Вот протест Трубецкого С. П.

«Об'явленную мне испр. должность Иркутского Земского Исправника Высочайше дарованную милость по случаю коронования Государя Императора: о возвращении мне потомственного дворянства только без почетных титулов и без прав на прежнее имущество, дозволив возвратиться с семейством и жить, где пожелаю, в пределах империи, за исключением С.-Петербурга и Москвы, слышал, в чем и росписуюсь, долгом поставляя заметить, что при том об'явлено мне, что я должен находиться под над-

[1]) Ц. А. В. С. «Дело о милостях, дарованных манифестом 26 августа 1856 г. разным лицам, сосланным в Сибирь за политические преступления». Св. 37, оп. № 7, т. I.

зором полиции, чего ни в Высочайшем манифесте 26-го августа, ни в указе данном Правительствующему Сенату, не значится, почему я такое ограничение Высочайшей милости, как не исходящее от Высочайшей воли— признать не могу»[1]).

В более энергичных тонах писал Бечасный.

«Прочитав предписание г-на Управляющего Иркутскою губерниею о дарованных милостях по случаю коронования Государя Императора, имею честь об'яснить, что до некоторого времени я не имею намерения, даже никаких средств выехать куда бы то ни было на жительство. Впоследствии, если обстоятельства дозволят мне переменить место жительства, то не премину о сем уведомить. Относительно же выражения, прибавленного к выписке, буквальной из милостивого манифеста и указа «и под надзором», будучи в совершенном неведении, кому и чему приписать ограничение Высочайшей милости, считаю обязанностью сказать, что этого изменения Высочайшей воли, об'явленной манифестом и указом, изменение, которое может ограничить круг моих действий в честном, трудовом приобретении содержания и обеспечения семейства, поселяя ко мне недоверие... должен считать как бы меня не касающимся»[2]).

Дружинин же, считая подобное ограничение каким то недоразумением, просит «исходатайствовать ему дворянскую грамоту, по которой он мог бы проживать свободно без всякого ограничения и надзора, кроме в'езда в столицы, согласно дарованной милости, во всех Российских губерниях»[3]).

Когда председательствующий в Совете Главного Управления Восточной Сибири Венцель получил об этом протесте извещение, он немедля донес директору департамента полиции исполнительной Жданову. «В присланном списке помечено, —напоминает Венцель, что амнистированные должны находиться под надзором полиции, а самим отношением, при котором этот список препровожден, требуется, чтобы о месте жительства лиц, возвращенных из ссылки во внутренние или западные губернии с продолжением за ними надзора, было сообщено в М. В. Д. Следствием этих распоряжений явился отказ некоторых политических указать места, какие они предполагают избрать для своего жительства по возвращении из Сибири, а также протест против оставления их под надзором, так как они считают, что манифестом 26-го августа даровано им полное прощение и право жить, за исключением Москвы и С.-Петербурга, где пожелают, без всяких ограничений».

Венцель в этом донесении стал на точку зрения протестовавших. Он имел основание считать их выводы правильными. К первому декабристу В. Ф. Раевскому, жившему на поселении в с. Олонках, особым указом, после представления, сделанного местною властью, был применен манифест 1856 г., при чем в указе Правительствующего Сената и в особом Высочайшем повелении, об'явленном М. В. Д по поводу амнистии Раевского, определенно сказано: «учредить за ним на месте жительства полицейский надзор». В отношении же амнистированных XV ст. манифеста этого упоминания нет. Вот почему Венцель просит раз'яснения, должны ли состоять под надзором декабристы, или они, по точному смыслу манифеста, должны быть от него освобождены.

---

[1]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. I, л. 129.
[2]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. I, л. 130.
[3]) Там же, лист 131.

Министр Внутренних Дел Д. Ланской, обсудив этот запрос совместно с Главным Начальником III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, секретно уведомил генерал-губернатора Восточной Сибири о том, **«что упоминать о надзоре в манифесте и указе признано было неудобным, как о таком распоряжении, которое должно исполняться секретно и не подлежать об'явлению во всеобщее сведение, почему начальникам губерний не следует делать его гласным и об'являть сказанным лицам»**[1]).

В этих словах сказалось все лицемерие правительства и старый страх его перед декабристами. Хуже всего, что подобное сознательное лицемерие некоторые декабристы все же склонны были об'яснять «ошибкой» Мин. Вн. Дел.

Когда Трубецкой в октябре 1857 г. находился уже в Киеве, его пригласил шеф жандармов кн. Долгоруков. В беседе с ним Трубецкой упомянул: «Манифестом мы освобождены от надзора».— «Да! В манифесте так,— с едва заметной улыбкой сказал Долгоруков,—все под надзором!..»—«Вероятно, это вышло по ошибке М. В. Д., при об'явлении нам о манифесте, оно прибавило «под надзором»,—наивно предположил Трубецкой[2]).

Знал ли Александр II о том, что получившие амнистию по манифесту 26-го августа находятся под надзором полиции?

Конечно, знал. В январе 1859 г. издается по его повелению секретный циркуляр, которым освобождаются от надзора Фаленберг, Соловьев, Быстрицкий и др. декабристы (всего 12 человек), от надзора, которому они подвергнуты с возвращением их из Сибири[3]).

Остальные декабристы продолжали пребывать под бдительным надзором полиции.

Попечительная заботливость начальства преследовала их по пятам вплоть до последнего шага вечного упокоения. Характерно в данном случае представление Московского губернатора III отделению от 10 апреля 1859 г. «Бронницкий исправник донес мне, что проживавший во вверенном ему уезде находящийся под надзором полиции возвращенный из Сибири дворянин Ив. Ив. Пущин 3 числа сего апреля умер».

Во всей этой истории с неискренней и раздутой амнистией, декабристы нашли нравственную поддержку в сибирском обществе. Участливо и радушно встретила Сибирь осужденных на каторгу и поселение декабристов. 30 летнее пребывание их в городах и таежных захолустьях дало возможность сибиряку понять и оценить то значение, которое имели для края **«земли родной изгнанники»**.

Старики расположенных вокруг Иркутска деревень, будучи опрошены мною о том, как отцы их отнеслись к вести о помиловании декабристов, отвечали в одном духе... «были рады за них, поздравляли не только сельчане, но и из города приезжало много народу».

«Когда Трубецкой уезжал,—рассказывал столетний старик Волков, провожало его много народу. В Знаменском монастыре, где погребена его жена Екатерина Ивановна и дети, Трубецкой остановился, чтобы навсегда проститься с дорогой для него могилой. Лишившись чувств, Трубецкой был посажен в возок, и он отбыл навсегда из Сибири, напутствуемый благими пожеланиями провожавших».

---

[1]) Ц. А. В. С. Св 37, оп. № 7, т. I, л. 476.
[2]) Записки кн. С. П. Трубецкого, стр. 100. СПБ. 1906.
[3]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. 3, л. 314.

Конечно, одними поздравлениями, радостью и проводами не могло ограничиться участливое отношение общества к тем, с кем оно породнилось, кого считало своими. Такие лица, как начальник штаба Б. Кукель, правитель дел канцелярии генерал-губернатора Сукачев и др. оказывали материальную поддержку тем, кто, не имея средств, горел желанием при первой возможности выехать в родные края.

Первыми оставили место ссылки декабристы, поселенные в Западной Сибири. Легко было воспользоваться правом от'езда Пущину, Оболенскому, Анненкову и др., имевшим средства. В ноябре—декабре месяце 1856 г. они уже возвратились в свои родные гнезда, а некоторые добились даже разрешения побывать хоть несколько дней в С.-Петербурге.

Восточную Сибирь первым оставил Волконский. По от'езде Марии Николаевны в 1855 г. в Москву, он чувствовал себя одиноким и всею душою рвался за Урал. Вслед за ним уехал Трубецкой. Не так то легко было возвратиться из Сибири бедноте, обремененной годами, болезнями, семьей. Беднякам-декабристам, потерявшим за 30 лет ссылки связь с родными, пришлось призадуматься не только над вопросом—«куда ехать», но и над другим—«на что ехать».

Люблинский, Дружинин, Колесников... не нашли иного выхода, как обратиться за содействием к власти.

Председательствующий в Главном Управлении Восточной Сибири Венцель поставил вопрос о материальной помощи декабристам.

В ноябре он просил Ланского ходатайствовать о выдаче совершенно бедным политическим, подведенным под манифест, прогонных денег на проезд их на родину, а также казенных подорожных. Одновременно он поддерживает просьбу Дружинина о выдаче ему на проезд пособия в размере 500 руб.

Министерство не торопилось с этим вопросом.

Амнистированная беднота, не имевшая возможности на собственные средства выбраться из Сибири, лишь в апреле 1857 г. была уведомлена, что «тем из политических преступников (и после амнистии их величали все же преступниками. *Б. К.*), кто находится в совершенной бедности и не имеет к проезду никаких собственных средств», повелено выдавать из казны прогонные деньги на две лошади каждому до места их следования вместо казенных, частные подорожные «без взыскания за оные поверстных денег»[1]).

Таким образом, амнистированная 26 августа 1856 г. беднота лишь с весны следующего года могла готовиться в дорогу. Но были среди декабристов и такие, о существовании которых ко времени об'явления амнистии забыла как центральная, так и местная власть.

Препровождая из Москвы указ Сената и список политических, составленный в министерстве, Муравьев-Амурский предложил Венцелю составить самые точные списки всех политических преступников, которые по своему поведению могут расчитывать на полное прощение или облегчение участи, при чем требовал не пропустить ни одного осужденного, «как то в других списках много замечено было», добавил он в своем предписании. Вот тогда то, после долгой переписки Венцеля с Забайкальским военным губернатором, открылось, что в Култуминском руднике, в

[1]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. 2-й.

округе карийских золотых промыслов, проживал «отставной ссыльный» или поселенец А. Н. Луцкий[1]).

В силу представления Венцеля, шеф корпуса жандармов вошел к Александру II с докладом о помиловании Луцкого. Ему и детям его дарованы были прежние права, но без права на имущество, и дозволено возвратиться на родину при условии, если Луцкий имеет какую-либо надежду на средства существования вне Сибири[2]).

Здесь мы встречаемся с новой попыткой поставить некоторых декабристов в такие условия, при которых они не могли бы воспользоваться правами возвращения за Урал. Разрешение Луцкому дается при условии, если у него есть надежда на какие либо средства к существованию вне Сибири. Чем вызвано подобное решение?

Некоторые из декабристов, получившие право возвратиться во внутренние губернии и воспользоваться им, проехав на место, были поставлены в худшие условия, чем те, в каких они находились, будучи на поселении. Как-никак, а в Сибири они получали 114 р. 23½ копейки пособия в год, солдатский паек и одежду. С возвращением за Урал, они лишались этого пособия и, будучи в тягость своим бедным родственникам, должны были испытывать нужду. Вот почему некоторые из них уже в марте 1857 г. обращаются к министру внутренних дел Ланскому с просьбой о выдаче им того пособия, которое они получали в Сибири.

Ланской снесся по затронутому вопросу с главным начальником III-го отделения, после чего счел нужным предложить генерал-губернатору как Восточной, так и Зап. Сибири «сделать зависящее распоряжение, чтобы предварительно возвращения политических преступников из Сибири опрашивали их, в состоянии-ли они в новом месте жительства содержать себя без пособия от казны»[3]).

Будучи опрошен, Луцкий подал такое заявление: «На средства к существованию вне Сибири я имею полную надежду на родителей или родственников, если первые находятся в живности, а также и на свои физические силы. Возвратиться во внутренние губернии России я намерен и желаю иметь постоянное жительство в Новгородской губернии»[4]).

Получив прогонные и подорожную, он лишь в июне месяце 1859 г. выехал из Нерчинского завода. Однако, в Новгородскую губернию ему не суждено было добраться. В июле 1860 г. Луцкий все еще оставался в Иркутске, где лично подал докладную записку Муравьеву-Амурскому. Записка эта красноречиво говорит о том отчаянии, до которого дошел забытый декабрист. Он писал: «Государю Императору благоугодно было даровать мне милость с семейством возвратиться из Нерчинска, где я пробыл в ссылке 35 лет, в Новгородскую губернию, вследствие чего выданы мне подорожная и прогонные деньги 264 р., и я в июне месяце отправился в путь с 8-ю человеками детьми и по причине постигших болезней—оспы, горячки и перемежающейся лихорадки, семейство мое и я от Нерчинска до Байкала следовали целый год. Плата за медикаменты для пользования страдающих болезнями довела меня до самой бедности. Изъяснив это, я решаюсь умолять... обратить ваше великодушие на бедное семейство, состоящее из 10 человек, освобождением от взноса обратно в казну про-

---

[1]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. II, л. 58. Кубалов: «Забытый декабрист». «Русское прошлое». 1923 г. № 5.
[2]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. III. л. 60.
[3]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. II. л. 50.
[4]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. III.л. 136.

гонных денег 264 р., полученных мною, из которых у меня не осталось ничего, а мне дозволить обратиться в г. Нерчинск».

Итак, дарованная манифестом милость возвратиться на родину не для всех оказалась осуществимой. Дано было право возвратиться, но средств, достаточных для этого, не дано. За отсутствием средств остались в Сибири многосемейные Бечасный и Колесников в Иркутске, Таптыков в Малышевке, М. Кюхельбекер в Баргузине, а также М. Бестужев в Селенгинске[1]) и Башмаков в Тобольске. Последнему еще в марте 1854 г. было разрешено возвратиться во внутренние губернии России и жить под надзором в Казани. Старик наотрез отказался от этой милости: «Для чего мне в Казань и Россию»,—писал он губернатору, «вообще могила там не теплее, я слаб и не в силах в 80 лет переехать дальнее расстояние»[2]).

Их страшила полная материальная необеспеченность в Европейской России, тогда как, оставаясь в Сибири, они могли рассчитывать на пособие в двойном против прежнего размере. Этими соображениями задерживался отъезд Фаленберга, Киреева и др., оставивших Сибирь между 1859 и 61 годами.

Кроме причин чисто материального порядка, в силу которых одни не могли воспользоваться «милостями» манифеста, другим пришлось на пути за Урал преодолевать иные преграды. Когда Ал. Крюков обратился к Енисейскому гражданскому губернатору с просьбой о выдаче ему с женой соответствующего вида на право выезда из Сибири, дарованного манифестом, ему в просьбе было отказано, на том основании, что властям неизвестно ничего о происхождении его жены.

По справкам оказалось, что декабрист Крюков Ал. был женат на ссыльно-поселенке Анне Николаевне Киве, бывшей прежде государственной крестьянкой Лифляндской губернии, «судившейся за умерщвление блудно прижитого ею младенца и по решению Эзельского ландгерихта наказана прутьями десятью ударами пар и сослана в Сибирь на поселение»[3]). Прожив в Сибири 10 лет, она в 1852 г. была перечислена каленною палатою в крестьянское звание. А в 1853 г. вышла замуж за Крюкова А.

Крестьянам из ссыльных манифест не давал права возвращения за Урал. В виду этого гражданский губернатор запросил краевую власть: «следует ли Крюкову выдать вид, включив туда и жену его, или же, приняв во внимание, что жена Крюкова, хотя и крестьянка, но из ссыльных, таковой вид выдать одному Крюкову, воспретив жене его отлучку вне пределов Сибири».

Генерал губернатор ответил, что «возвращение прав дворянства Крюкову не дает права жене его, сосланной за преступление в Сибирь, возвратиться в Россию, что вид выдать одному Крюкову, а если он желает взять с собой жену свою, то обстоятельство это должно предварительно представить на разрешение г. шефа корпуса жандармов»[4]).

[1]) М. Бестужев предполагал с семьею выехать в Москву в 1866 г. Сестра его просила Долгорукова оставить брату при переезде в Москву пособие в двойном размере, а не 114 р. 28½ к. В ее ходатайстве было отказано. После смерти жены и дочери М. Бестужев выехал в Москву.

[2]) Скончался в Тобольске 21/IX-1859 г. На могильной плите надпись: «последний из ссыльных за 14 декабря 1825 г.», подразумевается—в пределах Сибири.

[3]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. I, л. 389.

[4]) Ц. А. В. С. Св. 37, оп. № 7, т. 3, л. 346.

Крюков не замедлил письменно обратиться к Муравьеву с мотивированной просьбой ходатайствовать перед Александром II о разрешении ему возвратиться в Россию с женой. Муравьев написал шефу жандармов, прося его ходатайствовать перед Александром II «о разрешении Крюкову при выезде из Сибири взять с собою жену его, ныне дворянку и мать их троих малолетних детей».

Только в марте 1859 г. Крюкову было разрешено вместе с женою выехать в Европейскую Россию, но с условием—подчинить ее тем ограничениям, каким подчинен ее муж, т.-е. «запрещению жить в столицах и секретному в местах пребывания ее надзору»[1]).

Изложенное мною дает основание заключить, что не только амнистия 1856 г. была вырвана у правительства, но что и проведение ее в жизнь для некоторых из декабристов оказалось возможным лишь после целого ряда планомерных атак цитадели самодержавия—III отделения, отлично учитывавшего, что декабристы и после 30-ти летнего заточения в Сибири не отстали от жизни, не застыли в своих взглядах, что, возвратившись в пределы внутренних губерний, они, как сила живая, неминуемо примут участие в общественной жизни, биение пульса которой становилось день ото дня более сильным и четким.

И чем, при таких условиях, декабристы возвратятся во внутренние губернии позднее и в меньшем числе, тем, пожалуй, покойнее будет для III-го отделения.

Все, кто имел возможность своевременно воспользоваться правом отъезда и оставить Сибирь, были серьезно встревожены тем обстоятельством, что их друзья и бывшие соузники задерживаются в стране изгнания.

Когда Д. Завалишин, став на принципиальную точку зрения, счел невозможным ехать к сестре, то друзья его, полагая, что задержка происходит из-за отсутствия средств, просили через Ив. Пущина сообщить, сколько нужно выслать ему на дорогу денег, чтобы возвратиться с семьей на родину.

Оболенский убеждал Горбачевского оставить Сибирь, тем более, что родственники самого Горбачевского добились для него разрешения жить в С.-Петербурге, но старик сидел в Петровском заводе, «как гвоздь, забитый в дерево».

«Куда ехать и на какие деньги это возможно сделать—трудно выдумать... Искать же оказии, просить я не могу. Для меня это тяжко, даже отвратительно»... «Ехать на неизвестное, жить с людьми, которых я не знаю, хотя и считаются родными, что я буду там делать», писал он своим друзьям[2]).

Слишком щепетильный, он не пожелал находиться на старости лет на иждивении у своей сестры и племянников.

«Если уедут в Россию М. Бестужев и Завалишин, я останусь один и буду сидеть на развалинах, я и сам развалина не лучше Карфагена»...

В судьбе Быстрицкого принял участие Трубецкой. Выехавший в родные места, он не застал никого из своих родственников в живых; положение его стало отчаянное. Тогда Трубецкой, будучи у Долгорукого, про-

---

[1]) Там же л. 347.

[2]) Записки декабриста Горбачевского с прилож. и со вступ. статьей Б. Е. Сыроечковского. «За друга», 1916, стр. 174, 237.

сил шефа жандармов обратить внимание на бедственное положение Быстрицкого и оказать ему материальную поддержку.

М. Бестужева также убеждали его друзья оставить Забайкалье, об этом хлопотала и сестра его. Но глубокий старик из года в год откладывал отъезд и воспользовался амнистией спустя лишь 11 лет со дня ее опубликования[1]).

Следует отметить заботливость дальних родственников декабристов и о тех вдовах-сибирячках, которые остались в Сибири после смерти их мужей декабристов. Я имею в виду семью декабриста Иванова, умершего в с. Каменке в 1838 году. Родственники Иванова дают возможность вдове, вместе с дочерью, выехать в 1862 году в Петербург.

С отъездом Бестужева в Забайкалье остались лишь двое декабристов: Горбачевский и Луцкий[2]), так как получивший амнистию и проживавший в Чите Завалишин был в административном порядке в конце августа 1863 года выслан из пределов Сибири.

Литературная и общественная деятельность Завалишина, печатно и во всеуслышание критиковавшего мероприятия местной власти, проводимые ею в недавно присоединенном Амурском крае, вызвали против него большое недовольство как членов сибирского комитета, так и ген.-губернатора Восточной Сибири. Этого было достаточно для того, чтобы убедить Александра II найти опасным и вредным дальнейшее пребывание амнистированного декабриста в Сибири, в силу чего, как гласит секретное предписание III-го отделения ген.-губернатору, Александр II-й «повелеть соизволил выслать Завалишина из Сибири, назначивши жительство по распоряжению министра внутренних дел в одной из внутренних губерний, где учредить за его действиями бдительный полицейский надзор»[3]).

Несмотря на все доводы и протесты Завалишина, он, в сопровождении жандармского унтер-офицера, высылается в Казань по той же дороге, по которой 30 лет тому назад его, осужденного верховным уголовным судом, те-же жандармы везли, как опасного мятежника, на каторгу.

Высылка Завалишина последняя колоритная страница 30-ти летнего пребывания декабриста в Сибири и лучшая иллюстрация Александровского манифеста, столь неискренне и нехотя «изъявившего» амнистию «земли родной изгнанникам».

---

[1]) Ц. А. В. С. Св. 45, оп. № 150, л. 22 «Дело о выдаче прогонов и пособия М. Бестужеву и о помещении его детей в учебные заведения».

[2]) Горбачевский умер в Петровском заводе в 1869 году, Луцкий—в Нерчинске в конце 70-х годов. Из оренбуржцев в Иркутской губернии остались Таптыков и Колесников. Первый умер в Малышевке в 1866 году, а последний в Иркутске в конце 70-х годов.

[3]) Ц. А. В. С. Св. 38. Оп. № 7, т. 4, л. 87.

К биографии М. А. Бакунина.

Н. Банай.

В № 4 за 1924 г. журнала «Печать и Революция», в отделе материалов по истории революции и литературы, В. Полонский, много сделавший для разработки вопроса о жизни и деятельности М. А. Бакунина, заметил, что «для биографии знаменитого анархиста» период его сибирской жизни является наиболее темным и наименее исследованным *).

Нетрудно, конечно, найти и об'яснение такому обстоятельству. Документальных данных, обнародованных о пребывании М. А. Бакунина в Сибири, немного, а систематическими разысканиями рукописных материалов в Сибири никто еще не занимался, как своевременно никто не позаботился о собирании и воспоминаний о М. А. Бакунине.

Время же свое дело сделало: сошли в могилу современники Бакунина, хорошо знавшие его в Иркутске, да и за пределами Иркутска, и унесли с собою те ценные сведения о его сибирской жизни, которые могли бы заполнить указанный выше пробел в биографии.

Вот почему думается, что печатаемая небольшая статья «К биографии М. А. Бакунина» будет не лишней в биографической литературе о нем, как основанная отчасти на необнародованных еще архивных документах, а отчасти на воспоминаниях, хотя и напечатанных, но, повидимому, забытых и незамеченных **).

I.

В 1861 году 5 июня, ранним утром, около 5 час., когда Иркутск еще спал, у здания канцелярии Иркутского генерал-губернатора можно

---

*) *М. А. Бакунин пробыл в Сибири с 1857 по 1861 г.*

**) Источники и пособия: 1) Дело № 4936 б. архива канцел. Иркутск. ген.-губ. 1862—64 г.г; 2) материалы для биографии М. А. Бакунина. По архивн. делам, б. III отд. и морск. министр. редакц. В. Полонского. Т. I. М. 1923 г.; 3) Мих. Бакунин. Избранн. сочинения, с пред. Гильома, т. II—V. П.-М. 1920—22 г.г; 4) Б. Глинский. «М. А. Бакунин и его бегство из Сибири» (материалы для биографии). «Ис. В.», № 3, 1898 г.; 5) «Печать и Революция», журн. IV—1921 г. (Письма М. Бакунина с пред. Полонского); 6) С. А. Казаринов. Побег Бакунина из Сибири (Воспоминания) от. «Ис. В.» № 12, 1907 г.; 7) Отрывки из воспоминаний о М. А. Бакунине, слышанные автором от старожилов Сибири И. Л. Лаврова и О. А. Бирфрейнд в Иркутске в 1901 г.; 8) Полонский Вяч.—«Михаил Александрович Бакунин, 1814—1876 г.». Гос. Изд. Моск. 1920 г.; 9) Ю. Стеклов. «Бакунин М. А., его жизнь и деятельность», ч. I. М. 1920 г.; 10) Кульчицкий.—М. А. Бакунин, его идеи и деятельность; 11) Б. Кубалов. Страницы из жизни М. А. Бакунина в Сибири. Ирк. 1923 г.; 12) Барсуков, Муравьев-Амурский, *кн. I и II. М. 1892 и др.*

было заметить необычное оживление: у входа в здание стояли почтовые телеги, несколько чиновников суетились с укладкой ящиков в эти телеги, тут же находилась военная команда в 11 человек и офицер С. А. Казаринов. Когда укладка ящиков была окончена, а Казаринов отдал последние распоряжения, команда разместилась на телегах и тронулась в путь, направляясь к мосту через Ангару для следования на Лиственичную пристань на Байкале. Отправленная кладь заключала подарки японскому микадо от русского двора и Казаринов должен был их сопровождать до Николаевска на Амуре, откуда кладь предстояло доставить в Японию.

Придя домой, Казаринов торопливо заканчивал свои несложные сборы в дальний путь, чтобы во-время попасть на Лиственичную пристань, как вдруг раздался в передней звонок и вошел М. А. Бакунин.

Поздоровавшись, Бакунин обратился к нему:

- Угадайте, Сергей Афиногенович (так звали Казаринова), причину моего прихода к вам. Я еду с вами до Николаевска.

Казаринов был удивлен и спросил:

— Зачем вы надумали пуститься в такую даль и глушь с молодой вашей супругой?

- Я еду один из любопытства посмотреть на исторический край, когда то принадлежавший России с городом Албазиным и 200 лет тому назад взятый у нас манчжурами, но, благодаря смелым действиям ген.-губернатора Муравьева, снова присоединенный к России. Эта идея давно была у меня в голове, и однажды я высказал ее ген.-губернатору вскоре после того, как был заключен Ангунский трактат. В то время он мне ответил на это, что, когда представится удобный случай, то мое желание он исполнит. Случай этот, к моему удовольствию, в настоящее время представился хороший. Мне напомнил об этом вчера Б. К. Кукель и сказал, что ген.-губернатор, уезжая для ревизии, поручил дать мне отпуск; отпуск я сегодня от Кукеля получил и приехал к вам, чтобы договориться о нашей поездке. Как раз вижу, что вы уже готовы в путь. Я также готов. Багаж мой состоит из небольшого чемодана и ручного саквояжа,— вот и все; да еще разве возьму одну подушку и одеяло. Надеюсь, что вы мне это разрешите. Я вас не стесню.

— Послушайте, Михаил Александрович, мне очень приятно иметь вас своим спутником, но должен сказать, что дорожный мой экипаж— очень маленькая повозочка, в которой я едва могу поместиться с денщиком, и поэтому едва ли будет удобно вам ехать со мной.

Бакунин на это заметил, что более просторный экипаж можно достать у Кукеля, начальника штаба. Как раз в это время пришел посыльный и попросил Казаринова к начальнику штаба. Последний ожидал его, и лишь только Казаринов вошел в переднюю, Кукель любезно поздоровался, взял его под руку, провел в кабинет и, усадив в кресло, сказал:

— Я вижу вас в походной форме, следовательно, вы уже совсем собрались в дорогу?

— Лошади готовы, груз с подарками вместе с командой вышел из Иркутска в 5 час. утра и скоро, вероятно, прибудет в Лиственичную для погрузки на пароход для следования через Байкал.

— А Михаил Александрович Бакунин у вас был?

— Он сейчас остался в моей квартире и ждет моего возвращения.

— Вот что: ген.-губернатор, уезжая, поручил мне дать ему отпуск на Амур до города Николаевска. Вы, вероятно, знаете или слышали биографию Бакунина. Я только должен вам сказать, что он вверяется под

ваш личный надзор. Вы незаметно, не подавая виду, наблюдайте за всеми его поступками и действиями и, для памяти, ведите дневник. А теперь желаю вам доброго пути. Скажу еще, что если вам придется остаться зимовать в Николаевске, то попросите от меня Петра Васильевича Козакевича*), чтобы он Бакунина отправил обратно с одним из офицеров, находящихся в служебной командировке, которые будут возвращаться в Иркутск, т. к. срок отпуска ему дан только до октября месяца. До свиданья.

Казаринов не решился попросить у Кукеля формальную, на этот предмет, бумагу, опасаясь, очевидно, навлечь на себя неприятность, и только сказал:

— Позвольте мне выразить свое сожаление в том, что я Михаила Александровича взять с собой затрудняюсь по той простой причине, что ему, привыкшему к комфорту, неудобно и беспокойно будет ехать в простой бричке, донельзя тесной и тряской. Это только мне можно переносить, как бывшему солдату, привыкшему к лишениям.

— Если нежелание ваше взять с собой Бакунина заключается в неудобстве экипажа, так возьмите мой экипаж до Сретенска, а там оставите его у станичного атамана, приказав ему немедленно отправить его обратно. Следовательно, более никаких препятствий нет. Итак, еще желаю вам счастливого пути. До свидания,—так закончил начальник штаба свой разговор.

Казаринов возвратился домой, куда вскоре прибыли почтовые лошади с экипажем от Кукеля и почти одновременно приехала жена М. А. Бакунина со своим отцом К. В. Квятковским, привезя дорожный багаж мужа.

Несложные сборы были окончены, и все отправились до Лиственичной пристани на Байкал, где кладь была перемещена на пароход, на который сели Казаринов и Бакунин для дальнейшего следования, а жена Бакунина с отцом, простившись, возвратилась в Иркутск.

Переправившись на другой берег Байкала, Казаринов снова переместил кладь в Японию на подводы и поехал с Бакуниным в экипаже в Читу. Пробыв в Чите короткое время, посетив Корсакова, губернатора и наказного атамана Забайкальского казачьего войска, Бакунин и Казаринов поехали в Сретенск, где их ждал пароход «Лена», на котором, поместив с подвод вещи и посадив команду, отправились по р. р. Шилке и Амуру в гор. Благовещенск.

Благовещенск только что возник, везде шли строительные работы, и прибывшие Казаринов и Бакунин пробыли здесь 6 дней, осматривая окрестности возникавшего Благовещенска, манчжурский город Айгун, расположенный на противоположном берегу Амура, и в то же время знакомясь с краевой китайской администрацией.

Из Благовещенска, отплыв на пароходе «Амур», прибыли 2 июля, около 10 час. вечера, в Николаевск. Остановились Казаринов и Бакунин в гостинице «Россия», заняв номер в две комнаты рядом.

Утром, на следующий день, Казаринов сдал весь багаж, предназначенный в Японию, полковнику Иосселиану, который и должен был доставить его на место.

Затем Казаринов вместе с Бакуниным посетили военного губернатора и начальника флота Козакевича. Прощаясь, Козакевич «предло-

*) Контр-адмирал в Николаевске.

жил им познакомиться с его моряками, сказав, что они будут очень рады видеть новых лиц и послушать новостей, которые, по дальности расстояния, не скоро доходят до Николаевска,—хотя и получаются некоторые газеты и периодические издания, но довольно поздно».

Началось знакомство с моряками. Они радушно приняли Казаринова и Бакунина, приглашая их то на обеды, то на вечера.

В один из таких вечеров, устроенный в военном собрании, Казаринов не заметил, когда с него ушел Бакунин. В 5 часов утра Казаринов возвратился в гостиницу и лег спать, ничего не подозревая. Проснувшись в 11 час. утра, он крикнул с постели: «Михаил Александрович, мы встаем или еще полежим?» Ответа не было. Тогда Казаринов заглянул в комнату Бакунина; в ней его не оказалось и постель была совсем не помята. На вопрос денщику: давно ли встал Михаил Александрович и где он, Казаринов узнал, что Бакунин во втором часу ночи приходил, накинул на себя плащ и, ничего не сказав, ушел и более не возвращался. Предполагая, что Бакунин находится у лейтенанта Леонтьева, с которым он любил играть в шахматы, Казаринов, напившись чаю, направился к нему, но у Леонтьева Бакунина не было. Не скрывая своего беспокойства, Казаринов послал денщика к другим офицерам, где Бакунин бывал, но его нигде не нашли. Тогда Казаринов сообщил обо всем начальнику порта Козакевичу, а последний позвал полицмейстера и «приказал тотчас-же произвести по городу розыск». Часа через два явился полицмейстер и доложил, что «Бакунина в городе не оказалось, но что в три часа утра снялось с якоря коммерческое судно американца Петерсона и береговая цепь часовых видела, что кто-то с берега садился в поданную шлюпку, которая и отвезла его на судно; неизвестный был в сером плаще». Вскоре выяснилось, что сначала Бакунин сел на клипер «Стрелок», которому нужно было итти в Де-Кастри и на пути уже пересел на американское судно «Викерий», отплывшее в Хакодате, а затем в Америку*). Казаринов бросился в свой номер, был вскрыт чемодан Бакунина, но в нем вещей не оказалось, а была лишь газетная бумага да письмо на имя Казаринова. В письме Бакунин прощался с ним, желал ему здоровья, просил никаких розысков не делать, так как они будут безуспешны—он уплывает заграницу.

Немедленно для возвращения Бакунина администрацией был послан почтовый пароход «Надежда», на котором находились, кроме матросов,—Казаринов и лейтенант Леонтьев. Пароход дошел до залива Де-Кастри, здесь пересели на паровой фрегат «Аврора», прошли до российско-американской колонии Ситла, но Бакунина догнать не могли. Не зная курса, взятого судном с Бакуниным точно—дальше было бесполезно крейсировать.

Казаринов возвратился в Николаевск, откуда и послал донесение в штаб войск в Иркутск, ожидая здесь распоряжений.

Наступила уже осень, прекратилась навигация, а распоряжения не получались и Казаринов остался зимовать в Николаевске.

Как отнеслась иркутская администрация к известиям о бегстве Бакунина? В Иркутске, после получения первых сведений о бегстве Бакунина, не торопились сообщить официально об этом в Петербург.

В письме от 18 сентября 1861 г. Корсаков, временно исполн. об. ген.-губернатора, писал Долгорукову, шефу жандармов, что «обстоятель-

*) Для плавания на клипере «Стрелок» Бакунин получил разрешение от морской военной администрации.

ство, крайне обеспокоившее, побуждает сообщить известие, дошедшее до него по распространившимся слухам, хотяи не подтвердившимся еще официальным путем. Известие это состоит в том, что известный вам Бакунин, находившийся на Амуре по собственным делам, сел в Николаевске на казенный клипер, отправившийся в гавань Де-Кастри, где, пересев на иностранное судно, ушел в море на юг от Де-Кастри».

Лишь 18 октября 1861 г., т. е. спустя два слишком месяца после отъезда Бакунина, иркутская администрация решила дать в Петербург шефу жандармов, Долгорукову, определенные сведения о бегстве Бакунина. 18 октября 1861 г. Корсаков, испол. об. главного начальника края, сообщал:

«Михаил Бакунин, стесняясь в доставлении себе и жене своей средств к существованию, отправился по частным коммерческим делам на Амур. Зная бедное положение Бакунина и принимая во внимание, что, хотя он и находился под полицейским надзором, но не был обязан жить в одной какой-либо местности Сибири, я не считал себя в праве лишать его, при таком стеснительном положении, возможности доставить себе пропитание частною службою, тем более, что он своим поведением не подавал никакого повода подозревать его в каком-либо злом умысле, а потому я не протестовал ему отправиться на Амур, разрешив командирам казенных речных пароходов, плавающих по рекам Шилке, Амуру, Уссури и Сунгари принимать его беспрепятственно на эти пароходы и, вместе с тем, иркутский губернатор уведомил приморского губернатора о состоянии Бакунина под надзором полиции. По болезни в пути того лица, с которым пакет был отправлен, отношение иркутского губернатора о том, что Бакунин находится под надзором полиции, было получено в канцелярии военного губернатора только в августе.

Между тем, Бакунин, прибыв в начале июля в Николаевск и об'явив, что он приехал собирать сведения о торговле края, просил дать ему возможность побывать в Де-Кастри, а т. к. в это время отправлялся туда клипер «Стрелок», то управляющий областью разрешил ему воспользоваться этим случаем, и Бакунин отправился на «Стрелке» в Де-Кастри с тем, чтобы возвратиться в Николаевск через Мариинск. На пути Бакунин пересел на американское купеческое судно «Викерн», чтобы отправиться на нем в залив св. Ольги, а, по последним известиям, Бакунин, побывав в заливе св. Ольги, отправился оттуда в Хакодате для торговых дел, а потому контр-адмирал Козакевич просил русского консула в Хакодате употребить все влияние и оказать содействие к возвращению Бакунина в Николаевск».

Начавшееся в конце 1861 г. следствие о побеге Бакунина из Сибири продолжалось до 1864 г. Прежде всего к расследованию была привлечена морская администрация края, затем следственный материал был передан в б. морское министерство, откуда, для дополнения, материал передали шефу жандармов Долгорукову, а потом в следственную комиссию А. Голицина, затем опять в б. морское министерство и, наконец, для доследования, иркутскому ген.-губернатору Корсакову. Пройденный длинный путь дал следственный материал для 4-х томов. Несмотря на обилие в деле документов, в числе невыясненных вопросов остался, по верному замечанию тов. Полонского, «нераскрытым вопрос, не лишенный исторического интереса: удался ли побег Бакунину случайно, просто потому, что ему «повезло», или побег, без сучка и задоринки совершенный, только потому и удался, что Бакунину помогали».

Есть основание думать, что в Петербурге следственные материалы получались в несколько измененном виде сравнительно с тем, как они имелись на месте. По крайней мере, в воспоминаниях Казаринова можно найти указание на это.

В иркутском же обществе и на Амуре очень долгое время была распространена молва о том, что ген.-губернатор Восточной Сибири Корсаков содействовал бегству Бакунина через других лиц, непринятием соответствующих мер. Кроме того, об этом говорит в своих воспоминаниях Казаринов; по этому-же поводу, в следственном деле б. аудитор военно-ссудной комиссии в портах Восточного океана, Котюков, полагал, что бездействие лейтенанта Афанасьева, начальника морского штаба, в принятии своевременных мер к возвращению Бакунина, можно об'яснить его убеждением, что побегу Бакунина содействует ген. Корсаков.

Афанасьев-же, когда ему сообщили впервые о побеге Бакунина, заметил:

— А нам что за дело до Бакунина —пусть себе бежит, отвечать за него будем не мы, а ген. Корсаков.

Наконец, в письме, приписываемом Бакунину, упоминаемом в следственном деле, определенно было сказано, что «он едет заграницу при помощи друзей, а жена его приедет туда через Петербург».

Нам приходилось лично в начале 1900-х г.г. слышать от старожилов Сибири также совершенно определенные указания на содействие в Сибири близких Бакунину людей в деле его от'езда из Сибири.

Когда б. ген.-губернатору Восточной Сибири, Муравьеву-Амурскому, сообщили, в письме от 2.II-1862 г., что Корсакова обвиняют по вопросу о бегстве Бакунина, то Муравьев, находившийся тогда в Париже, писал М. С. Волконскому:

«Мало-ли сколько ссыльных бежало в мое время, никто не думал никогда и заметить мне этого, а Бакунин был в Сибири уже не ссыльный, а свободный человек, которому было дозволено служить и заниматься частными делами во всей Сибири, и восточной и западной. Всем этим я хочу только доказать вам, что обвинение Корсакова совершенно нелепо».

Но Муравьев ошибался в заключении о виновности лиц. Еще в ноябре 1861 г., т.-е. лишь только в Петербурге официально стало известно об от'езде Бакунина заграницу, в Иркутск было послано высочайшее повеление сделать «выговор и. д. ген.-губернатора Корсакову за неуместное снисхождение, оказанное Бакунину, и управляющему в июне Приморской областью, капитану Петровскому и прочим начальствующим лицам, не воспрепятствовавшим Бакунину отправиться в Японию, строгий выговор, т. к. лица сии не могли не знать, кто такой Бакунин, и не заслуживают снисхождения».

В феврале 1864 г. ген.-губернатор Сибири Корсаков, после доследования дела, признал виновными следующих лиц: 1) мичмана Бронзерта, которому было поручено в июне, в Иркутске, когда уезжал Бакунин, передать пакет военному губернатору Приморской области о том, что «Бакунин находится под надзором полиции, но Бронзерт направился вначале в Кяхту, передав пакет мичману Волкову, но последний заболел, и пакет доставлен был в Николаевск лишь в августе, когда Бакунин уже уехал из Николаевска»;

2) лейтенанта Афанасьева, обвиненного в том, что он неправильно доложил «командиру Сибирской флотилии, что Бакунин путешествует на казенных пароходах по открытому предписанию ген.-губернатора»;

3) капитану I ранга Петровскому—«в разрешении Бакунину итти в море, не приняв в соображение положительных о нем сведений»;

4) капитан-лейтенанту Сухомлину—в произвольном разрешении Бакунину, не доходя до Кастри, пересесть на купеческое судно.

5-го авг. 1864 г. состоялось распоряжение: лейтенантов Афанасьева выдержать два месяца в каземате в крепости, а Бронзерта—месяц на гауптвахте.

Нигде в числе обвиняемых ни слова не сказано о Казаринове. Между тем, весной 1862 г. Казаринову было об'явлено: «за самовольное взятие при служебной командировке ссыльного Михаила Александровича Бакунина до Николаевска, Приморской области, с целью дать ему случай к побегу, по высочайшему повелению, полковник С. Казаринов исключается из службы без лишения чинов, но с запрещением выезда из Восточной Сибири в прочие города Западной Сибири и России», в чем и была отобрана от него подписка. Пенсии он также был лишен.

Лишь в 1905 году Казаринову разрешен был выезд в Россию, т.-е. спустя 43 года после об'явления ему высочайшего повеления о наказании.

В настоящее время можно с большим сомнением отнестись к получению распоряжения об исключении Казаринова со службы из Петербурга. Повидимому, оно было «сфабриковано» в Иркутске, при участии начальника штаба Кукеля, мстившего Казаринову за то, что последний, находясь в сильном возбуждении, сказал начальнику штаба, в присутствии ген.-губернатора Корсакова: «не допускаю той мысли, чтобы вы не знали о намерении Бакунина бежать».

Кукель в тот-же день, встретив Казаринова, сказал: «слов, сказанных вами, я не забуду и вам не прощу».

И, повидимому, не простил...

Только настойчивое критическое обследование всех обширных материалов и напечатанных уже, и находящихся еще в архивах, как центральных, так и, в особенности, местных, только использование всех воспоминаний об указанном моменте—могут привести к определенному ответу на поставленный выше вопрос об условиях, способствовавших бегству Бакунина, в частности, об отношении к данному вопросу Корсакова.

Пока-же можно с большой вероятностью сказать, что от'езду Бакунина из Сибири помогли друзья, вернее люди, ценившие его и понимавшие—какое значение Бакунин мог иметь для новой политической жизни Европы.

II.

В апреле 1863 г. в иркутском обществе распространился слух о перехваченном в Петербурге и доставленном в Иркутск главному начальнику края письме Бакунина из Лондона, адресованном начальнику штаба войск Восточной Сибири, Кукелю. Слух сначала передавали секретно, а затем молва о письме росла, шла все шире и глубже. Кукель давно уже жил в Иркутске, многие бывали у него и очень многие не только в Иркутске, но и далеко за пределами Иркутской губернии, знали его. Не прекратились еще толки и о бегстве заграницу Бакунина. Вскоре слухи о письме подтвердились официальным уведомлением Кукеля об устранении

его от должности начальника штаба, в связи с адресованным ему лондонским письмом.

Начат был письменный допрос Кукеля по поводу этого письма, а в результате длинные сообщения Кукеля о Бакунине.

Приводим содержание письма:

«14/2 июня 1862 г. Лондон.

Болеслав Казимирович! На днях я узнал, что длинное письмо, посланное мною вам с одним русским путешественником, с приложением моей фотографии, которую я здесь прилагаю, было истреблено им с другими письмами на русской границе. Теперь не успею написать вам много - только несколько слов. Я спешу выразить вам мою глубокую благодарность за ваше доброе, благородное письмо. Да, я был виноват перед вами, судил вас несправедливо и приношу вам в том мое полное искреннее покаяние. Простите меня и будем друзьями теперь pour tout de bon до гроба; с вниманием я прочел все, что вы говорили о себе. Да, трудно ваше положение, но, потерпите еще немного, не спешите, покамест, в Польшу, дайте обрисоваться несколько новому направлению под предводительством вел. князя Константина Николаевича, чтобы узнать наперед - может-ли добрый поляк с нами помириться -не то пропадете, как пропал Крыжановский, как пропало так много порядочных людей. Польша теперь страшно заедает людей. Qui sait attendre de ce puissant. Теперь еще переходное положение, а такие положения бывают опасны. Кто сумеет потерпеть да выждать, тот будет паном. Впрочем, и времени терять не надо: готовьте себе там место, но вступите на него только тогда, когда все станет яснее. Нет сомненья, что в нашей польской политике теперь совершается перелом. Несомненен союз с Францией, а это значит, союз против немцев и против Англии; значит, славянская политика разумеется наполеоновскою и петербургскою микстурою, а, все-таки, лучше, чем немецкая. Поляки, если будут умны, могут много выиграть: Галицию, Познань, Западную Пруссию, а, со временем, может быть, и Литву. Хорошо бы было, если бы вы прежде пожили немного в Петербурге. Там легче высмотреть. С графом я иногда переписываюсь*). Он все будирует и живет во Франции—теперь, кажется, в Крейцнахе. Я не потерял моей веры в него, дай бог, чтобы он только верил в себя и искал бы своего пути на широкой дороге, а не в придворных происках. На первый раз довольно об общих вопросах,—теперь к моему дорогому частному. Да, Болеслав Казимирович, я расчитываю на вас не только, чтобы выпроводить мою жену из Иркутска, как можно скорее, -в июле, с верными и приличными попутчиками, но надеюсь, что в нашем отсутствии вы будете другом, советником, а где можно, помощником ее, нашей милой семьи. Нужно-ли мне говорить вам, что все, что вы сделаете для меня, для всех наших, будет принято мною, как благодеяние мне лично и что моя благодарность никогда не умрет в сердце моем. Когда вы получите это письмо, жена получит и деньги,—итак, мешкать нечего, отправляйте ее немедленно в Пермь. Взамен моей фотографии пришлите мне непременно Вашу и Екатерины Васильевны, и Надежды Терентьевны, и Василия Васильевича, которым прошу передать мой дружеский поклон. В истребленном письме я писал о том, что совершенно по недосмотру, вследствие недостатка материалов, в «Колоколе» прошла преглупая ста-

*) Граф Н. Н. Муравьев-Амурский, бывш. ген.-губернатор Восточной Сибири, родственник Бакунина.

тья о Сибири, где зацеплены и Корсаков, и многие другие. Я побранился с Герценом и с тех пор положено, что ни одна сибирская статья не будет помещаться без моего предварительного пересмотра. Читали-ли вы мою статью в «Колоколе» под заглавием: «К Русским, Польским и Славянским друзьям». Напишите мне, какое она на вас произвела впечатление. Она имела, впрочем, хороший результат. Наши отношения, союз наш с поляками становится каждый день теснее и серьезнее. Одним словом, все дела подвигаются вперед, иногда медленно, но верно и твердо. Итак, все ладно. Пришлите мне только мою жену и пишите, как можно чаще, будете-ли в Польше или в Сибири, я буду вам отвечать аккуратно, дайте мне только адрес какого-нибудь вашего друга в Петербурге, чтобы могли передавать ему мои письма. Обнимаю вас от всей души. Ваш М. Б.*).

Привези мне портреты Мату, Рару, братьев и Юльки, Василия Петровича, Шверницкого и Калчана».

Политические взгляды М. А. Бакунина на вопросы, затронутые им в письме, с достаточной полнотой выяснены в последнее время в трудах т.т. Стеклова и Полонского и на них, в виду этого, останавливаться нет нужды. Напомним лишь, что главная идея, с которой Бакунин ехал в Европу, была его прежняя идея—славянский вопрос: «Друзья,—писал он Герцену и Огареву из Америки, всем существом стремлюсь к вам и лишь только приеду, примусь за дела; буду у вас служить по польско-славянскому вопросу, который был моей идеей с 1846 г. и моей практической специальностью в 48 и 49 г. Разрушение, полное разрушение австрийской империи будет моим последним словом».

Еще до начала польского восстания 1862-63 г.г., Бакунин посылал письма и лиц, сочувствующих ему, с революционными поручениями, сносился в Петербурге с людьми, преданными революции и, чтобы быть ближе к восстанию в Польше, ездил в Швецию. Герцен писал об этом моменте в деятельности Бакунина: «Он любил не только рев восстания и шум клуба, площади и баррикады; он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную, и вместе с тем задержанную, жизнь конспираций, консультаций, бессонных ночей, переговоров, договоров... химических чернил и условных знаков».

Вот в это время он пишет и Кукелю письмо, в котором напоминает ему о Польше, о назревающих и назревших уже там политических событиях, в надежде на отклик Кукеля, прежде всего, как поляка. Но Кукель, когда произведено было расследование по поводу письма, прямо заявил, что он никогда и не думал о выезде из Иркутска, никогда не вел бесед с Бакуниным на тему о политическом движении в Польше.

«С Россией,—говорит Кукель,—связывает меня неразрывно все: и служба, и воспитание, и привычки к русским обычаям, и семья моей жены. Если бы вызываемые письмом Бакунина замыслы были в моих убеждениях, то разве направление мое не проявилось бы в течение 12 летней службы моей, когда в руках моих были дела и штаба всей Восточной Сибири, и совета главного управления края, и дипломатической канцелярии. Если бы я сочувствовал стремлениям заграничных агитаторов, которые теперь волнуют Польшу, разве бы я остался вдали от театра действий, к которому мог приблизиться два года тому назад, когда я был в Петербурге и имел возможность оставить службу в Восточной Сибири».

*) Б. арх. Ирк. ген.-губ. № 9436.

Как смотрел М. А. Бакунин на Кукеля, будучи с ним хорошо знакомым в Иркутске, и какую оценку он делал Кукелю? На этот интересный в данном случае вопрос мы имеем определенный ответ в письме от 15 января 1861 г. М. А. Бакунина из Иркутска к Каткову, только что опубликованном в журнале «Печать и Революция» (1924 г. № IV*).

«Кукель человек очень способный, очень ловкий, но, несомненно, принадлежащий к худому и вредному разряду поляков; фальшивый, нервозно-чувствительный, гладкий, холодный, он, как змея, обвил льва Муравьева. Он может передать (Каткову) много интересного о Восточной Сибири, но верить можно только тому, что покажется верным».

И, все-таки, Бакунин послал искреннее, теплое письмо Кукелю. Чем можно об'яснить такой шаг Бакунина? Определенные указания для этого об'яснения мы находим в документах, которыми пользуемся для работы. При расследовании вопроса о письме было указано, что «никому, кто знал Бакунина, не показалась невозможной несообразность действий с его стороны, потому что непоследовательность его в Иркутске всем известна. Каждый, кто знал Бакунина, помнит, как, преследуя какую-либо мысль, он увлекался ею, как ребенок, и в разговоре с другими, имея на своей стороне преимущество неутомимого диалектика, первый убеждался в неоспоримости своих доводов, а во всяком слушателе видел тотчас же человека, разделяющего его убеждения. Под таким обаянием собственных своих увлечений он часто забывал, или знать не хотел, с кем имел дело, и обращался тоном интимности не только с теми, к которым, под влиянием другой минуты, питал вражду, но даже с теми, которые ни в чем ему не симпатизировали».

Из других черт духовного облика Бакунина при расследовании вопроса о письме совершенно ясно выступают «самолюбие его, высокое понимание своих достоинств и всегдашнее стремление свободно высказывать в обществе свои мысли».

Кроме этих сведений расследование о письме заключает указания на положение жены Бакунина в Иркутске после от'езда его заграницу. Всецело занятый скорейшим от'ездом из Сибири в Европу, весь охваченный желанием принять активное участие в политических движениях не только славянского мира, но и всей Европы, Запада и Востока, он, как отважный, мощный борец за идеи революции, за ее распространение и углубление, бросился в дальний путь из Сибири, оставив жену при крайне неустойчивых материальных средствах, в надежде на скорый ее выезд.

Продолжительная хроническая болезнь чрезвычайно ослабляла ее. Душевное состояние было не лучше физического. Кредиторы теснили Бакунину до того, что однажды настойчивость и дерзость одного из них довели ее до обморока. Кукель принял участие в ее положении, уладил некоторые дела с кредиторами и получил в сентябре 1862 г. от родственников Бакунина 900 руб. для передачи ей на поездку в Тверь, куда она и выехала из Иркутска в ноябре того-же года.

После затянувшейся переписки Иркутского ген.-губернатора с Петербургом—Кукелю в декабре 1863 г. было разрешено вступить в исполнение обязанностей начальника штаба. Этим разрешением Кукель был обязан стоявшему тогда во главе военного министерства Милютину.

---

*) Письмо это писалось в то время, когда Катков разыгрывал роль либерала, будучи поклонником английской конституции.

Забытый предтеча.

Д. Чудинов.

I.

Кто помнит в Сибири А. П. Щапова? Редкие одиночки-интеллигенты. Только полвека нужно, чтобы на скрижалях прошлого стерлось бесследно имя одного из лучших сибиряков. Труды, которые по справедливости составляют гордость русской истории, лежат на полках академических библиотек неразрезанными. Только сырые плиты на Знаменской горе*) молчаливо хранят память об этом замечательном ученом—мученике.

В чем причина такой трагической судьбы? Ярким пламенем вспыхнуть, зажечь русскую общественную мысль, раскрыть перед обществом тайны русской истории, дать правильный ключ к ее пониманию, выступить со смелым протестом против царского самодержавия—и все это для того, чтобы всеми забытым умереть голодной смертью в «Иркутском Остроге».

Афанасий Прокопьевич Щапов всю жизнь неутомимо боролся за народную массу и умер верным своему основному учению, творцом и автором которого он был.

И все-таки он забыт.

Щапов был сибиряком только по происхождению; во всем остальном Щапов был ссыльно-поселенцем, «навозным» в Сибири элементом, человеком, который хотел бы, на подобие других ссыльных, петь песню: «Ночевала тучка»...

Прикованный цепями самодержавия к своей родине, он стремился оттуда возможно скорее уехать. Родина для него стала тюрьмой. Приглядевшись к лицу своей родины и видя в ней господство приобретательских, буржуазных наклонностей, царство сибирских *толстосумов*,—*он отказался от этой родины*. Другая родина рисовалась Щапову в тумане будущего—родина кооперативной взаимности.

Щапов говорит, что «Сибиряки более корыстны и буржуазны, чем великорусский народ»... «Как буряты, так и русские сибиряки весь ум полагают в «хитрости», в лукавстве, в искусстве ловкого буржуазного обмана и эксплоатации людей бесхитростных, простаков, в ловком шельмовском перехитривании друг друга в делах корысти и приобретения».

«Жить умственно, по выражению и понятию сибиряков, значит расчетливо думать только о наживе, не задерживать денег без прибыли, вообще хитро, ловко уметь наживать деньги. «Умственный» или «умнейший» человек на языке их значит хитрый и расчетливый приобретатель, домохозяин. Слово «добро» на языке и в понятии

*) Кладбище на Знаменской горе в Иркутске.

сибиряков значит: «интерес, польза, выгода». Они говорят: «конь добрый, собака добрая, работник добрый»,—что значит в переводе с их языка: «сторожливая и полезная собака, дюжая и полезная рабочая лошадь, полезный или за малую плату большие выгоды приносящий работник».

Щапов совершенно правильно охарактеризовал Сибирь. Своим замечательным чутьем историка Щапов выводит все поступки и мораль сибирского общества из побуждений корыстных и приобретательных. Даже язык буржуазного сибирского общества отражает своекорыстие, приобретательные мотивы.

«Гуманность, честность и справедливость наибольшей части сибиряков кажутся глупостью, простофильством, исключительными свойствами и отличительными признаками дураков».

Как видим, Щапов дает убийственную характеристику сибирского общества. Он, не вполне сознавая это, давал характеристики не сибирякам, как особому этнографическому типу, а Сибири, где царствовал хищнический торговый капитал и царский сатрап.

«Какой барыш городу»—говорили члены Иркутской городской думы, —«какая прибыль давать даром деньги на публичную библиотеку. Ее надо закрыть, потому что она не оправдала себя».

Во время Щапова сибирская буржуазия находилась еще в своей животной, чисто зоологической стадии. Грабеж, не прикрытый никакой моралью, был единственным руководящим принципом общественной и государственной жизни. Щапов об'ясняет развитие ярко выраженных буржуазных тенденций следующим образом: «Надобно заметить, что, сверх недостаточности нервно-мозгового или умственного развития сибирского населения, сверх тяжелой индивидуально-трудовой борьбы его с трудно-доступной природой в добывании средств жизни, сверх неблагоприятного нравственного влияния азиатско-инородческого элемента, и самые естественно-исторические условия хозяйственного и нравственного развития сибирского населения благоприятствовали сильному поддержанию и господству буржуазных наклонностей».

Развитие общественных классов в Сибири шло вместе с развитием хозяйства. Щапов, как известно, придавал большое значение процессу колонизации. Колонизация Сибири, по мнению Щапова, может быть разделена на два периода.

1) Период звероловный, характеризующийся преобладанием бродячего населения.

2) Период развития городской торгово-промышленной оседлости и жизни, отличающийся зачатками коммерческо-буржуазных понятий и стремлений.

Вслед за открытием Сибири и рассказами о ее сказочных богатствах нарастает волна населения в Сибирь. Шли в Сибирь люди разных классов и состояний: «чернь» бежала от налогов и гражданского неустройства Московского Государства, «торговые люди» шли в Сибирь, как рыцари легкой наживы. Придя в Сибирь, весь этот сброд, хозяйственно настойчивый, ничем с Сибирью не связанный, пошел по линии наименьшего сопротивления: уничтожения,—хищнического, бесистемного,—естественных богатств Сибири и в первую очередь пушного зверя. Наряду с ловлей шла ловля, в буквальном смысле слова, инородческого населения и обращение его в рабство. Дорогу в новые места прокладывал хищник, зверолов, а за ним шел чиновник, закреплявший в определенные государственные формы «звероловческие» способы сибирской колонизации. Период первоначальной колонизации усеян бесчисленными грабежами туземного населения. Грабеж и завоевания, побудительным мотивом которых был тот-же грабеж, были факторами первоначального накопления капитала. Процесс первоначаль-

ного накопления капитала привел впоследствии к образованию класса торговой буржуазии.

«К концу XVIII столетия»,—пишет Щапов,—«все чаще и чаще стала высказываться и русскими и ясашными людьми жалоба, что соболь то там, то здесь опромышлялся, и вот вследствие этого, торговые и промышленные люди стали все более и более выходить с промыслов и торгов и собираться в городах. Здесь одни из них на вырученные с бродячих промыслов и торгов пожитки скупали по деревням хлеб и заводили в городах хлебную торговлю, другие принимались за покупку и продажу разных привозных из России и с ярмарок товаров, третьи отыскивали разные минеральные произведения сибирской природы, устраивали различные заводы и промыслы и пр.».

Так складывался хозяйственный организм Сибири. Естественно, что промышленник-зверолов, выйдя из первобытной тайги, устраивал свою общественную жизнь, согласно своим звериным, лесным принципам.

И в эту обстановку, где господствуют зоологические принципы общественной жизни, *попадает человек, который мечтает о «кооперативной взаимности»*, об «антропологo-социальном» возрождении, об устройстве хозяйственной жизни на артельных началах, о «борьбе высшей нервной силы с темными, эгоистически-приобретательными инстинктами общественной жизни».

В некоторых его произведениях чувствуется бред погибающего, разбитого в жизненном бою одиночки, восставшего против основ буржуазного общества. Его антропологo-социалистические идеалы, которые он развивает в статьях из Иркутской ссылки, есть уже, в сущности, не что иное, как бессилие против слепых животных инстинктов буржуазного общества. Умирающий духовно и физически, Щапов верит, что «за этим почернело-свинцовым традиционно-историческим крестом общечеловеческого страдания, распростертым пока по всей земле,—все сильнее и сильнее с революционным ропотом и движением начинающаяся борьба нервной силы, борьба сознания и чувства человеческого с самым деспотизмом физической природы, бесчувственным, железным и с деспотизмом историко-традиционного рока, созданного еще первобытными зоологическими чувствами и бессознательным невежеством животных сил человеческой природы».

Щапов пытается найти конкретный выход из этого «бессознательного невежества животных сил человеческой природы» при помощи двух сил. Первая—система воспитания.

«Высшая педагогика, основанная на антропологических началах, на познании истинных потребностей и законов человеческой природы, требует уже воспитания не эгоистических корыстолюбцев и честолюбцев, а людей с высшими благородными чувствами, убеждениями и стремлениями, относящимися к высшему социально-психическому прогрессу человеческой природы».

Вторая, призванная изменить сибирское общество, сила—это разнообразные хозяйственные ассоциации и артели: они должны противодействовать развитию и господству эгоистически-приобретательских наклонностей кулаков-монополистов и эксплоататоров и насаждать в народе «высшее понятие и чувства кооперативной взаимности и солидарности».

В начале статьи Щапов жалуется на тяжесть провинциальной жизни и условий научной работы в ней.

«Кто не испытывал, тот не может и представить себе, чего стоит быть писателем в провинциальной глуши, где-нибудь в Дауро-Монголии или Якутске, где вокруг случайно заброшенного мыслящего человека все спит глубоким сном бессознатель-

ной жизни, где ничто не шевелит человеческой мысли и не возбуждает ее к деятельности. Ни притока новых впечатлений, ни обмена мыслей, ни книг, ни образованных людей—ничего нет для мыслящего человека в нашей мертвой и пассивно неподвижной провинции».

«Провинциальная пустыня, мертвое царство снов и призраков нуждается в самом разностороннем исследовании.

«Совершенно не исследована природа, ее ископаемые богатства, богатства почвы, разнообразные естественные возможности для развития промышленности и пр. Народ, сидя на богатствах, не знает, как их использовать вследствие полного отсутствия естественно-научных знаний.

«Идеалы русской литературы и общественной мысли, чередуясь во времени, совершенно не затрагивают основ жизни.

«Жизнь тащится сама по себе, а надежды и стремления мыслящих людей—сами по себе».

Причина бессилия идеалов, по Шапову, лежит в непонимании современным обществом основных движущих мотивов истории.

Идеалы современного общества построены на абстрактных измышлениях в то время, когда основная ось жизни—это вопросы материального бытия. Иначе сказать,—программа общественного прогресса должна вытекать из конкретных материальных потребностей самого народа.

«Отчего эти идеалы для всех огромнейших провинциальных масс проходят неуловимым голосом вопиющего в пустыне? Подумаешь, да вглядишься в действительный омут провинциализма,—и невольно задаешься вопросами: да в идеалах ли, в теориях ли заключается та искомая сила, которая должна пробудить и обновить громадный мир русского народа? Бесспорно, что идеалы действуют благотворно на умственное направление и энергию образованных или учащихся молодых поколений. Да ведь пора же не забывать и ту черную рабочую массу, которая в истории так долго и так бессмысленно была забыта, а между тем она составляет главную громаду, почти все содержание России, меньшинство перед ней ничтожно».

«Не идеалы и вообще не теоретический путь, а экономический утилитаризм есть, на первой поре, лучший путь для того, чтобы мало-помалу ввести рабочие массы в естественно-научную область реализма».

Следующий тезис характеризует Шапова, как утописта. Нащупавши совершенно верную исходную точку в освещении основных вопросов истории, Шапов сбивается на утопический лад. Чтобы низы, народ, пошел за образованным меньшинством, ему нужно на деле, параллельно с улучшением (их) материального быта, показать пользу естественно-научного просвещения.

«Идеалами и даже школами массы никогда или, по крайней мере, чрезвычайно долго не ввести в великий храм естественно-научного реализма. Для рабочих масс лучшими проводниками и училищами реальных идей и знаний, могут быть: 1) фабрики и заводы, устроенные на рациональных естественно-научных основах, с возможными естественно-научными училищами при них, с химическими лабораториями, с механическими и техническими заведениями, с естественно-научными библиотеками и пр.; 2) разнообразные экономические ассоциации, имеющие целью прилагать естественно-научные знания, идеи и теории к усовершенствованию разнообразных отраслей народной экономической ассоциации: агрономические, акклиматизационные, скотоводческие, фабрично-заводские или технологические, ремесленные и пр.

Итак, массу нужно деловым путем убедить, как хорошо жить на основе естественно-научного реализма. Нужно в рамках полукрепостнической, полубуржуазной страны насаждать совершенные экономические ассоциации...

Описывая тяжелое житье рабочих по сплаву и рабочих на Енисейских приисках, Щапов видит причину их тяжелого положения в их умственной «неразвитости, непаходчивости, недодумчивости».

— Вы бы подумали, нельзя ли нам путем сбережения составить складчину и артель и самим на судах плавать на низ Енисея за рыбой и пушниной.

— Где уж, — сказали рабочие в один голос. —Никак не приходится нам это дело: первое—нам нечем начать, нечем завод завести, а второе,—ты видишь, между нами нет никакого согласия, видишь, как мы то и дело ссоримся да бранимся из-за пустяков.

Вывод один и тот-же, что и в целом ряде других мест творчества Щапова: «Массу нужно деловым путем убедить, как хорошо жить на основе естественно-научного реализма». Как в деле воспитания нужно применение высших принципов педагогии, так в хозяйственной жизни нужно убеждение в разумности и хозяйственной целесообразности кооперативных форм хозяйствования. Ключ к социальным преобразованиям лежит в сознании общества. Масса не идет по пути высших кооперативных форм только потому, что она их не знает или не убедилась в их превосходстве. В этом смысле проповедь Щапова о кооперативных формах хозяйственной жизни является прямым отголоском великой проповеди хождения в народ. Щапов отдавал дань революционной эпохе. Но для нас сейчас неважно, что Щапов, в сущности, противоречит сам себе: начавши с отрицания идеалов, которые существенным образом не затрагивают и не исправляют народную жизнь и даже больше того—отскакивают от нее, как горох от стенки, -он в конце-концов возвращается к идее о целительной благотворной силе «идеала». Масса, в представлении Щапова, должна быть об'ектом воздействия со стороны тех лиц, которые поняли громадное значение антрополого-социалистических идеалов. К социальным воззрениям Щапова мы вернемся еще позднее. Сейчас для нас важно, что Щапов перед сибирским обществом рисуется, как социалист, отрицающий систему буржуазного хозяйствования. Не будучи политиком, не умея ставить перед собою программы чисто практической деятельности, да и не имея для этого какой-бы то ни было возможности, Щапов горел ненавистью к разлагающей среде сибирского общества.

Мысль Щапова работала в направлении социального преобразования общества. Темную мужицкую массу Щапов хотел поднять до идеалов кооперативной взаимности и освободить ее от власти сибирских толстосумов.

Щапов на полстолетие раньше поднял вопрос о социальном преобразовании общества, и поэтому он должен был остаться трагической одиночкой. Рядовая масса не могла его понять, вследствие низкого уровня своего развития и по отсутствию ясно сознанных классовых целей. Смерть Щапова застала его всеми покинутым и в его могилу легли вместе с ним идеалы кооперативной взаимности для того, чтобы воскреснуть в научной теории классовой борьбы.

II.

Нам сейчас предстоит раскрыть центральный пункт учения Щапова—содержание областнической теории. В одной из первых лекций в Казанском Университете Щапов осветил сущность своей теории.

«В настоящее время,—говорил он,—уже утвердилось убеждение, что в истории главный фактор есть сам народ, дух народный, творящий историю, что сущность

и содержание истории есть жизнь народная. Эту идею уже начали проводить и в науке Русской истории. Но вот другое начало, на которое еще не обращено должного внимания в нашей исторической науке, начало провинциализма **областности,** если можно так выразиться. У нас доселе господствовала в изложении русской истории идея централизации; развилось даже какое-то чрезмерное стремление к обобщению и систематизации разнообразной областной истории. Все особенности, направления и факты областной исторической жизни подводились под одну идею правительственно-государственного, централизованного развития. С эпохи утверждения Московской централизации, в наших историях очень отвлеченно говорится о внутреннем быте провинций; но не раскрываются в частности разнообразные историко-этнографические, юридические, вообще бытовые особенности каждой отдельной области или группы однородных территориальных округов, местных общин; не изображаются в надлежащей мере местные, политические, моральные и физико-географические условия их внутреннего развития и быта. Местное саморазвитие, внутренняя жизнь областей оставляются в стороне, или ставятся на втором плане, а вместо того на первом плане рисуется политическая деятельность правительства, развитие централизованного устройства и быта России, биографии царей и пр. Между тем, нам кажется, ни в одной Европейской истории так не свойственно, не приложимо подобное изложение, как в истории обширнейшего в свете государства русского.

Русская история, в самой основе своей, есть по преимуществу история областей, разнообразных ассоциаций провинциальных масс народа—*до централизации и после централизации.*

С этой точки зрения даже вся русская история представляет не что иное, как историческое развитие и видоизменение областных общин в двух последовательно-преемственных формах».

Щапов пишет не историю государства, т.-е. политического организма, закрепляющего уже известные формы материальной жизни, а историю народа, его материального устройства, приспособления к естественным условиям природы, форм общественных связей, возникающих на почве колонизационного самоустройства и пр.

Не цари и бояре, не герои, не высшая идея, ниспосланная для воплощения в конкретных исторических актах—являются об'ектами его исторического исследования. Щапов, прежде всего, ставит вопрос о материальной стороне существования народа. Русское государство могло возникнуть только в процессе многовековой борьбы народа за свое материальное бытие. Об'яснения того или иного исторического факта надо искать в материальной среде.

Всю историю, как науку, Щапов ставит на голову. Он не исследует историю страны в процессе выявления идеи централизации, а, наоборот, следит шаг за шагом, как складывалась материальная жизнь самого народа, какие политические идеалы он «выкорчевывал» в процессе своего колонизационного самоустройства и расселения. Народ, прежде всего, хотел есть, и поэтому чисто физическая борьба за существование была определяющим фактором истории народа. Формы общественной жизни складывались в процессе борьбы за кусок хлеба.

Читатель может сказать, что такая элементарная истина не нуждается в длинных комментариях. Однако, несмотря на чрезвычайную простоту ее, многие еще по сие время склонны гоняться за иными, совершенно противоположными историческими схемами.

Современная история, как наука, еще не вышла на торную дорогу материалистического научного метода.

Нужно почаще повторять, что главным определяющим моментом в истории

страны является борьба за материальное существование и тогда мы избежим методологических ошибок.

Для того, чтобы ответить на вопрос, почему русская история была историей различных ассоциаций провинциальных масс народа—необходимо предварительно осветить неоднократное повторение Щаповым положения о чисто физических условиях борьбы за материальное существование. Народ русский более, чем народы Запада, находился в зависимости от естественных условий природы.

«Воспитанный в вековой сфере непосредственно натуральной экономии и промышленности, в одних деревнях бобровничьих, бортничьих, рыболовных, пастушеских и хлебных и не зная других форм поселений, основанных не на одной естественной экономии животной природы, а на индустриальной интеллигенции и образованности, привыкши к беспечному расхищению произведений или даров природной экономии и, таким образом, доведши себя до крайней бедности и необходимости влачить потом жизнь гуляющих людей, захребетников, наемных и кабальных работников, услужников и т. п.,—народ не развил в себе индустриального смысла, умения знаний, промышленной самостоятельности, самонаходчивости, не знал новых промыслов, не мог вдруг устроиться в новых фабрично-заводских и мануфактурно-промышленных поселениях и поневоле пускался на самые жалкие, бродячие промыслы, вроде суздальских ходебщиков, рязанских бердовщиков, бурлаков и еще хуже.

«Народ в процессе своей борьбы за материальное существование, не будучи вооруженным занятиями, идет по линии наименьшего сопротивления. Допустим, что соболь составляет доходную статью какого-нибудь кочевника и тогда в процессе своего материального устройства—этот кочевник попадал под власть соболя: он гнался за ним все дальше и дальше, пока не доходил до естественных пределов географического распространения соболя. Пределы поселений определялись местами распространения естественных богатств природы.

«При огромности пространства, умственные и физические силы населения неэкономно и непроизводительно тратились в пространстве. В течение 9 или 10 столетий русский народ едва мог справиться с пространством, завладеть им всем, пройти его от Карпатов и Днепра до восточного океана. 7 или 8 столетий он напрягал силы на одни географические разведки и открытия, на приискание новых земель, на завладение огромным пространством, на переходы, странствования и блуждания по нем, в качестве новопришлых, гуляющих людей, сибирских странствователей, казаков и служилых людей на одну росчисть, раздел лесных пространств, на распространение починков, деревень, сел, слобод, посадов, сторожевых и станичных линий, станов и ямов, острогов и зимовей и пр. На это народ русский потратил много сил и времени в ущерб интеллектуальному развитию и умственным занятиям. Оттого произошел его умственный застой».

Естественные желудочные потребности и побуждения гнали массу народную по пути географического распространения. Слепые стихии природы и ее естественные богатства господствовали над сознанием человека.

Законы распространения флоры и фауны в одинаковой степени господствуют над материальным устройством некультурных масс населения, всецело подчиненных зоолого-географическим условиям среды.

«Охотничьи племена, движимые потребностью пищи, одежды и защиты от влияний климата, в своих способах искания средств для всего этого, а вследствие того и по самым поселениям своим, почти всецело входят в общую зоологическую область среды, в состав целого животного мира. Поэтому и самое географическое распространение их племенных поселений получает характер общего географического распространения фауны или животного царства, и всецело зависит от зоолого-географических

условий. Они, подобно зверям, живут, по выражению нашей начальной летописи, «звериным образом» в лесах и горах, бродят и гоняются, как звери, за добычей животной пищи, едят всех без различия зверей, ведут со зверями борьбу за существование так же, как и сами звери ведут ее между собой и охотниками».

Но охотничьи племена—первоначальная, самая низкая зоологическая стадия исторического развития. Охотники постепенно становятся пастухами.

«Ум диких пастушеских племен опознается в общей сфере зоолого-географической среды, опознается в общем пространстве лесной и горной природы, в общей области животного царства. Вследствие этого номад-пастух, во-первых, распознает и различает индивидуальные формы и типы географические, выходит из лесов и выбирает те или другие более удобные степи, долины речные или горные равнины и, таким образом, хотя немного концентрируется в известной местности, делается господином известного, определенного пространства или географической области; во-вторых, выделяется из общей зоологической среды, выбирает известный, наиболее нужный ему круг животных и, таким образом, становится хозяином известной зоологической группы или животной породы».

Пастушеские племена, укрепляясь в определенном районе, подчиняя себе тем самым пространство, постепенно приобретали навыки земледельческой оседлости. Оседлая земледельческая жизнь является значительным шагом по пути культуры.

Наконец, самая высокая ступень культуры—индустриальная промышленная жизнь.

Описывая переход от пастушества, Щапов приводит проповедь северо-американского вождя:

«Разве вы не видите, что белые живут хлебом, а мы мясом. Что мясу необходимо 30 месяцев для того, чтобы дойти до надлежащего возраста, и к тому оно встречается еще редко. Что каждое из удивительных семян, ими засеваемых, им приносит в 100 раз больше. Что у мяса 4 ноги, чтобы скрыться от нас, а у нас их всего две. Что семена остаются на том же месте, куда их сеют белые люди. Что зима, представляющая для нас время самой затруднительной охоты, для них есть время отдыха. Поэтому, я говорю каждому, кто меня хочет слушать, что раньше недели деревья над нашими головами увянут от старости и раньше, чем кленовое дерево в долине перестанет нам давать сахар, раньше этого времени, говорю я вам, порода хлебопашевцев уничтожит породу мясоедную, если последняя не решится приняться за земледелие».

Земледельческую жизнь Щапов совсем не склонен идеализировать: он подходит к ней с таким же аналитическим методом, как и к другим видам материального устройства. Он считает, что только та страна достигает цветущего состояния, в которой развиты промышленность и ремесла.

Характерная особенность русского народа состоит в непропорциональном напряжении физических сил народа по сравнению с умственными.

«Всякое напряжение физических сил народа в колоссальных завоеваниях земель на Востоке и Западе (от 18.000 до 392.000 кв. миль), в тысячелетие распространений колонизаций и агрикультуры среди лесов и болот, в борьбе с финскими и турко-монгольскими племенами, в пассивной борьбе с суровой северной природой, в войнах с Западом, Польшей и Турцией—все это богатырское напряжение физических сил народа, естественно, оставляло мало места для развития умственных сил».

«Незатейливость умственно-индустриальной изобретательности» приводила к преобладанию промыслов, наиболее доступных физическому напряжению.

Доступность промыслов определялась естественными условиями природы. При-

рода определяла хозяйственную физиономию населения: развитие промыслов шло по линии наибольшего благоприятствования природы.

Этим об'ясняется, что хлебопахатная колонизация была наиболее мягким и доступным способом хозяйственного устройства. Первоначальные пути земледельческих поселений шли по местам природных месторождений хлебных злаков. Русский народ шел на борьбу с природой в рукопашную, только со своими мускулами и вот эта чисто мускульная борьба заставляла его захватывать все новые и новые пространства до тех пор, пока он не дошел до естественных пределов расселения.

В заботах о материальном обеспечении и устройстве народ вынужден был приспособляться к разнообразным климатическим, почвенным и иным условиям. Характер района или области налагал неизгладимый отпечаток на физические, материальные условия существования народа.

Поэтому каждый район в смысле хозяйственном выделялся в самостоятельную обособленную единицу с характерными для того района признаками. На почве характерных для каждой области материальных условий нарождалась общественная жизнь области.

«Каждый физико-географический оаз налагает свой естественный тип или отпечаток на самые основы и постройки поселений. Понятно, поэтому, что для ближайшего всестороннего и подробнейшего изучения историко-географического распределения и земско-хозяйственного устройства русского народонаселения нужно предварительно элементарное историческое изучение его географического распределения и экономического устройства по частям или по различным географическим оазам, областям и сферам, естественно-продуктивной экономии природы, чтобы потом в связи с дальнейшими исследованиями других культурно-исторических актов народной организации и деятельности составить общий философический взгляд на историческое развитие русского народа».

Чтобы, следовательно, понять историю народа, нужно обратить прежде всего внимание на об'ективные условия его материальной жизни, причем «философический взгляд» на историческое развитие народа должен базироваться на особенностях экономического развития страны. Процесс оформления материальной жизни народа привел к многовековой борьбе с пространствами, лесами, непрестанному колонизационному самоустройству на новых местах, борьбе с туземным населением и проч. Вот эта борьба за жизнь, за материальную культуру—составляет главное содержание русской истории. Государство, с его меняющимися формами, было фактором производным, причем не содействующим, а противодействующим естественному развитию народных масс.

Центр народной жизни лежал в области, поскольку она была главной ареной борьбы за материальное существование.

Все попытки центральной власти задушить самодеятельность областей, подчинить их приказно бюрократическому строю постоянно натыкались на пассивное или активное сопротивление областных масс народа.

Областная жизнь была проявлением народной самодеятельности и инициативы.

Областные провинциальные массы народа в процессе борьбы за свое материальное существование выработали трудовое-материалистическое миросозерцание. Правда, материализм трудовых масс народа носил своеобразный полурелигиозный, полумистический кафтан, соответствовавший уровню их культурного развития, но это был несомненно материализм. Святых угодников, догмы византийского православия всякого рода поверья были приспособлены, переработаны на материалистический лад.

«Для того, чтобы знать, какие умственные и нравственные болезни лечить в народе *посредством просвещения*, —говорит Шашов,—занимающиеся историей русской

жизни и литературы с своей стороны также должны, во-первых, приводить в ясность ту сумму разнообразных понятий в природе и физической жизни человека, какую накопил наш народ в своем миросозерцании в течение тысячелетней жизни». В своих «исторических очерках народного миросозерцания и суеверия» Щапов пишет своеобразную историю и географию народного миросозерцания. Беря в качестве материала воззрения народа на мир религиозные представления, суеверия, заклинания, Щапов показывает уровень духовной культуры простого преимущественно земледельческого населения. По этим очеркам можно судить об особенностях народного миросозерцания и тех условиях, которые порождали его характерные признаки. Масса трудового населения, воспринявших христианство в его византийско-православной оболочке, осталась в своих воззрениях на жизнь и на мир почти в том же языческом состоянии. Причем святые и угодники, ангелы и архангелы имеют своей основной целью помочь народу в его жестокой борьбе с природой. Религия простого народа носит практический утилитарный характер: религия, в отношении народа, не что иное, как своеобразный «комитет содействия» материальному самоустройству населения. Святые и угодники имеют свою производственную функцию: они должны помочь народу побеждать стихию. При темноте и безграмотности населения, при отсутствии естественно-научных знаний народ выковывал в умственной борьбе свою производственно-утилитарную религию.

«Народ русский,—пишет Щапов,—при своем практическом характере, смотрел на святых большей частью с натурально-практической точки зрения. Он представлял, что святые назначены быть ему помощниками в борьбе со стихиями природы, поддерживать его физическое, моральное благосостояние и ждал от их чудес существенной житейской пользы».

Трудящиеся, находящиеся в условиях постоянной борьбы за существование, масса населения, независимо от своего сознания, инстинктивно воспринимает явления окружающего мира материалистически.

По ассоциации провинциальных масс народа не только боролись с природой за свое материальное существование, но они еще отстаивали свою областную земскую самостоятельность.

Первичная древняя форма областной жизни **особно-областная.** «Характеристические черты ее областности очевидны: первоначальное вольно-народное колонизационное самоустройство каждой областной общины по особой речной системе или на отдельном волоке; общее стремление областных общин к особности, к колонизации: местное, большей частью разноплеменное, историко-этнографическое самообразование каждой областной массы населения; местное вечевое самоуправление **земско-советов»,** самобытное местное федеративное взаимодействие и местно-удельная междуусобная борьба областных общин.

Вторая форма—соединенно-областная. Великая розня областных общин в смутное время привела к необходимости быть в соединении.

«В смутное время областные общины наши выразили три великих принципа областной народной жизни. Во-первых, выразили принцип федеративной союзности: по собственному их выражению, они захотели быть между собою в любви, в совете в соединении. Во-вторых, областные общины выразили во время своей розни принцип местной областной совещательности. Это начало проявилось в областных земских советах... Наконец, народ наш в смутное время выразил, хотя инстинктивно, потребность всеобщего земского народосоветия через выборных добрых, лучших и разумных людей, потребность земских соборов».

Смутное время было периодом распада Московского Государства на самостоятельные области. С периодом окончания смутного времени начинается постепенная

централизация, выразившаяся впоследствии в приказно-демократические формы империи. Области, выросшие на основе земского колонизационного устройства, были окончательно уничтожены: могучий протест низов был ответом на приказно-бюрократический гнет императорской власти.

«Чем так изумительно-живуча, могуча и энергична—спрашивает Щапов—была старая народная Россия, когда богатырски, героически умирали в Москве со Стенькой Разиным, когда была вешена, резана, изрублена, сживаема, распиливаема?..

«Старая народная Россия боролась и умирала против приказно-бюрократического строя за свою земскую вечевую старину, за областную самостоятельность, за право свободного колонизационного самоустройства.

«А если бы разрыть могилы—архивы старой народной России, если бы разгадать, чего хотел, что закладывал, слагал в своем свободном земском строении в былые вечевые времена, что пережил и что дважды хоронил и под конец с горем-злосчастием схоронил земский великорусский мир—народ в своей старой народной земской областной России, то, быть может, поняли бы мы отчасти эту могучесть, энергию и жизненность борьбы народной, выразившейся в расколе... И вот не знал он в XVII веке горе-злосчастье и пошел **со голытьбою со кабацкою за Стенькой Разиным».**

Когда читаешь изложение Щаповым народных восстаний, протестов, даже челобитных, то чувствуешь, что автор невольно заражается духом этих восстаний, его перо невольно рисует бунты и протесты, как законный ответ народных масс против непосильной гражданской жизни. Щапов хочет сказать, что народ должен был пойти на что угодно, лишь бы вырваться из ужасных тисков дворянской крепостной России.

Образование империи было построено на костях народа, его экономическом разорении и социальном порабощении. Ревизия душ прикрепляла тяжелое крестьянское сословие к помещику и закрепляла государственной санкцией фактически установившееся первенство. Народ, бессильный что либо сделать—побежал. Масса пошла искать по свету новые места, до которых не доставала рука русского самодержавия. Бегство было следствием невыносимого социального порядка. Бежали:

1. Крестьяне от непосильных податей и раззорения.
2. Бежали от ненавистного крепостного ига.
3. Бежали от рекрутчины в разбойничьи компании.
4. Бежали отовсюду из городов и сел, из казарм, даже из школ. Бежали горемычные церковничьи дети из бурс семинарских, потому что больно тяжело было их, по выражению духовного регламента, жестокостное, иноков подобное, житие.

Движение народа было в двух направлениях:

«Одно—движение могучей физической силы, вышедшей из терпения, непосредственно натуральное, буйное движение накипевшего, наболевшего в сердцах народных антогонизма и недовольства,—это просто рьяный, сбойчатый, мятежный порыв несносно сдержанных могучих сил народа к выходу, из-под векового гнета: это **пугачевщина.**

Другое движение тихое, духовно-нравственное, мистико-идеалистическое. Это болезненное выражение угнетенного наболевшего сердца, духа народного, выражение страдальческих чувств народа крепостного, порабощенного, оставленного самому себе, без просвещения, без цивилизации: экзальтация больных сердец, мечтания и грезы больных, разгоряченных экзальтированных фантазий».

«Разбойничество XVIII столетия было каким-то озлобным, свирепым мщением, большей частью направленным на богачей на дворян-помещиков, на начальников. Часто оно было и каким то диким, безразборным разгулом могучей физической силы, жаждавшей простора, кипевшей каким-то неопределенным, неосознанным, злобным чувством мщения. В разбойничестве первой половины XVIII столетия выражалась какая-

то свирепо-мстительная народная реакция таким зверским явлениям, как, напр., бироновщина и разбойничество отчасти тоже было грубым, диким отрицанием противо-свободных, противо-народных элементов в государстве».

Бунт Стеньки Разина и пугачевщина выплыли на гребне могучей волны народного недовольства и отразили собою лучшие надежды и стремления угнетенных масс.

«Словно тучи перед грозой, скоплялись элементы крестьянского недовольства и по временам глухо уж взрывались движениями, предвозвещая страшный громовой грохот пугачевщины. И ложные указы о воле уже пророчили про манифест Пугачева, обещавший наделить народ: «и волей, и землей, и рекой, и травами, и морями, и провиантом, и порохом, и свинцом».

Весь Московский и Петербургский период Русского государства заполнен непрерывной борьбой трудовых масс населения. Эта борьба была скрыта в подполье; она меняла свои формы, но она была и никогда не замерла. Привыкший к свободному колонизационному самоустройству трудовой народ не мог мириться со своим кабальным рабским состоянием.

Щапов следит шаг за шагом за борьбой народа. Его исторические труды правильнее назвать историей народных восстаний XVII и XVIII столетий.

Читатель спросит: как Щапов, проработавший вопрос о героической борьбе областей с Московской централизацией, смотрел на государственное устройство? Иначе говоря, какие идеалы ему рисовались в отношении государственного устройства страны?

Щапов, как уже известно, делил историю областей на два периода: 1) особно-областной, 2) союзно-областной. Великорусские области в смутное время выявили принцип федерации. Этой точки зрения на желательность федеративного устройства он, очевидно, придерживался, как основной своей позиции.

Необходимо так построить государственную жизнь, чтобы принципы централизации и областности были между собой примирены. «Политические идеи, как централизации, так и федерации обе носят в себе здоровое семя жизни. Но, к сожалению, они разрознены и потому не дают доброго плода».

Задача государственного аппарата заключается в том, чтобы суметь в максимальной степени обеспечить трудовую самодеятельность и инициативу массы и вместе с тем не дать ей возможности разбросаться по самостоятельным, обособленным путям провинциализма. Формулой, об'единяющей, примиряющей два высших противоположных принципа; является федерация.

Теперь посмотрим, какое значение в исторической науке сыграл А. П. Щапов. Автору этих строк, как не историку, трудно высказываться о том, какую роль сыграл в истории Щапов. Поэтому мы позволим себе сослаться на человека, имя которого достаточно за себя говорит,—на М. Н. Покровского.

М. Н. констатирует, что Щапов является учителем В. О. Ключевского и учителем хорошим. Но в то время, как ученик приобрел мировую известность, учитель умер голодной смертью в «Иркутском Остроге». «Щапов,—говорит М. Н. Покровский,—делает огромный шаг вперед по пути научного понимания русского исторического процесса, потому его об'яснение образования громадной Российской империи в тысячу раз более научно, чем чичеринская теория закрепощения и раскрепощения. В то время, как чичеринская барская теория сделалась популярной—мужицкая теория Щапова была замолчана. Даже Ключевский, который носит на себе явный отпечаток Щапова, ни слова не говорит о нем. В то же время это был человек, произведения которого были запрещены к выдаче из библиотек.

«Вот вам лишний образец влияния классовых отношений на историю. Барская теория Чичерина стала настолько популярной, что ею заразились Плеханов и Троц-

кий, а теория Щапова покоится на полках библиотеки социалистической академии»*).

«Щапов был почти мужик по происхождению, во всяком случае мелкий буржуа по своему быту сначала нищего профессора, а потом нищего журналиста. Это был мелкобуржуазный интеллигент крестьянского происхождения и не случайно, что помещик Чичерин создал барскую теорию истории, а мужик Щапов—мелкобуржуазную теорию русской истории. Класс трудящихся, в том числе и мелкая буржуазия по своему миросозерцанию почти всегда материалистичны. Наш крестьянин умудряется даже в религии быть материалистом».

М. Н. Покровский считает Щапова нашим родоначальником. Учителем он Щапова не считает потому, что ко многим вопросам Щапов подходил не по-марксистски: «Щапов приписывал экономическому фактору непосредственно природное происхождение: ему казалось, что природа действует на человека прямо. Это точка зрения не одного Щапова, а очень многих до-марксистских материалистов».

Из приведенных цитат из «Борьбы классов» мы видим, какое огромное значение М. Н. Покровский отводит А. П. Щапову, как историку.

В заключение сошлемся на собственные признания А. П. Щапова, сделанные им уже в тот момент, когда взгляды его сложились в цельную систему. Щапов, живя в Иркутске, писал: «Иногда ждешь, ждешь из Петербурга новых книг и журналов, новых материалов для работ и, не дождавшись ничего, невольно предаешься грустным воспоминаниям прочитанных прежде журналов назад тому годов за пять. Переберешь все и в голове образуется хаос идей и теорий, знаменующих наши неопределенные литературные партии, большей частью даже сами для себя необозначившиеся ясно, сознательно. Подумаешь, в самом деле, не мало же было выдумано и у нас разных теорий и все они большей частью одна другую поглощают или уничтожают».

Читатель видит, что взгляды, которые он далее излагает, явились результатом длительного обдумывания.

Основательно разобравши различные течения историко-юридического направления, он пришел к выводу, что все юридические теории, без теории строго реальной и экономической, почти ничего не значат, не имеют основы и почвы для своего осуществления и не могут вести общество прямо к главнейшей цели—экономическому и умственному развитию и совершенствованию.

«Другая теория, ясно высказанная в нашей журналистике,—экономическая. По этой теории, сущность, цель и основа социального развития заключаются в экономическом благосостоянии всех классов общества. Лучшим выразителем этой теории был—переводчик и критик «Политической экономии» Милля —Чернышевский. Эта теория сразу подорвала десятки теорий юридических, органических, почвенных, славянофильских, классических и т. п. На разных языках—славянофильских, классическо-англоманских, русско-летописных, шумными, трескучими, высокоглаголенными всякими фразами трещали и трактовали мы о самоуправлении, о необходимости восстановления Московской старины, излюбленного земского самоуправления времен Грозного, о почве, об органическом развитии, о самопроникновении русским духом, даже о воспитании детей по Нестеровой летописи и проч. и проч. И о чем мы не трещали и чего не словоизвергали? И где то мы не искали счастья русского народа? Каких потребностей и необходимостей не насчитали мы для него, когда он вопил: нет денег, не знаем ремесл и промыслов, нет работы, нет железа, нет соли, неурожай в Вологодской губернии, неурожай в Пермской губернии и т. п. И вдруг светлая, здравая, рационально-экономическая критика и теория возвестили нам: Марфа, Марфа, печешься и молвишь о многе службы, едино же есть на потребу—прежде всего хлеб насущный, прежде всего пищ-

*) М. Н. Покровский.

но, чтобы все были сыты, обеспечены и довольны. Да, подумали мы,—в самом деле, вопрос хлеба есть вопрос жизни и, следовательно, мысли, литературы и науки. От разрешения его зависит и разрешение всех других социальных вопросов. Великие реалисты—естественники, когда мы их стали читать, подтвердили нам эту истину. «Государственное устройство, говорит Либих, социальные и семейные связи, ремесла, промышленность, искусство и наука, одним словом, все, чем в настоящее время отличается человек, обуславливается фактом, что для поддержания своего существования человек ежедневно нуждается в пище, что он имеет желудок и повинен закону природы, по которому должен необходимую для него пищу произвести из земли своими трудами и искусством, потому что природа сама собою не даст ему или даст в недостаточном количестве необходимые питательные вещества. Очевидно, что каждое обстоятельство, каким нибудь образом действующее на этот закон, усиливая или ослабляя его, должно обратно иметь влияние на события человеческой жизни»... Да, пока существует голодное человечество, пролетариат, пауперизм,—возможно-ли, мыслимо-ли, чтобы желудочная машина человеческой природы не была тяжелым тормазом человечества на пути его высшего материального и умственного движения?».

III.

В обычном представлении Щапов считается идейным отцом сибирского областничества. Несомненно, что сибирские областники очень много позаимствовали у Щапова. Схема областнического движения была взята у Щапова. Но во всякую форму можно вложить неодинаковое содержание.

Сибирские областники так и сделали: Щаповскую теорию областничества они переработали, создавши на ней узоры, выгодные для развивающейся Сибирской Торгово-Промышленной буржуазии. В доказательство дадим краткий очерк воззрений сибирских областников.

Областной мотив впервые послышался в 40-х годах прошлого столетия в творчестве автора сказки «Конек-Горбунок» Ершова. Кончая в 1834 году Петербургский Университет, он уже проникнут сознанием необходимости служить родине—Сибири. Жизнерадостный и верящий в свою звезду, юноша едет в Сибирь не простым обывателем, а со следующими романтическими мечтами:

«Пустыни, степи
Лучем гражданства озарить,
Разрушить умственные цепи,
И человека сотворить,
Раскрыть покров небес полночных,
Богатства выпросить у гор
И чрез кристаллы вод восточных
На дно морское кинуть взор».

Но Ершов запел слишком рано, это была первая ласточка областничества, которая не во-время прилетела в суровый сибирский климат. «Богатства выпросить у гор и озарить страну лучем гражданства» Ершову не удалось. У купечества и чиновничества того времени не было никакого желания насаждать гражданство, так как оно было несовместимо с их классовыми интересами.

Купец думал о наживе и спаивании инородцев, а ему говорят о гражданстве и разумной эксплоатации естественных богатств. Такое несоответствие между настроениями поэта и обществом вывстрило юношеские мечтания Ершова. Глухая стена равнодушия сломила поэта и он, постепенно спускаясь с горных высот своих юношеских грез, погрузился в тину обывательского существования. Ершов оказался для Сибири лишним человеком. Судьба Ершова еще раз подтверждает, что личность только тогда

может раскрыть все свои дарования, когда она попадает в классовое русло, когда она органически срастается с определенным социальным пластом и свои силы отдает на служение этому классу. Не учтя своей классовой сущности, личность неизбежно погибает, попадая или в западню суб'ективизма или в тину обывательщины.

Ершов по идеалистическому складу своего ума не понял того, что Сибирь была ареной жестокой борьбы купечества и чиновничества, весь ум свой полагавших в искусстве ловкого буржуазного обмана.

На закате своих дней он должен был сознаться, что жизнь его разбита.

«Желал бы многое из прошлого забыть
И жизнью новою, иною пережить.
По тщетны поздние о прошлом сожаленья—
Мне их не возвратить—летучие мгновенья».

Патриотизм Ершова был бесформенным. Поэт просто любил свою Сибирь. В его воображении проходил ряд картин своего детства и они пленили собою писателя. Программа общественной работы, рисуемая поэтом в своем стихотворении, не ставит конкретных задач Сибири, которые надлежало бы в первую очередь провести в жизнь. Свое суб'ективное чувство любви к Сибири, свои настроения Ершов ошибочно принял за основание для построения программы. Холодного анализа, учета экономической и социальной обстановки у Ершова не было. Знамя сибирского патриотизма, так гордо поднятое поэтом, выпало из его слабых рук. Но время шло.

Буржуазия в Сибири с развитием торговых связей и более тесным общением с Россией начинала чувствовать, что оттуда идет конкурент, вооруженный не только капиталом, но и властью. Колониальная буржуазия, сознавшая свои классовые, колониальные интересы, начинает косо поглядывать на метрополию, с которой она вынуждена делиться своими барышами.

Впервые слово «родина» слетает с языка сибирской буржуазии, при чем в это слово начинают вкладывать определенный политический смысл.

Идеологи сибирского областничества Потанин и Ядринцев дали сибирской буржуазии программу ее действий. Аппетиты сибирской буржуазии и ее стремления получили идеологическое оформление.

Еще с университетской скамьи Потанин и Ядринцев, а вместе с ними много других молодых людей, учившихся тогда в столице, начали разрабатывать вопросы областничества. Общий дух под'ема 60-х годов заставлял сибиряков смотреть из Петербурга на Восток и строить грандиозные планы своей будущей работы в Сибири; увлечение, свойственное молодежи, создало целый период, который можно было бы озаглавить, как **эпоху хождения в Сибирь**, при чем общий первоначальный контур настроений был приблизительно таков же, что и у молодежи, отправлявшейся в народ. Но «трезвый» ум сибиряка вскоре нашел настоящую дорогу для сибирской молодежи.

Романтический налет на сибирской областной программе под действием времени и тюремного заключения сгладился, первоначальные требования приняли более конкретное, чисто сибирское очертание и перед нами оформилось чисто буржуазное течение.

«Когда мы развивались», говорит Ядринцев, «когда другой воздух окружал нас, когда страстное биение жизни коснулось и нас, то мы не могли не проникнуться более сознательным отношением к судьбе нашей родины. В то время в молодом кружке товарищей-земляков появилась мысль о служении нашей родине, о возвращении домой. Доселе большинство окончивших курс в университетах не думало возвратиться и изби-

рало выгодные места вне родины. Их не влекло сюда, они с содроганием вспоминали невежественное общество, отсутствие умственной жизни. Лучшие, образованные силы, ученые, таланты—уже не возвращались более на родину. Мы поняли, что такое абсентеизм. Пылкие, горячие, мы давали клятву возвратиться на родину, служить ей беззаветно и, окончив или не окончив курс в университете, возвратились домой не случайно, но вполне сознательно».

Ядринцев и Потанин, как мы уже говорили, возглавляли идейное движение колониальной буржуазии. Они определенно отмежевывают себя от народников социалистов, указывают на кабинетность их рассуждений, заставляющую мечтать об общине, превратившейся в социалистическую организацию, когда страна не прошла еще первоначальных ступеней хозяйственной эволюции. Они предлагают гостям десерт, которые еще ничего и не ели и у которых в желудке революция от голода. Ядринцев мог бы сказать о себе: «Я не специалист, я реальный политик», сознающий, что социалистическое общество возможно только на базе известных ступеней буржуазной культуры. Из этого он делает следующий вывод: современное ему общество должно возглавляться буржуазией, так как этого требуют законы хозяйственной эволюции. Ядринцев отдает свои силы колониальной сибирской буржуазии и ее политическое и хозяйственное укрепление отождествляет с развитием его родины. Колониальной буржуазии начинает в далеком будущем рисоваться ее самостоятельное политическое бытие в виде сибирского государства, выполняющего общечеловеческую миссию соединения двух культур: восточно-азиатской и западной. Но эта общечеловеческая миссия развивающейся буржуазии мотив не новый. Хищнику важно иметь не только острые когти, но и мягкую поступь и эластичность движений.

У сибирских областников были двойные требования: областнические и общероссийские. Последние выразились, напр., в стремлении к освобождению русской буржуазии от гегемонии дворянского землевладельческого класса.

«Сибирское общество», пишет Ядринцев, «ждет введения земства, нового гласного суда, распространения образования, гарантий личности и лучшего общественного существования. Дарование самоуправления, водворение правосудия и справедливости для этого несчастного края становится тем необходимее, что Сибирь в продолжении всего прошлого существования испытала много притеснений, несправедливостей и неустройств. Общество желает гарантий для личности и защиты от местного произвола. Наши первые и настоятельные нужды—это введение земства, гласного суда, свободы печати и слова, свободы личности, свободы переселений».

(Под этими требованиями во второй половине 19-го столетия мог подписаться и всякий российский буржуа).

Чисто сибирские требования сводились к следующим вопросам: 1) отмена ссылки, 2) борьба с мануфактурным игом метрополии, 3) открытие Сибирского университета, 4) развитие местной Сибирской прессы, 5) вопросы переселения, 6) вопрос инородческий, 7) экономический вопрос об устройстве сибирских финансов.

Постараемся коротко изложить основные пункты программы сибирских областников.

Ядринцев в своей книге «Сибирь, как колония» по вопросу о ссылке пишет:

«Весьма недавно еще с понятием о Сибири соединялось непременно представление о месте ссылки, не более. Заблуждение это доселе еще сохраняется в русском обществе к невыгодам Сибири и задержке ее развития. Огромных усилий стоило в последнее время разубедить русскую публику, что здесь не одно сборище преступников, но довольно давно уже вполне сформировавшееся гражданское население и место для жизни

полноправных граждан. Самая ссылка в гражданской жизни края давно отошла на второй план и приносит не столько пользы, сколько вреда Сибири».

Ядринцев, будучи в Петрограде, будировал вопрос об отмене ссылки. Этот пункт областнической программы является наиболее слабым. В протесте против ссылки в Сибирь Ядринцев смотрел на вопрос с чисто сибирской колокольни, не углубляя совершенно вопроса до исследования социальных условий, нарождавших преступность.

Вторым вопрос своей программы областники ставили борьбу с московским мануфактурным игом.

Потанин пишет, что вопрос об экономическом порабощении Сибири московской мануфактурой—был менее других затронут Ядринцевым. По мнению Потанина, борьба с мануфактурным игом,—это самый сложный мудреный сибирский вопрос, при чем Потанин не отрицает, что больше всего в нем заинтересована сибирская буржуазия. В вопросе о мануфактурном иге рельефнее всего выступает классовая природа сибирского областничества. Московские мануфактурные тузы добились довольно значительных привилегий, ущемивших интересы сибирского купечества и промышленников. Добиться соглашения между московскими мануфактуристами и сибирской буржуазией не было возможности. В этом вопросе затрагивались карманы московских биржевиков и промышленников. «Всякие попытки расположить голоса в правительственных сферах в пользу открытия порто-франко в устьях океанических рек Сибири или уничтожение перелома железнодорожного тарифа в Челябинске, поднимает на московской бирже и в рядах аграриев и хлеботорговцев ропот, который оказывается, понятно, гораздо могущественнее голосов гуманистов, протестовавших против отмены ссылки, или обскурантов, кричавших против Сибирского университета».

В интересах развития отечественной промышленности в Челябинске для сибирского более дешевого хлеба была устроена таможенная застава, ограждавшая интересы российских аграриев на международном хлебном рынке.

Для нас, представителей рабоче-крестьянской массы, очевидно, что вся эта борьба велась из-за обладания доходами низших трудовых масс общества и с точки зрения интересов рабочего класса совершенно безразлично, кто победит: московские мануфактуристы или сибирское купечество. С нашей, рабочей, точки зрения необходимо было ставить вопрос иначе: борьба с московскими мануфактуристами и с сибирскими купцами за установление трудового строя. Сибирские областники делали выбор: они предпочитали, чтобы с сибирского крестьянина и рабочего лучше драл шкуру сибирский купец или промышленник, чем российский мануфактурист.

Сибирской буржуазии, для осуществления своих классовых задач, нужна была своя сибирская, преданная ей интеллигенция, обладающая достаточной квалификацией и знающая край, чтобы умело его эксплоатировать. С этой целью сибирская буржуазия с 60-х годов, в течение 20-ти с лишним лет, ведет усиленную пропаганду за открытие сибирского университета. Сибирская поголовно-безграмотная или малограмотная буржуазия понимала, что ей не выполнить своей «общечеловеческой» миссии укрепления и развития сельского хозяйства. Жизнь становилась сложнее; начиналась конкуренция не только российская, но и заграничная. На эксплоатации инородцев сибирская буржуазия далеко ехать не могла. Нужны были другие более квалифицированные формы эксплоатации, как естественных богатств, так и человеческого труда.

Сибирский университет нужен был сибирской буржуазии, как ее мозг, как научно поставленная лаборатория по всестороннему изучению края. Культивирование любви к своей родине имело ту же задачу оставления в самой Сибири необходимых интеллигентных работников.

Энергия, с какой сибирская буржуазия стремилась открыть сибирский университет, была, своего рода, наглядным доказательством ее классового самосознания, аттестатом буржуазной зрелости. Это прекрасно понимали вожди областничества: Ядринцев и Потанин. Они стремились сделать сибирский университет в буквальном смысле сибирским, т.-е. университетом, тесно связанным с нуждами Сибири.

«Университет,—говорил Потанин,—должен быть школой не только юношества, но и всего общества в данной области; он должен стать руководителем интеллигентных сил области».

Здесь чувствуется определенное стремление сибирской буржуазии использовать университет в своих собственных интересах. Сибирские областники боялись, что сибирский университет будет центральной властью обезличен и лишен необходимой для Сибири физиономии.

Много лет, после открытия университета, Потанин констатировал, что дворянская Россия исказила основную идею сибирского университета: она сделала его чиновничьим, бюрократическим учреждением. По этому вопросу Потанин пишет:

«Только тогда, когда сибирский университет превратится в «мужицкий университет», только тогда исполнится эта заветная мечта Ядринцева, Сибирь получит свою подлинную интеллигенцию, неподкупно преданную интересам местного населения. В настоящее время в средних учебных заведениях Сибири, в ее высшей школе большинство учащихся—дети сибирских чиновников и купцов, а крестьянских детей ничтожный процент. Поэтому естественно, что высшая школа выпускает очень мало сибирских патриотов, ставящих себе в обязанность служить сибирскому крестьянству. Необходимо создать условия, при которых масса крестьянских детей проходила бы через сибирские средние учебные заведения, чтобы юноши из деревень заполнили скамьи университета, и вот только тогда Сибирь не будет иметь предателей, а будет получать из высшей школы образованных бескорыстных и непоколебимых защитников ее интересов, воодушевленных благородною любовью к сибирскому крестьянству».

Из этой выписки видно, что Потанин делает ставку на сибирское крестьянство, как преобладающую часть сибирского населения, которая, по идее Потанина, должна стать основой буржуазного строя Сибири.

Важное значение в теории областничества Потанин признает за обособлением областных финансов.

По мнению Потанина, вопрос о сибирском областничестве разрешится только передачей заведывания народным хозяйством и эксплоатацией естественных богатств Сибири местному населению.

«Централизация власти, распоряжающейся финансами, стягивает в одну точку весь класс людей, правящих производительностью страны. Сюда сбегаются все предприниматели, а за ними и все профессиональные работники, художники и производители умственного труда. Здесь скопляется громадное умственное богатство: высшие учебные заведения, библиотеки, музеи промышленности, искусства и науки, здесь сосредотачивается вся издательская деятельность, вся журналистика, вся артистическая деятельность. Чем обширнее территория, тяготеющая к центру, тем остальное пространство обездоленнее и пустыннее в культурном отношении».

Вопрос обособления сибирских финансов Потанин рассматривает с разных точек зрения и в результате приходит к выводу, что отношения колонии и метрополии исправятся только при условии предоставления колонии права распоряжаться своей судьбой.

Потанин мысленно пробегает через всю историю Сибири, углубляется в особенности ее социального строя, этнографического состава, климата и вообще природы, и в результате говорит об обособлении сибирского хозяйства и финансов.

Потанин пишет, что только в последнее время сибирские областники поняли, какое видное место в сибирской областной программе должен был занять финансовый вопрос. Обстоятельства жизни не давали возможности руководителям областничества основательно ознакомиться с системой построения областного хозяйства. А между тем финансовая и хозяйственная децентрализация есть основа областничества.

Так мыслили сибирские областники. Повторяем, они были искренними, добросовестными агентами буржуазии. Поэтому они не могли относиться к «фантазеру» и «мечтателю» Щапову, как к своему соратнику. Наоборот, они вели с ним идейную борьбу.

Вот как отзывался Ядринцев о Щапове. Прочитавши статьи Щапова о развитии высших человеческих чувств, Ядринцев в письмах к Потанину делится впечатлениями и пишет:

«Сибиряки бесчувственные: квартирантов не уважают, грубы, ставят лошадей к стене, которые спать не дают, а когда барин просит лошадей убрать от стены, не слушают. Сибиряки зубоскалы, сплетники и насмешники».

Так понял Ядринцев статью Щапова: он увидел в этой статье оскорбленное чувство барина. Далее Ядринцев, утрируя тон статьи Щапова, пишет:

«Надо заметить, что я ношу большие растрепанные волосы и иногда, выпивши, произношу то, что именно не нравится народным правам и их религиозному чувству, но должны же они меня ценить».

Переходя от зубоскальского тона к серьезному, Ядринцев отвечает Щапову буквально следующее:

«В общественном дроблении, в выделении рабочего вопроса, в войне местных публицистов против буржуазии, я вижу только опасность розни, разлагающей, обессиливающей и придающей слабость народу, а не силу. Сила—в единении».

Щапов, как видите, стал на путь открытой борьбы с сибирской буржуазией, а Ядринцев оказался в лагере защитников сибирских толстосумов и сторонников единения с ней.

«Что такое буржуазия на Востоке?—спрашивает себя Ядринцев.—Разве она крепкое сформировавшееся сословие, как на Западе? Разве она получила окончательное развитие здесь? Но сила нашей буржуазии еще не проявилась. Наша буржуазия скорее страдает апатией, отсутствием предприимчивости, неумением сознать свои промышленные интересы. Культурная миссия буржуазии еще не начиналась; пусть она группирует, научит рабочих, вливает капитал, создает заводы и фабрики и, кончив эту задачу, уступит место общинной, артельной организации в силу новых условий и новых потребностей. Так, по-моему, ходит история, так она должна идти».

«Итак,—заканчивает Ядринцев,—у нас еще не пробил час войны с буржуазией. Нам, людям интеллигенции, приходится только содействовать и указывать ее культурную миссию—образование промышленности».

Как видим, совершенно откровенная программа служения буржуазии. Буржуазия является прогрессивным классом, и задача интеллигенции—оказывать ей полное содействие.

Приведенные материалы достаточно показывают, что Щапову с сибирскими областниками было не по пути: одни искренне впрягались в колесницу буржуазии, а

Щапов, по крайней мере, теоретически, вставал поперек ее пути. Щапов остался одиноким, физически разбитым, но не побежденным.

Итак, Щапов на родной почве не мог пустить прочных идейных корней. Он дорос до более высоких идеалов социальной жизни. Древо социализма не могло привиться на эгоистическо-приобретательской почве сибирской буржуазной общественности.

Казалось бы, его трагическое одиночество было достаточной гарантией его безвредности. Однако, сообщение о его смерти не было опубликовано, и были приняты все необходимые меры, чтобы имя этого человека было забыто. Между сибирской буржуазией и царскими сатрапами был в отношении Щапова негласный контакт.

А затем новые времена приносили новые песни. Молодость уходила в центры культурной жизни, в Сибирь шла вольная и невольная колонизационная волна и приносила вместе с собой новые интересы. Колонизующаяся страна, страна беспрестанно движущихся человеческих масс, страна без истории, страна Иванов Непомнящих—не могла сохранить память о своих лучших людях, слишком рано поднявшихся для борьбы за идеалы кооперативной взаимности.

Северный Морской Путь.

(Краткий исторический очерк).

В. Н. Васильев.

Сибирь с ее колоссальной территорией, необ'ятной тайгой и урманом, с беспредельным простором своих степей и полей справедливо считается золотым дном России, страной неожиданных и неограниченных возможностей. Богатства ее неисчерпаемы.

Богатейшие каменноугольные месторождения, с огромными запасами угля, подчас весьма высокого качества, имеются повсеместно от Урала до Тихого Океана и от полярного моря до Саян и Алтая. Чукотский полуостров, Приморский край, Лена, Енисейская тайга, Алтай и другие места известны своими золотоносными площадями, иногда с весьма большим содержанием этого благородного металла. Кузнецкий, Абаканский и Приангарский районы хранят в себе мощные запасы железных руд—от поделочных, рельсовых до самых высокосортных. Также повсеместны высокого качества каменная и самосадочная соль. Из других ископаемых водятся также в значительном количестве серебро, свинец, олово, медь и многое другое. Есть основания думать, что имеются месторождения платины, алмазов, радия и т. п.

Значительная часть Зап. Сибири, Степного края, Забайкалья и Минусинские и Ачинские степи представляют огромную площадь плодородных удобных земель, где вызревают лен, конопля и всевозможные злаки весьма высокого качества. При интенсификации земледельческого хозяйства районы эти могут дать столько хлеба, что им можно завалить иностранные рынки. Эти же районы являют благоприятные условия для развития сети фабрик льняных тканей.

Богатейшие пастбища обширных киргизских степей, Забайкалья, Приморского и Уссурийского края и альпийские пастбища Алтая, Саян, а равно луга долин Оби, Иртыша, Енисея и Лены представляют благоприятствующий фактор для развития скотоводства в весьма широких размерах. С успехом могут развиваться разведение рогатого скота, коневодство, свиноводство, овцеводство и др. Этим же обуславливается возможность широкого развития маслоделия, сыроварения, устройства фабрик суконных и шерстяных тканей.

Многие районы южной полосы Сибири являют благоприятные условия для устройства и развития сахаро-рафинадных заводов. Особенно благоприятными в этом смысле являются некоторые места Забайкалья, где к удобствам почвенно-климатических условий присоединяется наличие такой любящей огородное дело рабочей силы, как корейцы.

Необ'ятная тайга В. Сибири и урманы З. Сибири—единственное в мире, по

обилию и разнообразию, царство пушнины. Соболя, черные, красные, сивые и белые лисицы (песцы), волки, белки, куницы, рыси, хорьки, еноты, россомахи, выдры и проч., добываясь в огромных количествах, дают меха, считающиеся лучшими в мире по качеству и являющиеся ценнейшим об'ектом нашего экспорта. Все эти меха вывозятся нами в сыром, невыделанном виде и, по выделке их где-нибудь в Лейпциге, удвоившись и утроившись в ценности, распространяются оттуда по всему миру. Организация выделки шкур у нас дома, что не может представить никаких непреодолимых затруднений, несомненно должна много поднять ценность этого вида нашего экспорта.

Представляют колоссальную ценность и сами по себе необ'ятные тайга и урманы Сибири, богатые строевым и поделочным лесом, лежащие пока втуне и гибнущие от валежа и частых пожаров. Вывоза леса у нас почти не существует, а если и вывозится иногда что, то в необделанном виде, в бревне, т.-е путем, обесценивающим совсем этот вывоз. Введение правильного лесоустройства и лесопользования и организация сети лесопильных заводов для обделки экспортного материала сулят широкую будущность и этой отрасли нашего хозяйства.

Промыслы и рыбные богатства Сибири. Низовья Оби, Енисея, Лены, Амура и побережья Охотское, Камчатское и Сахалинское представляют богатейшие рыболовные районы, изобилующие чрезвычайно ценными осетровыми, лососевыми и другими породами рыб. Рациональная постановка рыболовного дела, устройство сети консервных заводов, холодильников и проч. может опять-таки дать чрезвычайное развитие этого дела, сулящее неисчислимые выгоды и доходы стране.

Наконец, вся необ'ятная территория Сибири изрезана вдоль и поперек мощными водными путями огромного протяжения. Величайшие в мире реки Обь, Енисей и Лена прорезывают с юга на север, поперек всю территорию Сибири, а многоводные и мощные притоки их, переплетаясь и сближаясь своими верховьями, образуют почти непрерывную частую сеть колоссального протяжения водных путей, связывающих друг с другом отдаленнейшие уголки всей огромной страны.

Взятое вместе, все это создает совокупность условий, невольно привлекавших внимание всех на этот богатый, нетронутый край. Сибирь являлась всегда русским Клондайком куда тянулись все, кто жаждал наживы пушнины и золота. Даже самое завоевание Сибири было вызвано этим же стимулом; возможность выменивать ценные соболиные шкурки на простой медный котел в таком количестве, какое укладывалось в него, а то получать их и вовсе бесплатно—являлось, конечно, сильнейшим притягательным средством, привлекавшим сюда первых казаков, а за ними разных охочих и промышленных людей. И не только русских тянуло сюда; к Сибири приковывались жадные взоры и иностранцев. По несмотря на этот интерес и тягу, несмотря на наличие условий, сулящих пышный расцвет сельско-хозяйственной, горной, текстильной, фабрично-заводской, лесной и прочей промышленности, несмотря на содействующее этому наличие мощной сети дешевых водных путей, Сибирь до сего времени остается дикой, пустынной, малонаселенной. Богатства ее лежат втуне, никем не используемые, если не считать имеющихся в зародышевом состоянии кой-каких отраслей промышленности. Иные же ее богатства, как, напр., лес и т. п. просто гибнут и уничтожаются без всякой пользы для кого-бы то ни было.

Почему же при столь мощных ресурсах и благоприятных условиях обширный край этот в течение целого ряда столетий не может развиться и подняться в уровень с другими странами, стоящими много выше его при несравненно меньших данных для этого? Несчастье Сибири в ее замкнутости и изолированности от всего внешнего мира. Огромная страна живет своей внутренней, замкнутой жизнью, не соприкасаясь почти ни с кем, если не считать сношений ее с такими же замкнутыми страна-

ми, как Монголия и Манчжурия. Крайне слабо развитая, да и то лишь в последнее время, сеть железных дорог ни в какой мере не может отвечать потребностям развивающейся богатой и обширной страны. Возможность же использования ее богатейших водных путей, способных, в иных условиях, и без всяких других ресурсов, сами по себе, вызвать огромный рост населения, торговли и промышленности, парализуется тем, что главнейшие жизненные реки Сибири впадают в Северный Ледовитый океан, преграждающий доступ к ним с внешнего мира. Льды арктических морей являются, таким образом, непреоборимой преградой к сношениям Сибири с внешним миром, с иностранными рынками, а через это и к скорейшему культурно-промышленному под'ему и развитию края.

Но действительно ли преграда эта столь непреборима—вот вопрос, который издавна занимал как пытливый ум исследователя, так и предприимчивый дух промышленных и торговых людей, внимание которых привлекалось слухами о баснословных богатствах Сибири ценной пушниной и золотом. И история свидетельствует нам, как в течение столетий предприимчивые и сильные духом люди и той и другой категории настойчиво старались разрешить этот вопрос, жертвуя на это и силы и средства свои, а подчас и жизнь.

Не будем останавливаться подробно на всех полярных экспедициях и попытках проникнуть в устья великих северных рек Сибири со стороны Ледовитого Океана, так как это завело бы нас слишком далеко, в силу обширности материала, а отметим лишь главнейшие этапы в истории героической борьбы отважных людей в течение ряда столетий с суровой природой полярного моря, приведшей в конце-концов к убеждению в ошибочности взгляда, признававшего долгое время практическое использование Великого Северного Морского Пути затеей, совершенно неосуществимой.

В истории плаваний Северным Морским Путем можно отметить несколько более или менее обособленных друг от друга моментов, вызывавшихся разными причинами. Первым и старейшим среди них по времени надо считать период торговых сношений севера Европейской России с г. Мангазеей, в низовьи р. Таза, у Тазовской губы, начало которого теряется во мгле средневековья.

Официальные данные время основания этого города приурочивают к 1601 году. Но дата эта едва-ли верна. Имеется целый ряд данных, позволяющих думать, что возникновение торговли, а следовательно и пункта регулярного торга, должны быть отнесены к значительно более раннему времени. В Новгородских преданиях можно вычитать, что новгородцы уже в XI столетии ходили до Карского моря, из чего, если это верно, можно заключить, что в плаваниях их заключалась определенная торговая цель, которая могла вести их только к устьям Оби и Енисея, ибо никакого иного места они не могли искать через Карское море Профессор Буцинский находит основания считать 1364 г. за точную дату, когда новгородцы ходили Карским морем и через речки полуострова Ямала в Обскую губу и р. Обь и «воевали тамошних инородцев»*). Известно замечание Лерберга о голландских и английских экспедициях 2-й половины XVI и начала XVII века о том, что экспедиции эти избегли бы больших трудов и несчастий, «если бы могли пользоваться гидрографическими познаниями, которые в Великом Новгороде известны были за несколько сот лет до того**). Есть указания, что «жители северной страны для получения мягкой рухляди, как

*) П. Н. Буцинский.—«К истории Сибири». Записки Императорского Харьковского университета. 1893 г. Книга I.

**) С. В. Востротин.—«Северный Морской Путь». Азиатская Россия, т. II, изд. Переселенческого Управления Главного Управления Земледелия и Землеустройства. 1914 год.

прежде, так и по построении г. Архангельска, ездили на р. Обь и до Мангазеи*). В описаниях путешествий английских и голландских мореплавателей 2-й половины XVI века встречаются указания на встречу с флотилиями «иногда до 30 кочей» русских промышленников, направляющихся в устья Оби и Енисея**). Известны грамоты от 1618 г., где говорится о плавании, при царе Федоре Ивановиче, Луки Москвитина на трех кочах к устью Оби и гибели его с людьми «с великие нужи» и плавании в 1610 г. двинянина Кондрашки Куркина с Туруханска к устью р. Енисея и далее, на Восток, к устью р. Пясины***) и от 1600 г. о челобитной пинежан и мезенцев об утверждении за ними права «ездити промышляти и торговати в Мангазею, морем и Обью рекою, на Таз и на Пур и на Енисею*). Наконец, точно известно, что в 1602 г. мученически погиб в г. Мангазее набожный приказчик Василий Мангазейский (причисленный потом к святым), замученный жестоким судьей за то, что во время пасхальной заутрени, когда он был в церкви, была обокрадена неизвестными ворами доверенная ему лавка. Мангазея представляла значительный по тому времени город, в котором были 2 церкви, воеводский двор, съезжая изба, таможенная изба, гостиный двор, торговая баня, тюрьма, заполненные амбары, лавки торговые, суд и т. п. Если ко всему этому принять во внимание, что вообще то покорение Сибири относится к 1581 г., то станет очевидным, что в такой короткий срок, как 20 лет, в те давние времена не мог вырасти целый торговый город на крайнем и глухом севере Сибири, почему приходится признать за более достоверное предположение, что Мангазея и торговля с ней возникли и существовали задолго до официального покорения Сибири.

Достоверно известно, во всяком случае, что в XVI и начале XVII столетий, предприимчивые пинежане, мезенцы и новгородские торгово-промышленные люди проникали из Белого моря со своими товарами и флотилиями в Байдарацкую губу Карского моря, перебирались отсюда волоком, пользуясь реками и озерами полуострова Ямала, между верховьями р. р. «Мутной» и «Зеленой»**), в Обскую губу и проходили дальше, Тазовской губой, к р. Тазе, где процветал в то время торговый город Мангазея, сосредоточивавший в себе всю торговую жизнь обширного приполярного края низовий Оби и Енисея, и куда доставлялась чуть не вся пушнина со всего этого района. Надо заметить, кстати, что в те времена побережье Ледовитого океана в этом районе не было в таком забросе, как то видим мы в настоящее время. В устье Енисея, напр., было не мало пунктов, населенных разным промышленным людом. Даже в устьи такой отдаленной, казалось-бы, от Мангазеи реки, как р. Хатанга, был целый ряд русских поселков, развалившиеся остатки которых еще и поныне можно видеть по обоим берегам устья Хатанги и Хатангской губы.

В Мангазее съезжались как русские приезжие купцы и промышленники, так и торговцы-скупщики местного района: здесь совершался обмен разных привозных фабрикатов на пушнину, кость и т. п. Торговля шла бойко, принимала характер регулярности, а г. Мангазея и весь прилежащий к нему район низовий р. р. Оби, Таза и Енисея пользовались широкой, доходившей чуть не до центра России, известностью и популярностью, как хорошо всем знакомый торговый район. К концу же существования Мангазеи, в устья Енисея, а частью и Оби начинают проникать и суда иностранных предпринимателей и промышленников. Но появление этих иностранных

*) Чулков. «Историческое описание российской коммерции».
**) С. В. Востротин. Ibid.
***) Б. Житков.—«Город Мангазея и торговый путь через Ямал».
(*) А. Вилькицкий.—«Северный Морской Путь». Прилож. к XXXV выпуску «Записок по гидрографии», 1912 г.
(**) См. статью С. Дмитриева в этом же номере.

судов вызвало подозрительность Тобольского воеводы князя Куракина, возбудившего ходатайство о воспрещении пользования этим путем.

Переписка по этому вопросу настолько характерна для крайне неустойчивой и изменчивой политики Московского правительства того времени, что мы позволим себе познакомить с ней читателя в кратких выдержках. В своем донесении 1616 г. князь Куракин сообщает, что существует морской путь из Белого моря в Обскую губу и на Мангазею и что этим путем пользуются как русские торгово-промышленные люди, так и иностранцы, пробирающиеся туда при содействии русских лоцманов. Между прочим, им указывается, что кроме обычного пути существует «другая дорога, с моря, в Енисейское устье большими судами». Ознакомив таким образом с существовавшими торговыми путями, он пишет: «а по-здешнему, государь, по-сибирскому смотря делу, некоторыми обычаи — немцам в Мангазею торговать ездить позволить не можно; да не только им ездити, ино-б, государь, и русским людям морем в Мангазею из Архангельска города для немец ездить не велеть, чтобы на них смотря немцы дороги не узнали, и приехав бы воинские многие люди сибирским городам какия порухи не учинили»*). Ответ на это донесение не заставил себя долго ждать. Ответ Москвы от 26 июля того же года гласит: «Торговым и промышленным людям всех городов и ясашным самоедам и татарам сделать заказ крепкий, чтобы немецких людей на Енисей и в Мангазею отнюдь никого не пропускали и с ними не торговали и дорог им ни на какие места не указывали, а также и торговых и промышленных людей из Мангазеи на Карскую губу, на Пустозеро (Печерский край) и к Архангельску городу пропускать не велели, а велели их отпускать из Мангазеи на Березов и на Тобольск». Вместе с тем было приказано навести справки: «немецкие люди с моря на Енисею кораблями или кочами наперед сего прихаживали-ль торговать, и буде прихаживали, с какими товары и многие-ль люди прихаживали». Этот приказ и запрос Москвы переполошили местных торгово-промышленных людей, и чтобы ослабить эффект Куракинского донесения они решаются начисто отречься от существования какого-бы то ни было пути на р. Таз: «В сыску в Мангазею многих городов торговые и промышленные люди сказали, что из Двинского устья морем в Енисейское устье большими и малыми кочами сами не бывали и изначала про ходоков русских и никаких иных людей не слыхали, а то де они слыхали, что от Мутные реки и до Обского устья непроходимые злые места от Великих льдов и всякие нужы, а у Карские де губы кораблей немецких не видали, а с моря по Енисею кораблями или кочами приход немецких людей не слыхали и на Карскую губу за большими льдами ездити не можно». Вместе с тем, с поражающей наивностью, в противоречие своему отречению, они просят разрешить им по прежнему ездить торговать в Мангазею и обратно «большим морем». Москву, однако, не смутило это несоответствие между сообщением и просьбой торговых людей, и в 1613 г. оттуда исходят новые распоряжения: «из Мангазеи торговых и промышленных людей всех городов отпускать на Русь большим морем и через Камень, а с Руси в Мангазею велеть ходить со всякими товары тоже большим морем и через Камень, как наперед того ходили»**). Куракин, однако, не успокаивается на таком решении Москвы и в 1619 году обращается туда с новым донесением, в котором попрежнему настаивает на закрытии морского пути в Мангазею и в устье Енисея, указывая на возможный для казны убыток от торга проникающих туда иностранцев, что затрудняет взимание пошлины. Ответом на это новое донесение воеводы является в 1620 году уже категорический запрет Москвы на плавание Северным Морским Путем, под страхом смертной казни, подкрепленный установлением на летнее вре-

*) П. Н. Буцинский. Ibid.

**) П. Н. Буцинский. Ibid.

мя таможенных постов (острожки), по 50 человек, на ост. Матвееве и Югорском Шаре, для взимания пошлины с торговцев и промышленников*).

Запретом этим был нанесен непоправимый удар только что наладившейся было торговле. В течение некоторого времени после запрета, плавания, правда, еще продолжались к устьям Оби и Енисея, хотя и под страхом смерти, так как не может замереть сразу наладившаяся уже жизнь. Так, известно, напр., что некий Феодосий Рахманин 5 раз ходил к устью Енисея и обратно. Но это были уже единичные плавания. Год за годом плавания эти редели, сокращались, пока, наконец, не прекратились вскоре совсем. Торгово-промышленное значение города Мангазеи пало, жизнь в нем замерла и исчез смысл самого его существования, а позже он был и вовсе уничтожен пожаром. С тех пор г. Мангазея не возрождался: административно-торговая жизнь была перенесена в г. Туруханск, жители разбрелись кто куда, оставшиеся от пожара остатки строений разрушились и исчезли без следа. Самое же место бывшего когда-то бойкого торгового города, с сохранившейся еще недавно одинокой часовней, является в настоящее время одним из самых малоизвестных мест на земном шаре. Вместе же со всем этим прекратился, а потом и забылся вовсе, и налаживавшийся было Северный Морской Путь, вымер, не передав своих знаний потомкам, кадр опытных лоцманов, а становившееся с каждым годом все более доступным Карское море получило славу чуть ли непроходимого ледника.

Причины, заставившие закрыть Северный Морской Путь и убить город Мангазею с его торговлей, были результатом движения, охватившего Западную Европу в конце XV и в начале XVI столетий. Правительственные и торгово-промышленные круги Европы, наслышавшись о баснословных богатствах Китая и Индии, задались целью в то время отыскать во что бы то ни стало кратчайший путь из Европы в эти страны сказочных богатств. Следствием этого стремления явился ряд замечательных по своей отважности плаваний в южных широтах, составивших целую эпоху в истории и приведших в конце-концов к разновременному открытию Америки испанцем Америго Веспучи и итальянцем Христофором Колумбом, положившим начало новой эпохи в истории Европы. Это же стремление явилось импульсом к организации ряда плаваний в тех-же целях и в северных широтах. Но в то время, как плавания в южных широтах направлялись, главным образом, на запад, через Атлантический океан, плавания в северных широтах направлялись преимущественно на восток, вдоль побережья Европы и Азии, через Северный Ледовитый океан. Этот ряд плаваний в Арктическое море можно рассматривать, как второй момент в истории открытия Северного Морского Пути.

Конкурирующими странами в искании пути на восток вдоль северного побережья Европы и Азии явились, главным образом, Англия и Голландия. Первой по времени экспедицией этого цикла надо считать английские экспедиции 1553 года под начальством англичанина Гуго Виллугбея и итальянца Себастьяна Каббота. Экспедициям этим не удалось проникнуть далеко. Виллугбей с двумя судами — «Esperanza» и «Confidentia» зазимовал на Мурмане, где и погиб с экипажем у устья р. Варзиной. Третье из судов этих экспедиций «Edward Bonaventure» под командой Ченслера вошло в устье Северной Двины, где еще не было тогда г. Архангельска. Ченслер проехал отсюда в Москву, где провел зиму и был принят с почетом Иваном Грозным, после чего благополучно вернулся со своим судном обратно на родину, положив тем начало торговым сношениям России с Англией. Через три года один из спутников Ченслера по этой поездке Стефан Бурроу предпринял новое плавание и достиг остр. Вайгача, откуда вернулся обратно. Бурроу сообщает, между прочим, в ре-

*) И. П. Толмачев.—«Северный Морской Путь». Труды Об-ва для содействи русской промышленности и торговле. Т. XXX. 1912 г.

зультате своего путешествия, что у Новой Земли он встретил русских промышленников, направлявшихся к устью Оби, о которых он отзывается с большой похвалой, как о мореходах, при чем кочи их находит более быстроходными при попутном ветре в сравнении с английскими судами. В 1578 г. была снаряжена новая английская экспедиция «Moscovy Company», погибшая без вести, а через два года, в 1580 г., отправляется еще одна экспедиция, под начальством Пета. Экспедиция эта на двух судах проникла через Карские ворота в Карское море. Сам Пет, встретив здесь льды, повернул обратно. Другое же судно, под командой Джакмана, отделившись от первого, погибло без вести. Есть известие, что около этого времени у устья Оби потерпело крушение одно английское судно, при чем экипаж его был истреблен самоедами. Можно предполагать, что это было судно Джакмана или предшествовавшей экспедиции «Moscovy Company».

Надо думать, что все эти неудачи обескураживающим образом подействовали на англичан и у них наступает на некоторое время как будто охлаждение к отысканию пути в Китай и Индию через Арктическое море. Зато большую настойчивость в этом начинают проявлять голландцы. В 1594 году снаряжается первая голландская экспедиция в этих целях. Под начальством Виллема Барренца экспедиция эта на двух судах достигает северной оконечности Новой Земли и возвращается обратно, натолкнувшись там на льды. Одновременно с этим другая голландская экспедиция, также на двух судах, под начальством Корнелия Ная и Тетгалеса, достигла устья р. Кары, впадающей в Карское море у Байдарацкой губы. Экспедиция эта также вернулась оттуда обратно, но уже по совершенно другой причине. Най и Тетгалес приняли Кару за Обь и признали задачу отыскания кратчайшего пути в Китай решенной, почему им не оставалось уже ничего другого, как возвращаться обратно. В результате этой ошибки голландцами на следующий год снаряжается уже большая экспедиция из шести судов, нагруженных ценными товарами. Но к большому огорчению отправителей, экспедиция кончилась совершенно безрезультатно. Пользуясь указаниями самоедов и встречавшихся при прежних плаваниях русских промышленников, суда голландские проникли действительно в Карское море, но встретившийся тут лед, по избежание риска потери ценных грузов, заставил их вернуться обратно. Тем не менее, в 1596 г. голландцами снаряжается третья экспедиция на двух судов. Одно из них открыло о. о. Медвежий и Шпицберген и вернулось обратно. Другое судно, под начальством Барренца и Хемскерка, проникло в Карское море, где зазимовало на восточном берегу Новой Земли. Экипаж этого судна в следующем году выбрался в Колу, потеряв от цынги и лишений Барренца и трех матросов.

После этой голландской экспедиции происходит небольшой перерыв в плаваниях к устьям сибирских рек, но не надолго. В 1608 г. снаряжается уже новая английская экспедиция, под начальством Гудзона. Экспедиция эта носит характер предварительной рекогносцировки и в августе уже возвращается в Англию, т.-е. как раз в то время, когда Карское море свободно от льдов. В следующем году Гудзон предпринимает, однако, новое плавание туда же, но слишком рано, почему в начале мая находит Новую Землю во льдах, что заставляет его отказаться от попытки проникнуть в Карское море и направиться в Америку.

После плавания Гудзона попытки отыскания пути в Китай и Индию с севера становятся все реже и реже. В истории зарегистрирован лишь ряд следующих плаваний. В 1612 г. голландец Фан Гори доходил до 77 град. с. ш., откуда вернулся обратно из-за встреченного им льда. В 1625 г. экспедиция Корнелия Босмана прошла Югорским Шаром в Карское море, но вследствие той же причины вернулась обратно в пролив, где при поднявшемся шторме потеряла якоря и была вынуждена пойти назад. В 1664 г. и 1668 г. китолов Фламинг обогнул с севера Новую Землю и прошел в Карское море, откуда вернулся обратно, не найдя земли. Имеются известия о

ряде плаваний голландских и иных судов, имевших место в 1666 году, но никаких точных сведений об этом не сохранилось. В 1675 г. китоловы Скаббертер и К. Роуль побывали на Новой Земле. В 1676 г. англичане Вуд и Флевз предприняли плавание на двух судах, из которых одно потерпело крушение у берегов Новой Земли, а другое вернулось обратно.

После плаваний Вуда и Флевза на целое столетие почти прерывается цикл экспедиций, снаряжавшихся к северным побережьям Сибири. Все эти перечисленные более или менее крупные экспедиции, известные в истории и совершенные на парусных судах, были неудачны по своим результатам. Почти ни одна из них не достигла устьев сибирских рек, и надо думать, что был совершен еще ряд плаваний чисто промыслового характера, частично достигавших этих рек, но память о которых не сохранилась в истории, т. к. иначе являлось бы неясным—какое проникновение туда иноземцев переполошило Тобольского воеводу князя Куракина и заставило его так настойчиво добиваться закрытия Северного Морского Пути. Но зато все эти неудачные, большие и известные экспедиции сыграли весьма отрицательную роль в развитии этого пути, распространив в Европе дурную славу о нем и содействовав закреплению взгляда на мнимую непроходимость Карского моря из-за постоянного присутствия в нем льдов.

Если не считать неудачной попытки плавания в 1690 г. Родиона Иванова, потерпевшего крушение у Шараповых кошек, на Западном берегу Ямала, и лишь в следующем году снятого оттуда промышленниками, и плавания в 1741 и 42 г. г. промышленника С. Лошкина к сев. оконечности Новой Земли и в Карское море,—единственным просветом в этом вековом забвении Северного Морского Пути является «Большая Северная Экспедиция», организованная в осуществление идеи Петра Великого при Анне Ивановне и работавшая с 1734 по 1743 г. г. над описанием и нанесением на карту «северных берегов Российских владений». Преследовавшая задачи, не имевшие прямого отношения к Северному Морскому Пути, экспедиция эта сделала, однако, несравненно больше для разрешения этого вопроса, чем все предшествовавшие плавания в Карское море. В 1734 и 1735 г. г. лейтенанты Муравьев и Павлов тщетно пытались пройти Карским морем. Неудача эта вызвала неудовольствие Адмиралтейств Коллегии, и в 1736 г. она заменила их лейтенантом Малыгиным, к которому присоединились лейтенанты Скуратов и Сухотин; усилия этих трех мореплавателей увенчались большим успехом, и с 1736 г. по 1739 г. они успели произвести съемку берегов Карского моря до устья р. Оби, откуда вернулись обратно. Параллельно с этим за время с 1734 по 1737 г. г. лейтенант Овцин, хотя и с великими трудами, проходит водой из Тобольска в Туруханск, нанеся на карту побережье Обской губы, Ледовитого океана до Енисейского залива и самого Енисейского залива. С 1738 по 1740 г. г. штурман Минин, по поручению Овцина, дважды плавал из Енисея на Север, достигнув в первый раз до остр. Диксона, а второй раз до 75 град. северной широты. Наконец, в период того же десятилетия описание северного побережья западной части Сибири пополняется мичманом Челюскиным, за невозможностью в то время проехать морем, об'ехавшим северную часть Таймырского полуострова с суши, на нартах.

Таким образом, за указанное десятилетие, при невероятно тяжелых условиях, борясь с неимоверными трудностями, на совершенно неприспособленных судах, а частью, как мы видели, и сухопутьем—наши моряки с честью справились с беспримерной по тому времени задачей. Результатом этой широко задуманной экспедиции явились единственные для того времени по своей точности и подробности карты и ценные труды вообще по Сибиреведению. Но вопрос о Северном Морском Пути, как таковой, как был, так и остался открытым и забытым и после этой великой экспеди-

ции, явившейся в истории его лишь эпизодом, хоть и значительным и важным, но случайным.

Прерванные в восьмидесятых годах XVII века попытки отыскания Северного Морского Пути, если не считать Большой Северной Экспедиции, возобновляются лишь в семидесятых годах XVIII века, при чем инициатива их на этот раз переходит исключительно к русским. Редкие и немногочисленные экспедиции эти, обнимающие, однако, весьма значительный период времени, можно рассматривать, как третий момент в истории отыскания пути через Северный Ледовитый Океан.

Первыми по времени в цикле плаваний этого периода являются две экспедиции капитана I-го ранга Чичагова в 1765 и 1766 г. г. В оба плавания Чичагов достигал до 80½ параллели и оба раза, не встретив свободной воды, был вынужден вернуться обратно. В 1768 и 1769 г. г. плавал туда же Розмыслов, зимовавший в Тюленьем заливе Маточкина Шара и вернувшийся затем из Карского моря. После плавания Чичагова и Розмыслова вновь наступает перерыв в 40 лет. Начало XIX века (1806 г.) ознаменовывается исследованием ископаемых богатств Новой Земли и составлением карты прибрежной части его. С этого момента, хоть и со значительным перерывом, совершается ряд экспедиций, пытающихся разрешить вопрос о проходимости Карского моря. В 1819 году совершает почти безрезультатное плавание лейтенант Лазарев I-й. В 1821, 1822, 1823 и 1824 г. г. предпринимает ряд плаваний к Новой Земле капитан-лейтенант Ф. Литке, но дальше Новой Земли пройти ему не удается в силу забитости льдами Карского моря. В 1825, 1826 и 1827 г. г. штабс-капитану Иванову и поручику Бережных удается произвести опись берегов Карского моря и произвести съемку восточного берега Ямала до Обдорска. В 1832—1835 г. г. поручик Пахтусов совершает две экспедиции к Новой Земле для производства описи берегов. Одновременно с этим было поручено Кротову на шхуне «Енисей» пройти к устью Енисея через Маточкин Шар. Экспедиция Кротова потерялась без вести. В 1837 году, в целях естественно-исторического исследования, предпринимается экспедиция к Новой Земле академиком Бером. Наконец, в 1838 г. участник Бера по названной экспедиции Циволько предпринимает туда же новое плавание в целях осмотра северного и северо-восточного берега острова, откуда ему не суждено было вернуться: он умер на Новой Земле.

Все перечисленные плавания этого периода, за исключением экспедиции Иванова и Бережных, оказались не только почти безрезультатными в смысле открытия и изучения Северного Морского Пути, но принесли скорее значительный вред его развитию. Снаряжавшиеся, главным образом, в целях исследования Новой Земли и наталкиваясь на льды Карского моря они только способствовали укреплению мнения о непроходимости этого моря. Особенно много содействовал утверждению такого ошибочного взгляда Ф. Литке, находя при каждом своем плавании Карское море затертым льдами, пришедший к выводу, что это его естественное состояние; утвердившись в этой мысли, позже, как председатель Географического Общества, он имел большое отрицательное влияние на ход всех экспедиций его времени, всем своим авторитетом умеряя и охлаждая энтузиазм желающих пуститься в опасное плавание.

Но весь авторитет и уверенность Ф. Литке и других в непроходимости Карского моря не могли угасить дух искания предприимчивых людей и на место выбывших или разочаровавшихся исследователей на сцене истории появляются новые лица. Инициатива продолжения поисков Северного Морского Пути и использования его в целях товарообмена переходит на этот раз от ученых теоретиков и исследователей к практическим деятелям. Энергичными и настойчивыми поборниками рейсов этим путем из Европы в Сибирь в шестидесятых годах прошлого столетия выступают архангельский купец М. Сидоров и известный своим широким покровительством всяким

научным изысканиям и исследованиям в Сибири сибирский коммерсант-промышленник А. М. Сибиряков. Эти два лица предпринимают энергичную агитацию как у себя на родине, так и в Петербурге и заграницей. Не найдя сочувствия и поддержки в официальных аристократических кругах Петербурга, М. Сидоров поднимает широкую агитацию заграницей, главным образом, в Норвегии и Англии. В целях заинтересования плавателей, им назначается премия в 2000 фунтов стерлингов тому, кто приплывет из Европы в устье Енисея. Агитация эта заинтересовывает географические общества и торгово-промышленные круги Англии и Норвегии, и самому Сидорову оказывается заграницей самый радушный и сердечный прием. Призыв же его завязать торговые сношения с Сибирью Северным Морским Путем встретил широкий отзвук. Параллельно с этим, но независимо от Сидорова, в том же Петербурге, Норвегии и Англии ведет настойчивую агитацию, путем убеждений, переписки и субсидирования и А. М. Сибиряков. И в результате настойчивости и энергии этих двух лиц в семидесятых годах прошлого столетия вновь пробуждается интерес к забытому было Северному Морскому Пути и предпринимается новый ряд экспедиций, которые можно рассматривать так же, как особый период в истории этого пути. Мы не будем останавливаться на всех плаваниях этого периода, а отметим лишь некоторые наиболее значительные из них*).

Несмотря на отрицательное отношение к агитации Сидорова и Сибирякова ученых кругов и официально аристократических сфер Петербурга, одним из первых плаваний этого периода явились русские экспедиции лейтенанта Крузенштерна в 1860 и 1862 г. г. В первое свое плавание он сделал небольшой рейс по Карскому морю, откуда ушел в Печеру. Второе плавание его было хотя и более длительно и проник он дальше, но кончилось не вполне благополучно. Продрейфовав довольно долго на шхуне «Ермак» по Карскому морю, он приблизился, наконец, к полуострову Ямалу и, бросив судно, с большими трудами перебрался с экипажем на полуостров, где был подобран самоедами. В 1869 г. в Карское море идут норвежские промышленные суда, одно из которых, под командой Иоганнесена, доходит до острова Белого в устье Оби. В том же году доходит дотуда и английский Паллизер, сделавший свой рейс через Маточкин Шар. В следующем году, тот же Иоганнесен, с одобрения Королевской Шведской Академии рейсирует в Карское море, между Новой Землей и Ямалом, неоднократно подходя к последнему в разных широтах. В 1871 г. Карское море снова привлекает много норвежских промысловых судов, одному из которых удается достичь меридиана устья Енисея. В 1872 г. плавает к северу от Новой Земли известная экспедиция Вэйпрехта и Пайера, затертая там льдами. Вскоре Сидорову удается привлечь приобревших после того громкую известность Норденшельда и Виггинса. В 1875 и 76 г. г. Норденшельд совершает два рейса сначала на парусном судне «Превень», а затем на пароходе «Имер» к устью Енисея. При этом во вторую поездку на пароходе «Имер» он доходит до г. Кореневского, на Енисее, близ Гольчихи, где оставляет доставленный им груз и, положив, таким образом, впервые начало плаванию Северным Морским Путем паровых судов, расставшись со своим судном, повернувшим обратно, входит сам на шлюпке в Енисей и возвращается на родину через Сибирь. В то же время английский капитан Виггинс на «Диане» в 1874 г. посещает Обскую губу, а через год на пароходе «Темза» входит в устье Ени-

*) Более обстоятельные сведения о плаваниях этого и следующего периода до 1911 года включительно читатель найдет в труде Э. Лесгафта.– «Льды Северного Ледовитого Океана и морской путь из Европы в Сибирь». С.-Петербург. 1913 год. Подробный перечень всех плаваний см. в работе Д. Руднева и Н. Кулик'а —«Материалы к изучению Северного Морского Пути из Европы в Обь и Енисей». Петроград. 1915 г.

сея, по которому поднимается с товарами до Туруханска, кладя там начало непосредственной доставке товаров из-заграницы в Енисейск морским путем.

В том же году делается первая попытка отправки из Енисейска в Карское море русского судна «Северное сияние», окончившаяся неудачно: зазимовавшее у Бреховских островов, судно это было разбито весной ледоходом. Но удачной зато вполне оказалась вторая подобная попытка в 1877 г., когда построенная М. Сидоровым на Енисее и отправленная им оттуда шхуна «Утренняя заря», пройдя благополучно Карское море, без всяких задержек достигла Петербурга. В том же году, зафрахтованный Сибиряковым шведский пароход «Fraser», доставив в устье Енисея из Бремена груз табака, сахара и машин, благополучно вернулся обратно.

В 1878—1879 г. г. Норденшельд, субсидированный Сибиряковым, Диксоном и королем Оскаром, совершает свой знаменитый переезд на «Вега» вдоль всего северного побережья Азии, когда, выехав из Норвегии и признанный уже погибшим, в следующем году неожиданно выходит Беринговым проливом в Тихий Океан и с триумфом возвращается на родину.

Одновременно с этим, с 1878 по 1884 г. г. предпринимается целый ряд торговых экспедиций (11 судов) Сибиряковым, из которых удачно выполнили свою задачу лишь три судна, сопутствовавшие в 1878 году Норденшельду—пароходы «Expsres» и «Fraser», достигшие устья Енисея, и пароход «Лена», вошедший в реку Лену. В это же семилетие имели место частью удавшиеся, частью неудачные экспедиции Расмуссена, бар. Кноон, Иогашесена, Вильчека, Арнесена, Дальмана, Бурмейстера, Нильсона, Феддересена, Говгарда, Шиллинга и Виггинга. В 1887—89 г. г. совершает ряд новых удачных плаваний Виггинс, пройдя в первое из них Карским морем в Енисей и поднявшись последним до самого Енисейска, и в 1890 г. совершает такое же удачное плавание в устье Енисея и обратно экспедиция Английского торгового товарищества «Anglosiberian Trading Sindicate» в составе трех пароходов. Наконец, 1893 год ознаменовывается знаменитым дрейфом Нансена на «Фраме». В конце прошлого века заинтересовывается, наконец, Северным Морским Путем и само правительство, упорно остававшееся глухим к нему в течение всего предыдущего периода. Так, в 93 году оно отправляет этим путем в устье Енисея строительный материал для нужд строившейся тогда Сибирской железной дороги. Экспедиция эта благополучно прибыла на место, но кончилась все же не совсем благополучно в силу неудачного выбора места для перегрузки, в результате чего значительная часть доставленных рельс была потоплена. С 94—97 г. г. включительно в устьях Оби и Енисея работала под начальством покойного генерала Вильницкого Гидрографическая экспедиция Морского Министерства, описавшая Обскую губу и Енисейский залив и выпустившая карту Енисея от устья до Енисейска.

В 1897 же году на пароходе «Иоанн Кронштадтский» приходил в Енисей адмирал Макаров, заинтересовавший местное общество возможностью экспорта леса, в результате чего года через два, там действительно были заготовлены превосходные бревна, которым, однако, не удалось дождаться вывоза, почему они гниют и до сего времени.

С 98 года по 905 г. г. происходит работа Гидрографической экспедиции по исследованию проливов—Югорского Шара, Карских Ворот и Маточкина Шара и постановке знаков для ориентировки при плаваниях.

Но особенно ощутительный толчок к использованию Северного Морского Пути дает Русско-Японская война 1904—5 г. г. Армия, базировавшаяся исключительно на одноколейную Сибирскую жел. дорогу, с самого начала войны сразу забила этот путь своими грузами и войсками, в результате чего в Сибири стал остро ощущаться недостаток в товарах. Да и сама жел. дорога очутилась перед невозможностью обнов-

лять и ремонтировать свой подвижной состав и паровозы, что грозило ей полным износом и разрушением. Обстоятельства эти вынудили правительство вспомнить снова об упорно игнорируемом им Северном Морском Пути и в 1905 г. Министерством Путей Сообщения отправляется этим путем экспедиция в составе 26 судов, из которых 22 судна благополучно доходят до Енисея, куда доставляют около 600.000 пудов разных грузов, главным образом, железнодорожных и некоторых предметов первой необходимости. Прибывшие суда эти были оставлены на Енисее, составив основу существующей до сего времени Енисейской речной флотилии*).

Параллельно с этим тогда же возник вопрос—не представляется ли возможным отправить этим путем на Дальний Восток Балтийскую эскадру, и хотя осуществить такую мысль и не решились, но образованная для рассмотрения этого вопроса при Императорском Обществе Судоходства специальная комиссия признала тем не менее Северный Морской Путь проходимым, при условии тщательного исследования и изучения гидрометеорологических условий**).

В 1911 г. через Государственную Думу проходит законопроект о постановке опознавательных знаков и устройстве четырех радиостанций по побережью Карского моря. Характерно, что одновременно почти с этим законопроектом на Енисее имеет место задержание груза, доставленного туда англичанином Вебстером на своем судне из-заграницы. Главным грузом была соль, необходимая на рыбных промыслах, где она ценилась по 60 коп. пуд. Агенты власти на местах арестовывают, однако, эту соль и отправляют ее в Енисейск, платя за фрахт по 40 коп. с пуда. Тем не менее в следующем году упомянутый законопроект Государственной Думы уже проводится в жизнь, чем ставится на конкретную почву, наконец, вопрос о Северном Морском Пути.

В 1913 году по приглашению нашего Министерства Путей Сообщения предпринимает пробное плавание из Европы в Енисей на судне «Коррект» известный полярный исследователь Фритиоф Нансен, при участии рьяного ревнителя Северного Морского Пути члена Государственной Думы Е. В. Вострогина и директора-распорядителя Сибирского Общества Пароходства англичанина капитана Лида. Пароход «Коррект», нагруженный 6.000 бочек пемента и 7—8 тысячами пудов разного товара из Англии, вполне благополучно прошел из Тромзе в Норвегии в устье Енисея, где у остр. Нагоновского, в 300 верстах выше остр. Диксона, перегрузил свой груз на встретивший его речной пароход, приняв от него в свою очередь груз ржи, леса и проч. и живых медведей, верблюдов, диких коз и волка для Гамбургского Зоологического Сада. Участники экспедиции здесь расстались со своим судном, ушедшим обратно, и вернулись в Европу через Сибирь. В то же время проходит на транспортных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» Северным Ледовитым Океаном из Берингова пролива на Запад, в Европу, капитан Вилькицкий, открывший попутно к северо-востоку от Таймырского полуострова новые острова—«Николая II», «Цесаревича Алексея» и «Генерала Вилькицкого».

В 1913 же году Министерство Торговли и Промышленности публикует условия соискания для русских судовладельцев на организацию срочных рейсов к устьям Оби и Енисея Северным Морским Путем. С вопросом об этих срочных рейсах связалось и ходатайство упоминавшегося выше английского капитана Вебстера о субсидии в 60 тысяч рублей в год на содержание таких рейсов и устройство порта на Новой Земле. Ни то, ни другое, однако, не могло разрешиться вследствие грянувшей в 1914 г. войны. В 1914—15 г. г., уже во время войны, от Берингова пролива к Архангельску прошли транспортные ледоколы Морского Ведомства «Таймыр» и «Вай-

*) Толмачев, И. П. Ibid.
**) Толмачев, И. П. Ibid.

гач». В 1916 г. на острове Диксон, у входа в Енисейский залив, была построена радиостанция. В 1918 г. совершил плавание от Архангельска к устью Енисея на упоминавшихся выше ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» капитан Вилькицкий, имевший задачей устройство радиотелеграфной станции для связи Сибири с Архангельском, экспедиция эта не увенчалась успехом, т. к. «Вайгач» в Енисейском заливе, у Ефремова камня, во время тумана потерпел аварию, вследствие чего «Таймыр» ушел обратно. Наконец, в том же 1918 г. в бухту «Находка» в устье Оби прошел из Архангельска транспорт Соломбола, благополучно вернувшийся затем в Архангельск.

Все эти плавания с наглядной убедительностью доказали, что державшееся так долго мнение о непроходимости льдов Карского моря оказалось легендой, ни на чем не основанной и не выдерживающей никакой критики. Наблюдения, производившиеся при этих плаваниях, сходятся на том, что льды Карского моря чисто местного образования, разбиваемые ежегодно волной, ветрами и теплым течением с рек, а не наносные многолетние льды океанского происхождения. С июля по сентябрь Карское море очищается от льдов, сбиваемых ветром в той или иной части его, и свободно проходимо для судов. Если и оказывается в эту пору забитый льдом который-нибудь из проходов, соединяющих Карское море с Баренцовым, то обычно оказывается свободным какой-нибудь другой проход; в тех же редких случаях, когда бывают в сплошных льдах все три пролива, обычно оказывается возможным пройти севернее Новой Земли. Наконец, льды носятся часто не сплошной массой, что дает возможность свободного лавирования между ними. В общем, нужно сказать, что авторитетные исследователи, занимавшиеся этим вопросом, пришли к вполне определенному выводу, что сношения Европы с устьями Оби и Енисея через Карское море в известное время года не представляют никаких особенных затруднений и стоит только произвести необходимые гидрологические исследования этого пути и обставить его радиостанциями, маяками и опознавательными знаками, словом, обставить его всем тем, что полагается иметь на всяком благоустроенном морском пути,—и безопасное и свободное плавание судов будет вполне обеспечено.

Эта проходимость Карского моря выяснилась не сегодня и не вчера; суда стали проникать к устьям Оби и Енисея, как мы видели, еще с половины прошлого века, не считая старых торговых сношений с Мангазеей, и при желании давно уже можно было бы не только прийти к изложенному выводу компетентных исследователей, но установить уже и самый торговый путь. Естественно возникает вопрос: чем же объясняется, что до сего времени ничего в этом смысле не сделано. Ответ простой—открытию и установлению Северного Морского Пути, связывающего Сибирь с заграничными рынками, противодействовало все время наше дореволюционное бюрократическое правительство.

Под давлением растущих торговых запросов Сибири и необходимости доставки товаров в этот богатый и развивающийся край, в конце прошлого века устанавливалось для устьев Оби и Енисея порто-франко, что при совершенной необорудованности и неисследованности Северного Морского Пути являлось предоставлением известных льгот этому пути. Правда, порто-франко было не постоянное, а объявлялось эпизодически—на 2, на 3, на 5 лет, что не давало возможности строить правильный коммерческий расчет и развивать регулярный товарообмен этим путем. Тем не менее товарообмен этот постоянно развивался и рос. К концу столетия суда к устьям названных рек стали направляться караванами. Налаживался экспорт леса, пшеницы. Начали образовываться специальные пароходные компании. Северный Морской Путь начал оживать и сулил развиться в крупный фактор экономической жизни Сибири. Казалось, пора забвения этого старинного и важного пути миновала. Но так лишь казалось.

Порто-франко в устьях Оби и Енисея было об'явлено в последний раз до 1899 года. Однако, в действительности оно едва дотянуло до 1897 г., когда силой обстоятельств фактически оказалось закрытым. В 1896 и 97 г. г. через устья этих рек в Сибирь были доставлены значительные партии кирпичного чая и стеариновых свеч. На чай порто-франко не распространялось, так как он не был в числе разрешенных к беспошлинному ввозу товаров, почему на него была наложена пошлина по тарифу Иркутской таможни. Тем не менее, доставленный в Тюмень и Красноярск, он обошелся на 15—18 рублей пудик дешевле, чем караванный, не считая того, что он дошел до места продажи в 4 месяца, вместо обычных 1½ лет караванной доставки. Это вызвало переполох среди русских чаеторговцев, результатом чего явилось ходатайство их перед Министром Финансов о недопущении ввоза чая Северным Морским Путем, так как, де, это грозит лишить грузов существующую на счет казны организацию Добровольного флота, которой доставлялись, так называемые, караванные чаи. Ответ не оставлял желать лучшего для просивших: ввезенный севером чай был обложен двойной пошлиной. Не менее пикантно получилось и со свечами, входившими в состав разрешенных к беспошлинному ввозу товаров. Свечи эти, по доставке в Енисейск и Красноярск, оказались на 3 р.—3 р. 50 к. ящик дешевле, чем распространенные до этого свечи Крестовникова. Тут уже выступает на защиту своих интересов сам Крестовников, пользуясь своим положением члена Государственного Совета, без особенного труда добивающийся наложения, хотя и одинарной, пошлины на ввезенные севером свечи, допущенные к беспошлинному ввозу.

Результатом таких мероприятий является, понятно, сокращение, а потом и полное прекращение в 1899 г. ввоза товаров Северным Морским Путем, повлекшее за собой закрытие по ненадобности в 1902 г. Тюменской и Красноярской таможни. В связи со всем этим, направившийся было в 1899 г. караван судов с чаем вынужден был, несмотря на согласие платить двойную пошлину, за неразрешением ввоза, вернуться обратно в Англию, а оттуда в Ханькоу; отправленный из Ханькоу караванным путем через Иркутск, чай этот прибыл в конце-концов по назначению лишь через три года после первой отправки. Само собой разумеется, что в итоге такой операции, с одной стороны, потерпели убытки как русские, так и иностранные предприниматели, а с другой—понесла ущерб и казна, получив со всей этой партии чая лишь одинарную пошлину вместо предлагавшейся двойной, при чем самый чай, пространствовав 3 года вместо 3—4 месяцев, естественно, потерял много в своем качестве.

Таким образом, налаживавшийся было Северный Морской Путь в конце XIX века был убит бюрократическим Петроградом, как его убила в XVII веке боярско-под'яческая Москва. В начале XVII века Московское правительство убило этот путь, преследуя, хоть ошибочно и своеобразно понятые, государственные интересы. На рубеже-же XX столетия Петербургское правительство губит его не только не в целях поддержания государственных интересов, а, напротив, в прямой ущерб их, лишь в угоду ничем неприкрытых аппетитов кучки частных, но влиятельных капиталистов*).

Другим стимулом противодействия восстановлению Северного Морского Пути явилась к этому времени строившаяся тогда Сибирская железная дорога, которой боялись создавать конкуренцию. Мы знаем, как серьезны могли быть эти опасения, когда Сибирская железная дорога с первых же дней своего существования не справлялась с задачей потребных для нас перевозок, результатом чего явилась уже предпринятая вскоре постройка южно-сибирской магистрали и серьезное обсуждение вопроса о необходимости такой же северной магистрали. Тем не менее до самого последнего времени правительство относилось недоброжелательно к установлению Север-

*) См. Толмачева, И. П. Ibid.

ного Морского Пути. Даже возбуждение вопроса об этом в Государственной Думе, признавшей в 1912 году необходимость установления сношений этим путем между Сибирью и заграничными рынками и вынесшей пожелание, чтобы Министерство Торговли и Промышленности озаботилось осуществлением их, не сломило упорства наших бюрократических сфер, и Министерство Торговли и Промышленности, как бы в выполнение такого пожелания Думы, об'явившее в 1913 г. кондиции для судовладельцев на снискание и содержание срочных рейсов через Карское море к устьям Оби и Енисея, имело в виду отнюдь не установление непосредственных торговых сношений между Сибирью и заграницей, а единственно лишь устройство нового внутреннего водного сообщения между портами Европейской России и устьями Оби и Енисея; при этом хотя и допускалась возможность ввоза в устья названных рек иностранных товаров из попутных заграничных портов, но для грузов, ввозимых из русских портов, предоставлялись преимущества перед грузами иностранного ввоза, чем последние ставились в невозможность конкуренции с нашей отечественной промышленностью.

Совершенно иначе, или вернее никак не обстоял вопрос с установлением связи с устьями северных рек Якутской области—Колымы, Ямы, Лены и Оленека. В то время, как на Западе в течение длинного ряда столетий, хотя и с большими перерывами, имеют место многочисленные попытки и русских и иностранных мореплавателей установить связь с Европой устьев Оби и Енисея Карским морем, таких попыток на Якутском побережьи почти совсем не было. И если и имели там место редкие и единичные плавания в арктических водах, то исключительно почти в научно-исследовательских целях, без преследования каких бы то ни было задач практического характера. Конечно, и не преследуя практических целей, плавания эти сыграли несомненно свою чрезвычайно-полезную роль, дав знакомство с арктическим морем для будущих попыток установления морского пути и в этом отдаленном районе, почему не лишне будет напомнить хоть в нескольких словах о бывших там экспедициях.

Знакомство с Якутским морским побережьем начинается одновременно с завоеванием края. Первыми исследователями являются бродячий элемент завоевателей—казаки. Уже через пять лет по основании Якутского острожка, енисейский казачий десятник Буза, спустившись в 1637 г. с среднего течения Лены до ее устья, выходит на коче в море и, повернув на запад, доходит до устья р. Оленека. В следующем году тот же Буза, выйдя с устья Лены, направляется на восток и достигает устья р. Яны, где зимует. С очищением прибрежных вод от морского льда, летом 1639 г. он тем же путем движется назад и входит в устье небольшой реки Чендоны. В том же году казак Постник, выйдя из Якутска, открывает р. Индигирку, а спутники его, продолжая путь дальше, спускаются на двух кочах вниз по Индигирке и, выйдя в море, открывают на востоке устье р. Алазеи.

Замечательнейшей из экспедиций того времени по своей отважности и значению является Дежневская экспедиция в 1648 г. Якутский казак Семен Дежнев с товарищами Анкудиновым и Алексеевым, выплыв в этом году из устья р. Колымы на пяти кочах, направил свой путь на восток. Три коча с первых же шагов потерпели аварию и вернулись обратно. Однако, это не удержало смелого казака, и на оставшихся двух кочах он отправляется дальше по неизвестному холодному морю, вдоль берегов, населенных дикими враждебными племенами. С большими трудностями и опасностями казаки достигают неизвестного до этого Берингова пролива и, обогнув Чукотский полуостров, выходят в Тихий Океан. Здесь терпит крушение в шторм еще один из оставшихся кочей и лишь на последнем из них выбрасывает Дежнева с товарищами на берег, где то около устья Анадыря, которого он достигает уже пешим путем, терпя чрезвычайные лишения и голод, через шесть недель по высадке. Экспедицией

этой было сделано чрезвычайно важное географическое открытие—существование пролива между материками Америки и Азии—открытие, оставшееся в ту пору никому неизвестным, как и самому Дежневу с товарищами. Лишь спустя лет семь-десять после этого, экспедициями русского моряка Беринга, специально снаряженными для этой цели, был вновь открыт пройденный впервые Дежневым пролив, получивший название свое по имени вторично открывшего его. Заслуга же Дежнева стала известна уже спустя много времени после экспедиций Беринга, при исследовании сибирских архивов.

К циклу этих экспедиций, совершавшихся темными и малоподготовленными к этого рода работе людьми, должны быть отнесены и экспедиции, предпринимавшиеся значительно позже—в XVIII веке, известным колымским купцом Шалауровым. Этот беспокойный и пытливый человек, на свой страх и риск, без всякой поддержки кого бы то ни было, несколько раз пускался в плавание из устья Колымы на восток, на примитивных и утлых судах, стремясь проникнуть как можно дальше, пока не пропал без вести со своим экипажем в последней поездке. Только путешественниками 20-х годов прошлого века было найдено на побережьи Ледовитого океана, восточнее Шелагского мыса, место его гибели, куда он был выброшен, видимо, крушением судна, о чем можно догадываться, судя по сохранившимся там до недавнего времени остаткам его избы*).

После этих немногих и малорезультатных экспедиций наступает весьма длительный период полного и основательного забвения огромного Якутского побережья. Весь XVIII век ознаменовывается лишь двумя географическими экспедициями. Первая из них—Прончищева и Лассиниуса, участников Большой северной экспедиции. Лейтенант Прончищев, жена его и спутник Лассиниус, с небольшим экипажем, выехав из Якутска в 1735 г., прошли на дубель-шлюпке, с описанием берега, от устья Лены до устья Оленека. Презимовав тут в двух избах, сложенных ими из плавникового леса, весной следующего года, с такой же описью берегов, путешественники добираются до устья Анабара. Путь дальше, до устья Хатанги, совершается ими, пробивая в массах плавающих льдов. Попытка обогнуть Таймыр не удается и, достигнув 77 град. 29' с. ш., т.-е. достигнув широты, до которой никто до них не доходил, они возвращаются назад. На обратном пути, перед входом в устье Лены, болевший еще с начала экспедиции Прончищев умер. Вскоре же после него умерла и жена его, эта первая женщина, принявшая участие в суровом и опасном полярном путешествии.

Продолжателем незаконченной работы Прончищев явился другой участник той же Большой северной экспедиции Харитон Лаптев. Выехав в 1739 году из Якутска, он также с описью берега проходит на дубель-шлюпке от устья Лены до устья Хатанги, где зимует. Летом следующего года им дважды предпринимается плавание дальше, вокруг Таймырского полуострова, но неудачно. Льдами раздавило его шлюпку, и, спасшись с трудом на берег, он вынужден был вернуться сухим путем на место прошлой зимовки, на Хатангу. Дальнейшая задача описи Таймыра была исполнена им путем берегового сухопутного об'езда на собаках.

Невелик перечень плаваний в этом районе и в XIX веке. В 1809—10 г. г. там плавает Геденштром в целях описи Ново-Сибирских островов. В 1819—23 г. г. рейсируют вдоль побережья материка и у Ново-Сибирских же островов, в целях исследования, Анжу и Врангель. В 1878 г. проходит мимо Якутского побережья знаменитая экспедиция Норденшельда на «Веге»; у устья Лены отделяется от нее норвежский капитан Иогаттесен и входит на пароходе «Лена» в р. Лену, где пароход остается, вливаясь в состав Ленской флотилии, только что зарождавшейся в ту пору. Это

*) И. П. Толмачев. Ibid.

первый пароход, вошедший в Лену с моря и пришедший из-заграницы. Сам Норденшельд проходит дальше, на восток, в Берингов пролив. В 1884 г. зимуют в урочище Сагастырь, в дельте Лены, направляющиеся к устьям Лены и Яны барон Толль и Бунге. В 1898 г. исследуется побережье и устья Оленека и Анабара тем же бароном Толлем и Шилейко. Наконец, в 1901 г. предпринимается Толлем новая экспедиция на Ново-Сибирские острова и землю Беннета, из которой ему не суждено уже было вернуться, потерявшись без вести. Предпринятая в следующем году для его поисков экспедиция лейтенантов Колчака и Матисена не увенчалась успехом и вернулась обратно, не найдя нигде следов Толля.

Только перегрузка Сибирской железной дороги, начавшаяся со времени Русско-Японской войны, усиливаясь с каждым годом, поставившая население всех отдаленных от нее районов, особенно крайнего севера Якутской области, перед лицом грозящего торгового и продуктового голода, заставила правительство, уже в начале текущего столетия, принять некоторые практические шаги в смысле обследования и установления связи морем с Якутским побережьем. Так, в 1909 и 10 г. г., по поручению Министерства Торговли и Промышленности, производится сухопутное обследование северного побережья В. Сибири от устья р. Лены до устья р. Колымы геологом К. А. Воллосовичем и от Колымы до Берингова пролива геологом И. П. Толмачевым. Одновременно и в контакте с этими двумя экспедициями, по поручению Главного Гидрографического Управления, производит исследование входа с моря в р. Колыму Г. Я. Седов, погибший в 1914 году в своей неудачной экспедиции к северному полюсу*). В 1910 же году, под начальством Ш. С. Сергеева, направляются к устью р. Колымы из Владивостока, через Берингов пролив, транспортные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач», построенные первоначально в целях гидрографического обследования побережья полуострова Таймыра. Но вследствие позднего выхода, судам этим не удалось достичь в том же году намеченной цели, и они зимуют в льдах Ледовитого океана. Но летом следующего года они благополучно доходят до устья Колымы и, выполнив свое задание, возвращаются обратно, обследовав на обратном пути малоизвестный до того остров Врангеля**).

1911 г. ознаменовывается первым практическим мероприятием правительства по доставке в тот отдаленный край кой-каких грузов морским путем. По распоряжению Министерства Торговли и Промышленности в этом году доставляется из Владивостока в устье р. Колымы, пароходом «Колыма», впервые небольшое количество хлебных и кой-каких других грузов. Мера эта была, конечно, не бог весть какого серьезного практического значения, но велика зато была ее показательная сторона. Доставка хлеба из Якутска в Средне-Колымск гужевым путем обходилась обычно рублей в 8—10 с пуда, тогда как при доставке его морским путем с востока он вместе с провозом обходился не свыше 2 рублей пуд. С другой стороны, эта первая доставка груза в устье Колымы показала полную возможность беспрепятственного и регулярного каждогоднего сообщения этим путем. Вместе с этим, в связи с оживлением на Аляске, вызванным разработкой там золота, пробуждается интерес к нашей северо-восточной окраине некоторых американских торговых кругов, следствием чего является посещение в том же году устья Колымы американской 22-х тонной шхуны в целях товарообмена.

В результате всего этого с 1910 г. устанавливаются каждогодние рейсы из Владивостока к устью р. Колымы двух мелких транспортных судов «Шилки» и «Ко-

*) Краткие сведения об этой непродуманной экспедиции к полюсу читатель найдет в статье Л. Брейтфуса «Северные полярные экспедиции в 1912 г. и их поиски». Записки по гидрографии. Т. XXXIX, вып. 2. Изд. 1915 года.

**) И. П. Толмачев. Ibid.

лымы», бывших охранных крейсеров Управления по рыболовству на Дальнем Востоке. И действительно, с 1910 года до самой войны суда эти ежегодно, раз в лето, заходили в устье р. Колымы, доставляя для населения края кое-какие товары, а главным образом муку. Рейсы продолжались и во время войны, при чем были случаи захода не только в устье Колымы, но и Индигирки и Яны. Кроме того, был издан закон, разрешающий беспошлинный ввоз всех товаров, кроме спирта и спиртных изделий, через устье всех рек, лежащих к северу от устья р. Амура. Но и тут не могла не сказаться проводившаяся правительством система покровительства отечественной промышленности и оберегания ее от конкуренций иностранной индустрии: действие названного закона распространялось лишь на области Якутскую, Приморскую и Камчатскую, где нет почти никакой промышленности.

Разразившаяся в 1914 г. мировая война, стоившая России, благодаря ее отсталости, неподготовленности и отжившему архаическому аппарату государственного управления, моря крови и титанических, нечеловеческих усилий, вызвала в 1917 г. взрыв революции, сметшей, как карточный домик, старое правительство, вызвав длительную и жесточайшую гражданскую войну между учредившейся в центре страны Советской властью и обосновавшимися по окраинам разного толка окраинными правительствами. В оппозиции и борьбе с Советской властью оказалась и Сибирь, возглавлявшаяся сначала Сибирской Областной Думой, потом Временным Сибирским Правительством, дальше Директорией и, наконец, Временным Российским правительством во главе с адмиралом Колчаком. В результате, между Европейской Россией и Сибирью протянулся боевой фронт, отрезавший последнюю как от промышленной метрополии, так и государств Зап. Европы. С разрушенным транспортом, развалившейся промышленностью, упавшей торговлей, отрезанная от питающей базы, Сибирь стала перед лицом острого товарного голода. Являлась настоятельная потребность во вновь иностранных фабрикатов, без чего невозможным считалось ни восстановление промышленности, ни удовлетворение острой потребности населения. Естественно было при таких обстоятельствах вспомнить вновь о возможности использования Северного Морского Пути, к осуществлению которого не имелось уже более того основного препятствия, более серьезного, чем льды Карского моря, каким являлось дореволюционное бюрократическое правительство русского самодержавия.

Первым толчком к оживлению забытого в пылу войны и революции вопроса о Северном Морском Пути явилась неудавшаяся попытка Министерства Продовольствия Сибирского Правительства отправить осенью 1918 г. этим путем 1½ миллиона пудов хлеба Правительству Северной области в Архангельске. К этому присоединились радиотелеграммы капитана Вилькицкого с острова Диксона, в которых он, извещая об аварии ледокола «Вайгач» у Ефремова камня, в Енисейском заливе, просил Сибирское правительство позаботиться о судьбе персонала и экипажа пострадавшего судна. Почти в одно время с этим в бухту «Находка» в Обской губе приходит из Архангельска легкий транспорт Соломбала; прибывший на нем и приехавший затем в Омск гидрограф Котельников принимается здесь усиленно будировать этот вопрос как путем выступления в современной печати, так и путем докладов главам заинтересованных ведомств. Все это вместе взятое заставляет Сибирск. правительство обратить серьезное внимание на вопрос о Северном Морском Пути и посвятить ему в зиму 1918—19 г. г. ряд междуведомственных совещаний, в результате которых, после длительной борьбы и переписки между ведомствами, в апреле 1919 г. постановлением Совета Министров Колчаковского правительства учреждается в Омске, при Министерстве Торговли и Промышленности, Комитет Северного Морского Пути, на который возлагается принятие мер к усовершенствованию Северного Морского Пути и организация экспорта этим путем сибирского сырья и импорта иностранных фабрикатов.

Вновь созданный Комитет этот оказывается назревшим и жизненным учреждением и развивает энергичную и интенсивную работу. Этим моментом начинается последний, новый, период истории Северного Морского Пути, период более или менее интенсивного обследования, изучения, устройства и оборудования этого пути и организации по нему товарообмена с заграницей.

Поставленный во главе Комитета, в качестве временного председателя, известный по Сибири путешественник и исследователь генерал В. Л. Попов, быстро формирует и об'единяет вокруг себя небольшой кадр необходимых работников, завязывает сношения с государственными, кооперативными, торгово-промышленными и иными учреждениями и входит в сношения с бывшими в ту пору заграницей русскими торговыми представителями, стремясь наладить организацию закупки там необходимых для Сибири товаров, в обмен на наше сырье, собираемое для отправки к устьям Оби и Енисея, намеченным, как место обмена экспортных и импортных грузов. Попов, однако, вскоре отзывается правительством Колчака с этого поста и на его место становится старый поборник этого пути, бывший член Государственной Думы С. В. Востротин, с той же настойчивостью и энергией ведущий начатое Поповым дело.

В результате развитой энергичной и интенсивной работы, Комитету Северного Морского Пути удается в лето того же 1919 года отправить вниз по Оби и Иртышу первую товарообменную экспедицию. Намечена была к отправке небольшая партия груза и по Енисею, но она отпала вследствие извещения из Англии об отмене отправки к устью Енисея готовившегося выйти туда парохода.

Обь-Иртышская экспедиция, вышедшая из Омска 3-го августа и с устья р. Томи около 15 августа, соединившись около 20 августа у с. Самаровского, в общем составе 7 пароходов и 19 барж, 28 сентября пришла уже в бухту Находка, в Обской губе, доставив туда около 700.000 пудов разных грузов, преимущественно хлебных, а также масла, сыру, шерсти, пушнины, кож, льна и т. п., предназначавшихся, главным образом, для Архангельска и частью для Англии. К этому же времени *для приемки этого груза прибыли туда же 6 небольших пароходов из Архангельска*, 2 парохода из Англии и 1 пароход из Швеции, доставившие в свою очередь около 350.000 пудов разных грузов—земледельческих машин, сепараторов, бумаги, медикаментов, телеграфных аппаратов, военного снаряжения и т. п. Одновременно с этими торговыми судами прибыли гидрографические суда в бухту Находка «Орлик» и в устье Енисея «Иней», «Шуя», «Анна» и «Полезный», оставшиеся затем для работы в сибирских водах.

Своевременно и удачно прибывшие с обеих сторон грузы эти не пришлось, однако, полностью перегрузить с речных на морские суда и обратно, причиной чему явились два обстоятельства. Прежде всего, согласно предварительных радиосношений для приемки экспортных грузов имели прибыть в бухту Находка еще два русских и два английских парохода из Англии с заграничным тоннажем и с таким же заграничным грузом два норвежских парохода. Суда эти, однако, не прибыли. Другим же и более важным обстоятельством явилось то, что звезда Колчака в это время стремительно падала. Сибирские армии в беспорядке и смятении бежали на восток или целыми частями передавались на сторону Советской власти и красный фронт докатывался до линии Обь-Иртыша. Г. Тобольск находился уже в сфере огня, чем была прервана телеграфная связь с Обдорском, а отсюда и связь с торговой флотилией в бухте Находка, следствием чего являлась вносившаяся в перегрузочные работы нервность. В результате такого положения, 20 сентября, когда по навигационным условиям времени для перегрузки еще оставалось достаточно, работа эта была прервана, и речной караван, перегрузив на морские суда лишь около 250.000 пудов экспортных грузов и приняв импортных грузов около 160.000 пудов и сорвав

тем окончание перегрузки, тронулся обратно вверх по Оби, вместе с чем ушли, конечно, обратно и морские суда.

Этой экспедицией закончилась деятельность Комитета Северного Морского Пути в Колчаковский период. Обская экспедиция, оставив часть хлеба и масла для снабжения Обдорского и Березовского края, вернулась назад, доставив принятый импортный груз и часть неотправленного экспортного в Омск, Томск и Новониколаевск, где благополучно выгрузила все эти грузы и поставила затем освободившиеся суда в затоны. Но воспользоваться этими грузами Колчаковскому правительству уже не пришлось; Омск, а за ним и Новониколаевск перешли в руки Советской власти. Все учреждения павшего правительства, а вместе с ними и Комитет Северного Морского Пути были эвакуированы в Иркутск. Там власть Колчака пала окончательно, перейдя на короткое время к так называемому Политическому Центру. Все эвакуировавшие из Омска учреждения были расформированы, но Комитет Северного Морского Пути, в виду чрезвычайной важности значения Северного Морского Пути, был сохранен Политическим Центром и вскоре, с установлением в Иркутске Советской власти, был передан последней. Представители только что установленной там Советской власти отнеслись также вдумчиво к этому сохранившемуся от общего разгрома молодому учреждению, родившемуся в пылу революции и гражданской войны, в результате чего в марте 1920 года Комитет Северного Морского Пути реэвакуируется обратно в Омск, в распоряжение только что созданной Центральной власти Сибири.

Встреченный в Омске благожелательно Сибревкомом, Комитет несколько реорганизуется, расширяется, становится твердо на ноги, об'единяется временно с представительством Внешторга и вновь приступает к своей, прерванной было эвакуацией, работе.

Наряду с этим, из прибывших в 1919 г. в Обь и Енисей гидрографических судов учреждается особый «Обь-Енисейский гидрографический отряд», который также приступает к напряженной интенсивной работе. В процессе дальнейшего строительства, учреждения эти не раз еще реорганизуются, видоизменяются, меняют свою структуру, но направленная к общей цели контактная работа их растет и углубляется. В результате, работа по налажению Северного Морского Пути, изучению, оборудованию и обстановке его и организация по нему регулярных товарообменных экспедиций принимает с этого времени уже характер постоянной и планомерной деятельности, с тенденцией к дальнейшему росту и развитию. Деятельность эта у всех на виду и здесь достаточно лишь в самых общих чертах отметить то, что сделано за эти последние годы.

При всей необорудованности и недостаточной изученности Северного Морского Пути, экспедиция 1919 года окончательно и наглядно доказала полную возможность организации широкого товарообмена Сибири с заграницей, с обменом экспортных и импортных грузов в устьях Оби Енисея, обогатившихся за это лето, благодаря трудам персонала и экипажей прибывших географических судов, новыми промерами, съемкой, установкой ряда мигающих огней Далена и т. п. В результате всего этого с 1920 года начинаются уже организации Комитетом Сев. Морского Пути регулярных ежегодных экспедиций по товарообмену и систематическая работа гидрографов по исследованию и обстановке разными опознавательными знаками и сооружениями морского пути и проводке в устья рек морских торговых судов.

В 1920 году в устья Оби и Енисея вновь идут товарообменные экспедиции— 6 пароходов и 15 барж с общим грузом до 600.000 пудов хлеба, жировых товаров и мануфактуры в устье Оби и 2 парохода, 3 лихтера и 2 баржи с общим грузом свыше 45.000 пудов льна и пушнины к устью Енисея. Груз весь отправляется в Архангельск, приславший за ним 11 пароходов и 3 лихтера в устье Оби и 2 парохода в

низовье Енисея. Перегрузочные операции в этом году совершаются вполне благополучно, и суда, как речные, так и морские, возвращаются к своим отправным пунктам уже выполнив почти полностью возложенные на них задачи.

Параллельно с этим работают и гидрографические отряды, продолжая установку новых навигационных знаков, съемку и промеры. В Обской губе открывается ими новый перегрузочный пункт—Новый Порт, более удобный и глубокий, чем отмелая и незащищенная бухта Находка, а в Обдорске на Оби и в Енисейском порту и Дудинке на Енисее устанавливаются новые радиостанции*).

В 1920 же году, в Лондоне, по приезде туда Российской Торговой Делегации, во главе с нашим Народным Комиссаром по Внешней Торговле Л. Б. Красиным, было организовано английское акционерное общество, под названием «Всероссийское Акционерно-Кооперативное Общество» («All Russian Cooperative Society»), получившее сокращенное название АРКОС. Встреченное вначале враждебно финансово-коммерческими кругами Англии, Общество это скоро, однако, завоевывает рынок, закупая, по предложению нашей делегации, товары для России и становясь, таким образом, контрагентом Советской России. В 1921 году АРКОС приобретает уже 5 собственных пароходов, которые в сопровождении русского ледокола «Ленина» (бывший Александр Невский», возвращенный Англией) в том-же году везут в устье Оби и Енисея из Англии с.-хоз. машины, гвозди, болты, винты, разные инструменты, орудия, посуду, чай, сахар, скобяные и химические товары и т. п., общим весом свыше 550.000 пудов, и вывозят обратным рейсом около 300.000 пудов шерсти, волоса, кож, кишек, асбеста и графита для заграницы и 154.000 п. хлеба с Оби для Архангельска**).

Одновременно с этим приходят из Архангельска 9 морских пароходов, 1 ледокол и 7 лихтеров с грузом смолопродуктов, общим весом около 90.000 пудов. Двое из этих судов, как и один из пароходов Аркоса, направляются в устье Енисея, а остальные все в Обь. Встречная экспортная экспедиция составила 7 речных пароходов и 15 барж по Оби и 3 парохода, 4 лихтера и 4 баржи по Енисею, с общим грузом разных товаров для Архангельска приблизительно в 550.000 п. и разного сырья (кожи, шерсть, волос, щетина, графит, асбест и т. п.) около 300.000 п. для заграницы.

Постигший Россию в 1921—22 г. г. небывалых размеров голод не мог не отразиться на товарообменных операциях Северным Морским Путем, и шедшие в последние годы на повышение операции эти в 1922 году несколько падают. Отправка грузов в Архангельск в этом году не состоялась. Пришли из-заграницы те же 5 пароходов Аркоса, доставившие в устье Оби разного импортного товара около 500.000 пудов и вывезшие оттуда разного сырья немного более 350.000 пудов. По Енисею экспедиции не было.

Минувший 1923 год оказался в этом отношении еще хуже. Создавшаяся весной прошлого года обостренность политической конъюнктуры, в связи с бряцанием оружием наших западных соседей, не позволила предпринять снаряжение товарообменной экспедиции в сколько-нибудь широком масштабе. Только по Енисею имели место ввоз 65.671 п. чаю, колониальных и бакалейных товаров и машин из-заграницы и отправка туда 1449 п. шерсти, графита и т. п., организованные Центросоюзом***).

*) «Северный Морской Путь и его значение во внешнем товарообмене». Омск. 1921 года.

**) «Карская экспедиция». АРКОС. Коммерческий бюллетень. Лондон. 1922 год.

***) С. А. Рыбин. «Северный морской путь из Европы к устьям Оби и Енисея». Новониколаевск. 1924 год.

Менее отразились неблагоприятные условия последних лет на гидрографических и гидрологических работах. Управлением по обеспечению безопасного плавания судов в водах Карского моря—«Убеко Сибири» (бывший Обь-Енисейский гидрографический отряд), руководящим работами гидрографических отрядов в северных водах Сибири, все эти годы велись регулярные работы по дальнейшему исследованию, оборудованию и обстановке морского пути в Карском море и устьях Оби и Енисея: съемки, промеры, обстановка знаками, метеорологические наблюдения, изучение движения льдов и исследования фарватеров и т. д. велись и ведутся и ныне систематически, из года в год, частью ежегодными рейсами гидрографических судов, частью работающими постоянно персоналами радиостанций. Последних в районе Карского моря и в устьях Оби и Енисея имеется уже восемь действующих круглый год—в Югорском Шаре, в Карских воротах, в Маточкином Шаре, на м. Маре Сале, в Обдорске, на о. Диксоне, в Усть-Енисейском порту и в с. Дудинке—и одна действующая лишь в навигационный период в Новом Порту в Обской губе*).

Само собой разумеется, что работа по изучению и устройству Северного Морского Пути к устьям Оби и Енисея далеко еще не закончена. Будет вернее сказать, что она лишь начинается. Перед «Убеко Сибири», Комитетом Северного Морского Пути и всеми другими заинтересованными учреждениями стоит еще колоссальная задача. Для полной безопасности и налаженности пути необходимо оборудование ряда новых радиостанций и снабжение их, плюс к существующим видам,—авиослужбой, не говоря уже о необходимости полного исследования и изучения этого пути и обстановки его всеми необходимыми знаками. Для успешности и безопасности перегрузочных работ, производимых ныне вдали от берегов, особенно для массовых получений и отправок грузов, необходимо устройство ряда отвечающих своему назначению портовых сооружений. Первый шаг в этом направлении уже сделан: в устье Енисея, в Луковой проток, у остр. Пашкова, еще с 1917 г. строится такой перегрузочный порт, пока еще не законченный**). Для использования же оборудованного так морского пути в полном об'еме—должен быть создан достаточно мощный речной тоннаж по Оби и Енисею. Задача, повторяем, огромная, которая должна быть еще выполнена. Но и в настоящий момент—возможность свободного и безопасного плавания этим путем—факт установленный; экспедиции последних лет—лучшее тому доказательство.

Хуже, несколько, как было и раньше, обстоит дело с установлением постоянной торговой связи северным морем с устьями рек Якутского побережья. За время революции прекратились и одиночные рейсы парохода «Колымы» в устья рек Якутского края и огромная отдаленная окраина вновь попала в исключительную зависимость от доставки грузов крайне длительным и дорогим гужевым способом из Якутска. Однако, при пробуждении общего интереса к Северному Морскому Пути в последние годы не могли не подумать о возможности морских сношений и для огромной и богатой Якутской окраины. И действительно, по инициативе Комитета Северного Морского Пути, в 1920 году направляется в устье Лены небольшая гидрографическая экспедиция рекогносцировочного характера, которой удается произвести беглое обследование некоторых протоков дельты р. Лены и открыть рядом с восточным рукавом этой дельты, на побережьи Ледовитого океана, бухту Тикси, отделенную от названного рукава узеньким перешейком и представляющую некоторые удобства для перегрузочных операций между морскими и речными судами. В следующем 1921 г. туда направляется новая гидрографическая экспедиция, снаряженная более основа-

*) Данные эти любезно сообщены Зам. Начальника «Убеко Сибири», С. П. Дмитриевым.

**) Д. М. Бихман—«Морские сообщения Сибири». Красноярск, 1919 год.

тельно Лено-Байкальским Управлением Водного Транспорта и Главным Гидрографическим Управлением. Экспедиция эта, под начальством Н. Евгеньева, за навигационный период произвела опись судового хода по Лене от Якутска до ее дельты и части Оленекской протоки, побережья от устья р. Лены до устья р. Оленека, входы и течения последней вверх на 50 верст и ряда других протоков дельты р. Лены. Произведены, кроме того, ряд съемок, промеров, метеорологических, астрономических и магнитных наблюдений, рекогносцировка местонахождений каменного угля в бухте Тикси, установившая наносный характер этих месторождений, свидетельствующих, однако, о несомненной близости местонахождений коренного залегания угля, и т. д.*).

Недостаток средств не дал возможности, к сожалению, продолжить гидрографические и иные исследования в этом районе и в следующие годы. Но и эти две экспедиции установили с несомненностью возможность сношения обширного Якутского края с внешним миром через устья Лены и Оленека. Таким образом, оказывается, что не только устье огромной Лены, но и устья даже таких второстепенных по сибирскому масштабу рек, как Колыма, Индигирка, Яна и Оленек — вполне доступны для морских судов. Известная-же большая мягкость режима и доступность Арктического моря у Якутского побережья в сравнении с Карским морем делает возможность сообщения морем там более легким, чем путь к устьям Оби и Енисея. Следовательно, все дело там лишь за исследованием устьев названных рек и соответствующими оборудованием и снабжением рек необходимым тоннажем.

В таком положении находится сейчас вопрос о морских сообщениях Сибири с внешним миром. Многовековой предрассудок о недоступности Сибири с севера, в силу непроходимого постоянного ледника, еще до недавнего времени сковывавший умы европейцев, должен считаться в настоящее время окончательно павшим. Возможность безопасного, регулярного и удобного сообщения морем с берегами Сибири — факт уже непреложный. Нет сомнения, что рожденная в пылу жесточайшей войны и великой революции молодая Россия выйдет из всех потрясений обновленной, полной сил и быстро станет страной, более богатой, цветущей и могучей, чем была до войны, при отжившем архаическом строе. Путь к этому в использовании всех неограниченных потенциальных возможностей, которыми особенно богата Сибирь, и в частности ее пустынный неизученный север.

Раскрепощение масс от опеки старой бюрократии и пробуждение широкой инициативы и самодеятельности на местах, до самых глухих окраин включительно, в связи с стремлением возможно скорее восстановить пошатнувшуюся экономическую мощь, быстро приведут к утилизации всех наших дремлющих втуне богатств, что приведет к небывалому росту нашего экспорта. В то же время, железный закон экономической необходимости неизбежно толкнет капиталистические страны к широкой торговле с Советской Россией, начало чему мы видим уже и теперь, что выявляет, само собой, и чрезвычайный рост импорта к нам. При нашей бедности путями сообщения, в этих условиях, естественно, что нормально оборудованный Северный Морской Путь к устьям могучих сибирских рек вырастет в фактор чрезвычайного значения в экономической жизни страны, как гигантская артерия циркуляции потока экспортных и импортных грузов. Конечно, это пока еще будущее. Но будущее это теперь уже не за горами.

---

*) Н. Евгеньев.— «Краткие предварительные данные о работах Усть-Ленской Гидрографической экспедиции 1921 года». Записки по гидрографии. Т. XLV. Петроград. 1922 год.

Художественная литература за семь лет.

(Проза 1918—1924 г. г.)

Валериан Правдухин.

До 1920 г. у нас собственно еще не было художественной литературы, рожденной революцией, органически возникающей из пламени ее разрушительно-бурных и созидательно-зоревых устремлений.

«У нас нет литературы. Я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог будущих успехов».

Эти слова В. Белинского подлинный революционер мог произнести в то время с полным правом, потому что бесспорно было для всех, что жизнь России разворошена революцией до корня, опалена до сердцевины. Урожай потенциально был уже обеспечен в то время.

М. Горький правильно был назван «буревестником революции»,—еще с большим правом он мог быть назван вестником, отцом послереволюционной литературы.

В нем и в творениях Л. Андреева наша дореволюционная литература распалась на два основных русла.

У Горького она раскрывала свои яркие, красной кровью окрашенные крылья предчувствий классовых битв и восстаний нового человека за свое конечное освобождение.

У Л. Андреева она упиралась черным крылом отяжелевшей ночной птицы в трагический тупик умственных, интеллигентских—всегда в сущности внежизненных проблем: безверия, молчания, ночи и одиночества.

Перед Л. Андреевым раскрылись, как перед директором театра из его последней пьесы «Реквием»—«море молчания, пустынное море тишины и безмолвия, тихая гладь небытия»,—наоборот, Горького слушала небывало огромная, жадная и взбудораженно-творческая аудитория социальных низов, поднимавшаяся масса новых людей.

Революция 1917—1918 г. г. произвела окончательную перетасовку в «Большом театре» русской литературы. Она выгнала уставших буржуазию и дворянство из партера и лож; она выгнала из России читателя и зрителя, который питал собой бесплодный в основном, бескровный символизм Вяч. Иванова, Белых и З. Гиппиус, открыв доступ туда широкой демократии рабочих и крестьян.

Но до 20 года, когда шел бой за обладание «Большим театром», бой за право на жизнь—«музы молчали,—говорило оружие».

«Гише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ Маузер».

И только из-за дымной завесы баррикадных боев иногда прорывались отдельные вскрики—всплески слова искусства. Это были крики А. Гастева и других поэтов,—всплески—еще бледные—рассказов Бессалько. Сивачева М., Н. Ляшко или фотографического романа «Семья»—Н. Степного.

Но в этих попытках, за исключением, может быть, некоторых страниц Н. Ляшко, не было подлинной силы, художественного охвата жизни. Писателю еще некогда было видеть, не хватало спокойствия духа увидеть, мудро осознать в бурлении живой жизни, чем она *качественно* стала отличной от прежней.

Писатель вынужден был растрачивать себя на непосредственное дело, на борьбу, которая его настраивала настолько *суб'ективно, одолиненно*, что он, конечно, не мог еще видеть широты клокотавшей вокруг его жизни, которую прорезывала светлая, зоревая, огненная линия революции. В ней или вне ее (революции) стоял писатель: он одинаково не мог художественно ее зарисовать. Он или не понимал ее или поглощенный ею не мог еще отодвинуть ее настолько, чтобы сделать об'ектом наблюдения, затем—изображения.

А. Неверов в это время, где-то в Самаре, редактировал красноармейскую газету, Л. Сейфуллина занималась, как библиотекарша, реквизицией книг. В. Иванов еще только остывал от сибирских скитаний, многие, как Ю. Либединский, И. Бабель, А. Малышкин, дрались или скитались по бесконечным фронтам. И если В. Зазубрин писал свой роман о колчаковщине—«Два мира», то писал его в 5—6 час. утра, сорвавшись с табурета (а может быть реквизированного кресла) редактора Иркутской красноармейской газетки. Все заняты были «родным, беспощадным» делом (слова героя И. Бабеля). Один Б. Пильняк ухитрился выпустить в каком то кооперативном издательстве свою книгу «Былье», где подлинный художник впервые положил несколько мазков к своей будущей картине революции, дал фрагменты своего романа о революции «Голый год». В то время о революции писали лишь заметки,—в лучшем случае лишь искренние изложения своих настроений,—или же выщерблял искусной рукой Ев. Замятин свою тихо-злобную «Пещеру».

Даже литературных журналов до этого времени у нас не было.

Лишь в 1921 г. начинает выходить журнал «Красная Новь», счастливо попавший в редакторские руки А. Воронского, оказавшегося фанатиком художественной литературы. Только через страницы этого журнала русский новый читатель узнал писателей, тех писателей, которые сейчас и составляют то, что называем мы высоким именем—современная художественная литература.

Вторым, по времени возникновения, большим литературно-художественным журналом были «Сибирские Огни», первый № которых вышел в начале 1922 г. Этот журнал дал нам два имени—Л. Сейфуллиной и В. Зазубрина. Все остальные имена пришли к читателю или со страниц журнала «Красная Новь», или со страниц альманахов «Наши дни» и «Круг».

Здесь стали печататься Вс. Иванов, Б. Пильняк, А. Неверов, Н. Ляшко, П. Низовой, А. Яковлев, Ю. Либединский, Будищев, Федин, Зазуля, Н. Огнев, С. Семенов, А. Малышкин, Н. Никитин, Зощенко; за последнее время Дан, Крепюков, И. Бабель. Здесь же мы увидали снова старые имена: М. Горького, В. Вересаева, А. Толстого, Ив. Касаткина, М. Шагинян, Гладкова, Ольги Форш, Е. Замятина, Эренбурга Ил., М. Пришвина, Чапыгина, Шишкова, Новикова-Прибой.

И только имена Сергеева-Ценского, Ан. Белого, А. Серафимовича, А. Соболя, Лидина В., Ремизова, Л. Леонова появились в других изданиях.

Ушли из России, ушли из русской литературы, повидимому, совсем,— И. Бунин, А. Куприн и Б. Зайцев.

Нам, конечно, и в силу нашей внутренней заинтересованности и неизбежно—по недостатку места—придется, главным образом, остановиться на произведениях тех писателей, которые пытались художественно осветить современность, которые пытались проникнуть своим художественным зрением в события революции и идущих от нее жизненных волнений.

В наше время очень трудно давать характеристики писателей, потому что они в большинстве случаев еще все в периоде искания, становления. Завершенных писательских фигур среди молодых почти не найти. Даже наиболее, казалось бы, «маститый» Б. Пильняк все еще ищет и движется. И это хорошо.

Б. Пильняк написал роман «Голый год». Это книга о революции. О 20—21 годах. О теплушках, о мешечниках, о коммунистах, об уходящих из жизни дворянах, о мужиках. О мятелице в революции, о бытовой чехарде и неразберихе.

У Б. Пильняка есть мировоззрение. Вернее—мироощущение. Он устои и корни жизни хочет найти не во внешней цивилизации человека, в чем хотел ее найти Ан. Чехов (доктор Астров), а в глубокофизической первобытно-звериной стихии.

Пильняк—внутренний собрат нашего скульптора Коненкова,—видит хорошо природу, зверей, физическое в человеке. Он даже К. Маркса воспринимает, как Коненковского деда-лесовика, водяного. Грубую энергию большевиков, как силу звериного начала в человеке (кожаные куртки, это—звериные шкуры). Он Архипова, предисполкома, зубрящего после приговора и слов «расстрелять» иностранные слова—непременно наделяет допетровской бородой. Самая революция для него—возврат человека к изначальной природной стихии. Ненавидит Петра I-го. Любит революцию чувственно, психо-физически, как озонирующее нашу жизнь, как грозу, освещающую будущее. Но, как художник, он всей жизни еще не синтезировал, не охватил целиком: и порой расщепленно смотрит допетровская борода и отчетливая американизированная внутренняя энергия и бесстрашие, с которым пишет свое «расстрелять» Архипов младший.

Может быть, Б. Пильняк еще не весь перед нами. Может быть, он еще не развернулся во всю ширь и глубь своего ощущения жизни. Во всяком случае, художественно цементировать в единый организм зверя и современного человека ему не удалось. Эту проблему он вновь и вновь ставит перед собой в своем новом произведении «Материалы к роману».

В силу всего этого он еще не дал, не смог дать и внешне совершенной, захватывающей широкие слои нового читателя формы, мешая в одно:

свою прекрасную лирику с отсебятиной провинциального пророка, зоркий глаз художника с мешаниной и неразберихой словесных нагромождений.

В этом сказывается незавершенность его художественного охвата современности.

Имя Всеволода Иванова запомнилось особенно ярко читателю, когда в номере первом «Красной Нови» 1921 г. появился его первый рассказ—«Партизаны». Затем «Бронепоезд», «Цветные ветра», «Дите» и т. д.

Многие критики сравнивали Всеволода Иванова с М. Горьким. Но это сравнение, конечно, совершенно неправильно. Всев. Иванов пока еще значительно меньше, мельче Горького. И уклон его таланта совершенно иной. Иванов пришел из глубины Сибири и он создал немало красочных картин из жизни провинциальной революции, нарисовал хорошо некоторые полосы партизановщины. Его «Партизаны», «Бронепоезд», «Дите» впервые рассказали нам с достаточной художественностью о мужике в революции. И читатель после Иванова яснее, ярче, полнее узнал, представил себе мужика, который шел за большевиками. Читателя опалили своей новизной и художественной правдой картины из «Бронепоезда», где его Пентефлий Зиновов, вахлак с незастегнутой ширинкой, вместо того, чтобы убить пленного американца, берется его распропагандировать и где он, действительно—звериным языком, глазами, посредством лубочных картин из книги «Ветхий Завет» протопопа Соколова передает американцу свои братские, интернациональные чувства. Читатель не забудет его рассказа «Амулет», от которого, несмотря на некоторую манерную экзотичность рисунка, пахнет морем, на берегах которого живут первобытные кули—рабы японцев. Они трепетно ждут прихода русского с большим медвежьим сердцем, ненавидят «круглоголовых», мечтают о большом сказочном городе с легендарным героем Ле-и-но.

Вообще Вс. Иванову дан талант остро, зорко и крепко видеть. Но он воспринимает слишком многое глазом, поздрями и его художнические обобщения случайны, они еще лишены широкого охвата. Но он сумел показать в рассказе «Дите» нашу мужицкую революцию в ее национальном разрезе. И многие его зарисовки останутся живым памятником о днях революции. Такие картины есть и в его неудачном романе «Голубые пески» и несколько надуманном рассказе «Цветные ветра».

Будущее писателя всецело зависит от того, сумеет ли он свою основную крепкую способность видеть жизнь, ее краски, запахи и здоровые порывы претворить в органическое широкое художническое мировоззрение, или его окончательно поглотит манерность литературного вывиха—узорной изощренности и мелочности зарисовок, которыми он увлекался за последнее время. Его последние рассказы «Долг», «Заповедник» дают надежду, что первое в нем победит и он сумеет выйти на ясную дорогу здорового творчества, нужного современности.

О сибирской партизановщине и о колчаковщине пишет еще один сибирский писатель—В. Зазубрин—автор романа «Два мира». В. Зазубрин определенно талантлив. Правда, в этом романе и в своей повести «Общежитие», где он занят уже совершенно другой темой—извечной тяжелой пошлостью быта—он портит многие страницы неумеренно обнаженным реализмом. В этом отношении он с какой то трагической силой, крепким, броско отчетливым отчаянием подводит читателя вплотную к самым страшным картинам жизни. Порой может показаться, что писатель ненавидит жизнь,

Но в романе «Два мира» есть страницы, из которых бьет подлинная художественная сила и в общем остается нужное впечатление от этих широких, внутренне правдивых картин борьбы двух миров, несмотря на многие недостатки романа.

Зазубрина отличает от других писателей особый фанатизм, ненависть к из'янам нашего быта и бытия, фанатизм, который рождается у него в конечном счете из-за любви к здоровому человеку. Задача писателя показать победу этого здорового в жизни—в картинах живой действительности, не запугивая читателя «ужасами» ее.

Совершенно иначе подходит в сущности к тем же темам писательница Л. Сейфуллина.

И действительно, если у Зазубрина есть еще недоработанность, стилистический эклектизм, то Л. Сейфуллина, будучи всегда самостоятельна, давая свою собственную своеобразную форму письма, имея свой внешний лик, дает эстетически и социально большое содержание, лишенное в то же время нарочитого славословия современности. Ее стиль прост, когда он дан вам, как нечто законченное. И внешнее его своеобразие, казалось бы, заключается лишь в том, что он дает в описаниях быстро мелькающих событий отрывистую форму фраз, но при внимательном рассмотрении становится ясно, до чего музыкальна всегда та или иная форма фраз, до чего художественна, обязательна и естественна своеобразная расстановка отдельных слов в этой фразе. Самые обычные слова и фразы у Сейфуллиной звучат своеобразной и мужественной силой. И чувствуется, что это происходит от того, что автор не ищет формы для своих произведений—она рождается у него органически, потому что автор носит в себе художническое ощущение современной великой эпохи.

Наша эпоха срывает с людей, с их быта исторические вырожденческие наслоения и для того, чтобы художественно зарисовать ее, надо обладать первобытным, здоровым и крепким мировоззрением. Нужно стать снова до известной степени яснооким дикарем. Лик нашей эпохи Л. Сейфуллина запечатлевает нам в рассказе о женщине, оторвавшейся от своих здоровых корней и вновь их обретающей с революцией (четыре главы «Виринея», в рассказе о беспризорных, о «Правонарушителях», которые и в ужасающем уличном быту умеют сохранить в себе буйную силу органически побеждающей молодой жизни и, наконец, в широких картинах уездной, деревенской революции («Перегной», «Ноев ковчег», роман «Путники»), где из крови ужасов, нелепицы встает новая жизнь, побеждает новый, сохранивший свое здоровое человеческое нутро около земли мужик.

Исключительная зоркость к новому быту, своеобразный, живой и глубокий, жизнью брызжущий юмор, огромный диапазон описываемых событий и лиц, и все это наряду со светло-звериной, упрямо-монгольской жадностью к жизни,—к ее основным устремлениям—рождению, любви, простому героизму, ненавистью к ее извращениям («Преступление»), интеллектуальному кривлянью, героической внешней позе, наигранности, любовь к огромным будущим глубинам и возможностям жизни, говорят за то, что Л. Сейфуллина талант исключительный, сильный и своеобразный. Эти черты таланта делают ее писательницей, наиболее близкой нашему молодому поколению, о котором она много пишет (книга «Молодняк»).

Удачно зарисовал «Неделю» уездной революции, борьбы за революционные завоевания в своей повести «Неделя» Ю. Либединский. Пишет Ю. Либединский еще неумело, он еще крайне наивен, как художник. Но

когда он, не мудрствуя лукаво, несколько наивно пишет о весне, которая задремала где то на далекой лесной полянке, положив голову на колени; пишет о пуле, ведущей за собой звенящую и рыдающую струну, о беспартийной учительнице Лизе, рыдающей над трупами красноармейцев, которых она вчера учила арифметике, об этой страшной, но близкой нам уездной революции,—то чувствуешь, как это все близко и как образно и значимо возникает из подлинных событий наших дней. У писателя есть понимание, внутреннее ощущение смысла революции. И, прощая недостатки повести, невольно увлекаешься ею, где бесхитростно зарисована страница действительной жизни 20—21 годов. К сожалению, вторая повесть Либединского «Завтра» совершенно неудачна.

Этим художническим пониманием внутреннего смысла гражданской войны, наряду с уменьем писать крепко, остро, ярко и экономно, наделен только что выступивший с рядом отрывков-миниатюр из своей книги «Конармия» И. Бабель—писатель, от которого невольно ждешь будущих значительных произведений.

Внутренняя зоркость художника к событиям, их смыслу, это—основное, что придает тот или иной удельный вес писателю. Этой зоркости в конечном счете лишен талантливый Н. Никитин, автор «Рвотного форта». Произведение определенно мастерски сделано, но, несмотря на это, от него веет запахом мастерства эпох упадка. Получается внутреннее противоречие, определенная невязка между его нарочито-обрывистой, фрагментарно-мелькающей, гравюрно-вылизанной формой и той жизнью, которую автор пытается нам передать—неуклюжей, буйной, звериной суматохой гражданской войны. И только там, где он рисует вырожденческие фигуры Дондрюкова, Кати, там эта форма до некоторой степени получает свой смысл. Остальные герои Никитина, как его Пушков, даны без индивидуальной, биологической одушевленности, без захвата: они любят, убивают поразительно легко, совершенно механически. В них нет бессознательной веры в судьбу своего рода, класса. Это люди—вещи, мало возвышающиеся по своему социальному значению над покойным Арцыбашевским Саниным.

В этом отношении такой безыскусственный художник, у которого всегда несложен и неглубок рисунок, А. Аросев в своих очерках революционных событий дает больше: перед читателем встают живые образы генерала Самсониевского, Берсенева, романтика революции с налетом авантюризма, верные портреты простых бородатых солдат. Бытовые очерки Зуева «Смута», не претендующие на большее, таят в себе больше содержания о наших днях, чем претенциозные произведения молодых писателей, попавших в плен головного кабинетного столичного искусства.

Необходимо отметить молодого писателя С. Семенова, автора сборника рассказов «Единица в миллионе», романа «Голод», повести «Копейка». Пишет С. Семенов довольно безыскусственно, порой впадая даже в бесцветный реализм голых описаний. Но временами ему удается создать правдивые картины переживаний людей из эпохи 19—20 годов. Картины голода из его романа, описание гражданской войны (рассказ «На дорогах войны») отличаются нужной правдивостью, а порой—и внутренней напряженностью, полной трагической жути и в то же время живых, «светлых нитей» братского единства людей и живой крепости жизни. За это читатель прощает молодому писателю его недостатки—растянутость, голый натурализм и разжиженность в построении фабулы.

К бытоописателям эпохи гражданской войны должен быть отнесен и автор повестей «Повольники», «Октябрь», рассказов «Порыв», «Рок» А. Яковлев. Яковлев знает жизнь, чувствует ее просто, даже порой несколько поверхностно и упрощенно, но у него верный, здоровый реалистический нюх, знание быта, народного языка. Все это дало ему возможность правильно изобразить уездную революцию и ее героев. Основная драма его героя Былова изображена в «Повольниках» верно. Революция раздавила этого потомка Разиновщины, которая выродилась в нем в мелко-буржуазную анархическую стихию. Но вообще А. Яковлеву надо много преодолений и побед, чтобы дать настоящее произведение искусства. Он чаще строит, а не творит, и слишком обнажает подсобные леса, нужные ему в черновой работе. Порой совершенно напрасно тщится дать символику, хаотическое крушение и мятежицу революции. Это не в характере его простого реалистического дарования.

Интересное произведение о гражданской войне дал Ал. Малышкин. Его «Падение Даира»—поэма о героической осаде и взятии революционной армией Крыма, где скопились остатки врангелевских войск. В повести есть своеобразная художественная завершенность и цельность. Нельзя отрицать, что автор сумел дать подлинный пафос своеобразного эпоса идущих к жизни толп и масс, и, с другой стороны, картину своеобразно-мужественной гибели властителей старой культуры. Но, к сожалению, автор насаждает на события гражданской войны романтизм интеллигентского мировосприятия, правда, освеженного трепетом романтика интеллигента, который «уверовал» в революцию, заговорил о ней с искренним и буйным пафосом. «Падение Даира» можно поставить в промежутке между гражданski-вдохновенной речью Артура Арну о «Мертвецах коммуны» и подлинно-эпической поэмой «Слово о полку Игореве». Это то же, что и Ремизовское «Слово о погибели земли русской», но только с большим социальным фоном, с противоположными общественными устремлениями. Отсюда и большая крепость и сила малышкинского произведения, которое, несомненно, свидетельствует о интересном таланте. Будущее этого таланта исключительно зависит от того, по какой дороге пойдет он в своих исканиях,—по дороге ли исканий чисто литературных форм и словесной романтики и пафоса или, спустившись вглубь подлинной жизни, ее живой кровью он сумеет выжечь из себя останки Андреевщины, которую он унаследовал от нашей интеллигентской литературы начала XX века. Манерность, словесная искусственность заедает многих из молодых писателей. Так, далеко не бесталанный Н. Огнев, автор произведений «Евразия», «Крушение Антенны», «Щи республики», совершенно топит свои интересные сюжеты и замыслы в жонглировании словом, в нагромождении на основную канву фабулы случайных житейских анекдотов. Пока он не освободится от этого, он мало найдет охотников разбираться в его талантливой, но туманной словесной нумизматике. Отдельные яркие места в «Евразии» и других его рассказах, к сожалению, являются лишь счастливыми исключениями. Пожелаем Н. Огневу эти «счастливые исключения» сделать основой своего творчества.

Совершенно иного качества было творчество писателя А. С. Неверова (Скобелева), безвременно умершего 24 декабря 1923 года от паралича сердца.

Если его первые рассказы из жизни народного учительства были отображением переживаний «культурных одиночек», то в последних своих

произведениях, написанных во время революции, покойный писатель все шире и шире развертывал пред нами картины переживаний, где «жалость тянет назад, ненависть толкает вперед» (Роман «Гуси-лебеди»).

И революция осветила писателю это светлое, но еще суровое «вперед». С насыщенностью подлинного, крепкого реализма написаны им его последние произведения—«Андрон Непутевый» и особенно «Ташкент—город хлебный». Рисовал ли он нам новую деревню, выбитую из колеи старого быта войной и революцией («Бабы», «Захарова смерть»), изображал ли крестовый поход в Ташкент своего героя Мишки за куском хлеба или борьбу Андрона Непутевого с темнотой и политическим атеизмом деревни, в его беспощадных реалистических мазках мы всегда чувствуем наличие, еще скрытых, но подлинно-зоревых, буйно-малявинских отсветов бабьих настроений, крепость Мишкиной творчески-трудовой упорной цепки за здоровое существование и андроновского смутного, порой нелепого, но светлого ощущения грядущей жизни. В простоте его произведений, глубокой реалистичности, свидетельствующей о том, что их создатель подлинно «жизнью трепетал» в своем творчестве, заключается порука тому, что они будут читаться новым читателем, который теперь медленно, но верно овладевает ступенями культуры.

В лице Неверова Россия действительно утеряла здоровый, подлинно-творческий росток, который поднялся от корней народа.

К разряду реалистов и быто-писателей революции должно быть отнесено творчество Ф. Гладкова, сборник повестей и рассказов которого вышел под заглавием «Пучина».

Лучшая повесть «Огненный конь» резко выделяется из других произведений автора. В некоторых рассказах Гладкова замечается перегруженность описаниями и раз'яснениями самого автора, ненужными отступлениями и местными, часто недоступными читателю словечками. Этих недостатков почти нет в повести «Огненный конь». И картина революции в казачьей станице нарисована ярко, живо и крепко. Образ Гмыри—предревкома казацкой станицы, у которого революционное чувство—«внутре, в кровях. будь оно проклято... А где он, мой враг?—А во! В жизни, в когтях моих, друже!»—дан существенно и сильно.

В этой повести украинские словечки не служат помехой читателю, а наоборот,—воскрешая конкретную картину революции,—наполняют фабулу этой удачной повести живой кровью и подлинным революционным пафосом.

Так и в произведении писателя А. Серафимовича «Железный поток» украинский быт, язык нисколько не нарушают органической ткани этой революционной эпопеи.

Серафимович описывает поход голытьбы, которую начало вытеснять и истреблять после первого падения советской власти на Кубани богатое старожильческое казачество. Их поход это—новая, своеобразная Одиссея, где героем является эта, социально ставшая во время похода цельной, громада—войско голытьбы, идущей со своими семьями и со всем своим скарбом. Писателю удалось на этом, казалось бы, однотонном, однолинейном фоне создать большой, живой, своеобразный мир, совершенно своеобразную и внутренне новую жизнь, на которой лежит яркий отпечаток нашей стремительной и революционной эпохи.

Порой автор загружает свое произведение лишними подробностями, длинными описаниями природы и пафосно-публицистической лирикой, на-

напоминающей местами лирику Гоголя, но эти недостатки в конечном счете не мешают всей эпопее быть интересным и органически выращенным художественным произведением. И особенно радостно видеть эту победу, победу не малую для писателя, который празднует свой 35-летний литературный юбилей.

Нельзя не упомянуть о нашумевшей повести А. Тарасова-Родионова «Шоколад». Но о повести нашумели сверх меры. Нельзя отрицать ее занимательности, но придавать ей большое значение не приходится. Автор сумел остро поставить один из современных вопросов о праве человека на жизнь другого, сумел нащупать интересную фабулу, но художественно разрешить, оформить это в целостное и органическое построение ему не удалось. Повесть ходульна, лжива. Фальш ее в конце-концов доведена до последней степени, так что порой—особенно в конце—от нее отдает определенным запахом бульварщины. Автор взгромоздил своего героя—председателя чека Зудина—на ходули средневекового героя, заставив его в момент об'явления ему несправедливого смертного приговора весело постукивать пальцами по столу. Но все же эта повесть из-за острой фабулы и из-за создавшегося вокруг нее до известной степени «общественного скандала», вероятно, будет возбуждать к себе некоторое время известный интерес.

К интересным и значительным произведениям о революции должен быть отнесен небольшой роман С. Буданцева «Мятеж», в котором он зарисовывает историю двух мятежей на Волге: мятеж белогвардейцев и мятеж левого эсера полковника Калабухова против большевиков.

Это единственная, в сущности, попытка писателя художественно понять «индивидуалистов» в революции.

Основанием, канвой для романа, можно думать, послужила довольно громкая история полковника Муравьева.

Типы Калабухова и особенно его друга Северова, издерганного морфиниста, импотента, но оригинально умного человека, задуманы и выполнены автором довольно удачно. И вообще роман должен быть отнесен к удачным художественным документам о людях, которые в революции не сумели смирить свою индивидуалистическую гордыню и из-за этого пришли в трагический тупик, оторвавшись от громады новых классов, которые двигали революцию вперед.

С. Буданцев, судя по этому, его единственному, крупному произведению, писатель умный, что обнаруживается в четком, временами слишком архитектурно обнаженном до скелета построении романа и его старательно-документальном обосновании. Кроме С. Буданцева (если не брать во внимание неоконченный роман Л. Сейфуллиной «Путники»*) судьбам интеллигенции в революции посвящен роман В. Вересаева «В тупике». Как и дореволюционные произведения этого уже немолодого писателя, этот роман написан внешне с предельной, реалистической добросовестностью, порой—документально.

Трагедия, тупик интеллигенции в революции писателем изображен верно. Интеллигенция не приняла, не поняла революции—и революция их отринула. Отринула самым безжалостным и беспощадным образом. И писатель, как и в прежних своих произведениях «Без дороги», «К жизни», умело, вдумчиво развертывает картины столкновений своего главного героя Ивана Ильича Стратонова, врача земца, социалиста, побывавшего не раз в

*) «Путники» Роман. Часть I-я. «Сибирские Огни» № 3 за 1923 г. и № 1 за 1924 г.

царских тюрьмах, и его дочери Кати, меньшевички. Выхода герои Вересаева не нашли и найти не могли. Они остались до конца одинокими и беспомощными. Правда, Катя в конце романа уезжает, томимая бездействием, но куда уезжает, это остается неизвестным.

В романе дан автором ряд типичнейших картин нашей революции, ряд других характерных и типичных для нашей интеллигенции лиц. Роман читается с острым интересом. Внешне писатель стремится к предельной об'ективности изображения и «неискренней» тенденции в романе не найти. Но, однако, роман однобок: верно, глубоко, с большим пониманием автор нарисовал интеллигенцию. И только интеллигенцию. Другая же сторона, красноармейцы, рабочие изображены им лишь внешне. Казалось бы, внутреннее, глубокое изображение их и не входило в задачи автора, который писал роман об интеллигенции. Но дело в том, что от большого писателя мы вправе требовать, чтобы даже при изображении эпизодических лиц он умел заглянуть в их сокровенное. Все же революционеры из простонародья Вересаевым изображены механически: за ними он не чувствует, даже в житейских мелканиях, больших человеческих переживаний. Они нарисованы не об'ективным художником, а даны лишь в том, очень предельном в глубину, охвате, с которым их воспринимали главные герои романа.

Но, несмотря на это художническое ограничение, роман остается большим литературным документом о нашей эпохе, о революции, об интеллигенции в революции.

Интересен и, пожалуй, необычен для русской литературы писательский лик Е. Зозули. Большинство его рассказов—это фантастические новеллы, темы которых, однако, всегда близки нашей современности. У него есть и бытовые рассказы о революции, как его хороший рассказ «Мелочь», но гораздо характернее для него его рассказы «Об Аке и человеке», «Гибели главного города» и «Грамофоне веков». Писатель умеет замыслить определенную, занимательную, утопическую фабулу и на ней дать свое художническое отвращение к жестокости и пошлому мещанству старого мира. В писателе чувствуется умный скептик, который знает, что «путь к свободе прост, но горек», и он с какой то сдержанной усмешкой наблюдает этот путь, всегда, однако, умея художнически разглядеть Короленковские огоньки, которые постоянно зовут человечество вперед. И писатель своеобразной фантастикой и сатирой, а иногда и простым изображением быта умеет оттенить зовущее мерцание огней.

Нам остается еще упомянуть хорошего писателя-бытовика Новикова-Прибой, который, хотя непосредственно и мало уделяет внимания событиям последней революции, но у которого запах подлинной революции ощущается и в рассказах о быте дореволюционном. Лучшее, что написано им, это повесть «Подводники». Здесь дано яркое описание жизни матросов в подводной лодке во время русско-германской войны. В повести ничего не говорится о революции, но зарождение ее чувствуется почти в каждой странице, и автор совершенно нетенденциозно рассказывает здесь и историю собственного революционного прозрения. Моторист Зарейкин, игривый, озорной, как дельфин, и мрачный радио-телеграфист, унтер-офицер Зобов встают перед читателем, как живые. Все это, вместе взятое, рождает у читателя ощущение давящей капиталистической бойни, которая превратила людей в винтики, оторвав их от жизни, от общества, от любви. Здесь чувствуется грозовое предощущение революции.

К бытовикам революции, наконец, должен быть отнесен и П. Низовой, сибирский писатель, в простых зарисовках которого есть наличие жизненной правды, но нет конечной художественной силы и образности изображения.

Наконец, за последнее время обратил на себя большое внимание молодой писатель Леонид Леонов. Его писательский лик еще несколько неясен. Но одно ясно: это на редкость одаренный художник. С первой строчки его произведений вы чувствуете наличие своеобразной и органической мощи изображения. Его повесть «Петушихинский пролом» посвящена изображению уездной революции. В повести есть поразительной силы картины. Но писатель еще отрывается от действительности и порой в этой повести вы чувствуете, как он становится на некие «мистические» ходули, с которых теряет совершенно всякую связь даже с «идеальной реальностью». Неясно еще—куда смотрит писатель—вперед или назад. Подобной же кабинетной выдумкой отдает от некоторых других рассказов, напр., от рассказа «Шахматная королева», повести «Конец мельного человека» и даже от интереснейших «Записок Ковякина». Но, нисколько не рискуя быть неудачным пророком, можно уже теперь сказать, что Л. Леонов вырастает в интереснейшую литературную фигуру. И то, что в нем чувствуется необычайная жадность к жизни, какое то особое, озаренное, мятежное беспокойство, дает основание думать, что скоро читатель прочтет его новые, художественно совершенно установившиеся и внутренне определенные по своему значению произведения.

Вне плана революции пишет свои хорошие, простые «Лесные рассказы» А. Перегудов. Но как радостно бывает перелистать его книгу, в которой часто читатель ощущает биение сердца подлинного язычника пантеиста, которому дано видеть в природе то, чего мы обычно не замечаем.

И у Перегудова совершенно нет «индивидуального» привкуса, который, например, вносит всегда в природу «русский Гамсун» М. Пришвин.

М. Пришвин, известный читателю, как своеобразный художник-этнограф и «реалистический мистик», напечатал первую часть своей автобиографии под заглавием «Кащеева цепь». Теперь вышла книгой «Курымушка». Произведение крайне значительное во многих отношениях. Это не только история внутреннего роста человека, написанная с предельной простотой и в то же время предельной поэтичностью, но и подобно Короленковской «Истории моего современника», история целой исторической эпохи. Тут дана и внутренняя история светлой эпохи либерализма, которая обрывается глухим взрывом 1 марта 1881 года, затем идут восьмидесятые годы, вплоть до глухих 90-х годов российской реакции. М. Пришвин, как писатель, повидимому, еще далеко не завершил своего, судьбой положенного, круга развития. И «Кащеева цепь» яркое тому свидетельство. Попрежнему—с известным уже читателю непререкаемым талантом написан изданный во время революции роман «Преображение» С. Сергеева-Ценского. Отрывки этого романа были опубликованы еще до революции. Во второй и третьей части писатель переходит к изображению «наших дней». Это будет поистине испытанием предельной силы этого выдающегося и глубокого писателя.

Вышло несколько книг за время революции писателя В. Лидина. Назовем «Мышиные будни» и «Морской сквозняк».

Первая книга—рассказы о российском обывателе во время революции; вторая—о европейском, немецком обывателе во время революции.

Обе книги написаны с присущим этому писателю тонким, порой филигранно-тонким мастерством и наблюдательностью. Изящным стилем писатель очерчивает силуэты зачерчиваемых им фигур обывателей. Есть много метких и изящно-умных картин и умело обобщенных наблюдений. Утомляет порой лишь их однообразная форма. Писатель не изображает, а описывает, рассказывает. Он все время присутствует перед вами, как рассказчик, хотя его интонации никогда не навязчивы, они всегда изящны и округленно мягки. Порой лирично неопределенны, что дает основание думать, что писатель во всякую минуту кого-нибудь имитирует. Так, до революции думали, что В. Лидин подражает И. Бунину; теперь Б. Пильняку. Нет конечной художественной определенности в конструкции его рассказов и повестей, что, однако, не лишает их занимательности и известной художественной значимости.

Об обывателях же и революции пишет талантливая Ольга Форш, выпустившая томик рассказов именно под заглавием «Обыватели». Форш умеет остро видеть людей, завороженных бытовой неразберихой и нелепостью. В этом отношении ее рассказы художественно ярки и оригинальны. В журнале «Россия» начался печатанием ее большой роман «Одеты камнем». Это уже совершенно иного рода полотно. Писательница здесь от лица старого генерала, дожившего до октябрьской революции, рассказывает нам о эпохе Александра II, о придворной аристократии, о самом Александре II, искусно переплетая черты нашей эпохи, воспринимаемой генералом-рассказчиком, с историческим фоном 60—70 годов. Судя по началу романа, это произведение обещает быть безусловно фабульно интереснейшим и, вероятно, художественно незаурядным литературным явлением.

Революция нисколько не уменьшила удельного веса писательских имен Ал. Толстого и Вяч. Шишкова. Оба они, каждый по-своему, сумели подойти к ней, как подлинные незаурядные художники.

Вяч. Шишков подходит к изображению революции, как крепкий, жизнерадостный бытовик. Он выворачивает перед читателями куски, порой глыбы подлинной российской жизни. И в революции бытовая жизнь глухой провинции для писателя попрежнему уродлива и полна нелепостей, нелепостей самого карикатурного, но реального свойства. В таком разрезе он подходит к жизни в своих юмористических рассказах типа «Спектакль в селе Огрызкове». Но писатель берет революцию и шире, он пишет роман «Ватага», где дает большую картину сибирской партизановщины. По богатству жизненного материала, знанию народа, его языка, быта, он превосходит всех писателей, писавших о сибирской партизановщине. Он рисует тип партизана-старообрядца Зыкова, его помощника-горбуна Наперстка, похабника Гераски; рисует поразительно крепко, ядрено и ярко Также ярко дает он и внешнюю картину сибирской разгульной партизановщины—сцены боев, грабежей, казней, безудержного разгула российски-исконной Пугачевщины. Его «Ватага» почти достигает силы современной эпопеи. Говорю «почти», потому что, к сожалению, этой конечной полнозвучной силы в ней нет. Художник не досмотрел социального смысла, живого отсвета нашей эпохи в своих партизанах. Он сумел нарисовать их с яркостью Репинской кисти, жизненно, совершенно правдиво, но не нашел конечного, человечески-социального, эпохального, устремления в их действии. Говоря языком классической литературы, его художнического зрения хватило на зарисовку драмы своих героев, но показать их трагедию,

т.-е. внутренней, хотя бы мечтанной победы их, их идеала он ни разу не сумел обнаружить ни в одной живой черточке.

Поэтому мужики Вс. Иванова, пропагандирующие американца, красноармейцы Л. Сейфуллиной, светло-наивные в своей жестокости, социально оказались значительнее Шишковских партизан. И поэтому любовь его главного героя оказалась неоправданной, случайной, а любовь косвенно всегда является для героя его конечным эстетически-социальным оправданием.

А. Толстой, до революции красочный и крепкий бытописатель дворянства, собственно к центру революции еще не подошел. Но он сумел художнически понять ее, это ясно после его «Аэлиты». Его красноармеец Гусев—это и есть живое воплощение революции.

Вот тот желанный герой, герой—живой, взятый с нашей планеты, из уездного захолустья, который так наэлектризован реальным зарядом революции, что этого заряда ему хватает даже на то, чтобы делать революцию с тем же наивным, стихийным упорством и на Марсе. Одной фигурой Гусева А. Толстой сдал экзамен на звание подлинно современного писателя.

Роман его «Хождение по мукам» еще не закончен. Пока мы читали лишь первую его часть, где есть лишь картины февральской революции. Но предреволюционные сумерки написаны хорошо. Одна фигура поэта Бессонова—эта человеческая мреть и призрак дореволюционного Петрограда стоит многих томов. А. Толстому дан поразительно ясный и глубокий талант, им он умеет оправдать почти все страницы своих писаний. Думаем, что этот исключительный талант найдет конечный путь к победе и во второй и третьей части задуманной им эпопеи о современности.

Особой фигурой среди других писателей стоит талантливый, уже не молодой, писатель А. Чапыгин. Революция не дала ему новых тем. Он пишет о тех же людях, о которых он писал в своей повести «Белый скит». Теперь он также рисует нам с той же повышенной колоритностью «одиноких русских бродяг, которые населяют его сказочно реальные «Лебяжьи озера». Он не знает коллектива. Его герои не чувствуют опоры в окружающем, они все мечтатели и странники, словно цветы, оторвавшиеся от корней, находившихся когда то на дне чудесного океана. Они живут мечтой, грезой. Они больны. Но есть у писателя сила и к этим бледным мечтателям вызывать глубокий интерес. Несовременников делать порой нашими вечными современниками.

Так, другой интересный и незаурядный писатель А. Соболь этих одиноких странников, эту социальную «пыль» показывает нам из другой среды, из среды интеллигенции. Но в силу того, что интеллигенция вообще безличнее, чем лесные люди Чапыгина, у Соболя рождаются лишь «обломки», которых безвозвратно сносят и затирают бурные волны современности как в книжку из его повести «Салон-вагон». Но и эти «обломки» явятся документом, хотя бы и косвенным, о том, как стремительно и бурно бушевали жизненные волны нашей исключительной эпохи.

Гораздо печальнее дело обстоит с теми писателями, которые эти «обломки», эти выброшенные жизнью щепки стремятся возвести в знамение времени, в эпохальный зенит нашей современности. Этим постоянно и упорно занят «гениальный» А. Белый. То он пишет свои «Записки Чудака», то чудачески мистическую эпопею о своем «я». О, конечно, эпопея его написана прекрасно. Она, как древний монумент, высечена вся из «почти» Го-

мировского гекзаметра, в ней много словотворчества, но в ней нет жизни. В этом «я» не отразилось ни на каплю общечеловеческое «я». И от его магии, от его антропософии пахнет не только социально-вырожденческим изотеризмом, но безнадежно-мертвой улиточностью и просто... тлением смерти. Искать в дни величайшей революции «центр мира» в теософии, выросшей в одном из Европейских курортов, где лечится Замятински-развратная европейская купчиха, это занятие недостойно не только русского писателя, но даже Чеховского профессора Серебрякова.

А. Белый громоздится на ходули «гениального писателя», а на самом деле лишен способностей самого заурядного беллетриста. Распухший—*способностью неудержного писания*—этот современный безглазый Циклоп являет из себя символическую фигуру творца, живущего на проценты своих папаш—перелицованного интеллигентски христианства, усохшей философии средневековья и т. д. Но безнадежна попытка жить на проценты, когда жизнь—революция реквизировала без остатка самый капитал.

Мы совершенно было забыли писателя, пользующегося в настоящее время чуть не самым громким успехом. Это автор «Хулио Хуренито», «Жизнь и гибель Николая Курбова» и т. д.—Илья Эренбург. Но мы забыли его законно. Вербицкая забыта уже в наши дни. Так жизнь скоро заставит забыть фельетоны, порой бульварного типа—И. Эренбурга.

В данном обзоре не место доказывать и разбирать его романы, сшитые наскоро модной портнихой из обрезков буржуазных газет, модных философских брошюр и кофейного остроумия.

Остается еще два самых сильных художника русской литературы, это Евг. Замятин и Максим Горький.

В Замятине русский читатель мечтал после его незабываемого «Уездного» найти нового, обновленного грядущим Достоевского (или Гоголя), несущего жизни здоровое, социально-художественное дуновение своим творчеством.

Читатель помнит, конечно, его повесть «Островитяне», где он «припечатал» неискоренимое англосаксское мещанство и самодовольство. Пришла революция. И что же? Этот писатель «озлился». И сам из такого блестящего *художника-нелицеприятного и беспощадного он готов окончательно* встать на путь обывателя, брюзжащего на революцию.

Правда, талант—огромный талант—спасает его еще пока-что, но все же в последних своих произведениях он не стал шире, а, наоборот, сузился и внутреннего ростка не дал.

Там, где он касается быта революции, как в «Пещере», там его собственные образы не возвышаются над образным мышлением его героев-обывателей. С тем же внешним мастерством, но без всякого художественного оправдания и даже без попыток к нему, он пишет «злопыхательские» пародии на коммунистов (Послание смиренного Замулия), а революция для него—«огромная мерная поступь какого то мамонтейшего мамонта» («Пещера»).

Его сатира в данный момент рождается не от духовного богатства пламенно-оскорбленной души за грядущее, за органические из'яны жизни, а лишь из личной обиды человека, у которого нарушен *внешний* строй жизни. Отсюда, если не бесспорный ущерб его художественной силы, то безусловно бесплодное топтание на месте.

Но мы полагаем, что это временное явление. Замятин слишком большой художник, чтобы остаться с мертвыми. Кроме того, он просто слишком умен для занятий и забав «старосветских помещиков».

Остается сказать несколько слов о том художнике, с которого мы начали наш обзор.

Это М. Горький. О творчестве Горького, конечно, не место писать в этом обзоре, где невольно приходится ограничиваться несколькими строками по отношению к каждому из писателей.

М. Горький попрежнему остается самым здоровым, самым национальным и в то же время революционным художником. Он за время революции печатал в России свои воспоминания, которые теперь вышли отдельной книгой под заглавием «Мои университеты».

В этой книге он воскрешает перед нами всю Россию. С какой то, ему одному присущей, широчайшей устремленностью, окрыленностью, он умеет рассказать о всяком человеке. И помимо захватывающе радостного впечатления, которое получаешь от бьющих через край красок его кисти, читатель всегда, даже при восприятии самых мерзостных картин русской провинции, ощущает наличие большого художника; над его страницами попрежнему вьют крылья буревестника. Сквозь обычные буквы, простые слова (а Горький пишет необычайно просто) всегда проступает красная кровь, от которой загорается жажда жизни, движения, рождается позыв к творчеству.

Россия встает перед читателем живой. Вот она—уродливая, сектантская, темная, полная суеверий, бытовой нелепицы, уродов-людей. Но какая же в ней неизбывно-неискоренимая силища, какая целина и сколько крепкой неизжитой кровищи. Много людей гибнет в порах и закоулках нашей нелепейшей жизни, но за ними с непреоборимым упорством встают столь же биологически здоровые люди... И от картин этой упрямой крепости жизни, читателя невольно охватывает безграничная и действенная жажда жизни.

Горький, как художник, стал сдержаннее, внешне немного словно заразился скепсисом, но по существу он попрежнему остается самым радостным и светлым певцом жизни, ее неисчерпаемых глубин.

На этом приходится закончить наш очерк.

В данный момент, несмотря на то, что наши молодые писатели не дали законченных, широчайших полотен, можно быть спокойным и уверенным за судьбы нашего искусства, нашей художественной литературы. Светлая стихия Горького побеждает стихию темной Андреевщины, извращенной и изломанной мистики Андр. Белого.

Первые, здоровые всходы уже видит читатель. Он с уверенностью может ждать богатейшего урожая, который неизмеримо обогатит наши первые социальные победы над старым миром.

Лицо интервенции.

(По материалам Омского отделения «Общества содействия жертвам интервенции»).

Г. Вяткин.

1. Пятипудовый мешок.

По лестнице Омского Медицинского Института, кряхтя и горбясь, подымается студент К., с мешком за плечами.

Мешок большой. В него можно уложить пять пудов овса. Но в мешке не овес, а бумага. Сотни заявлений, свидетельских показаний, доверенностей.

«Настоящим я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что защиту и представительство моих интересов и прав, по заявленной мною претензии, на возмещение потерь, понесенных мною от враждебных действий иностранных правительств, я полностью передаю Обществу содействия жертвам интервенции»...

Студент с мешком проходит в канцелярию института, где помещается Губернское отделение общества.

— Здравствуйте, товарищи. А вот и я с портфелем.

Он тяжело кладет на стол свой «портфель»—мешок из-под овса или картошки—и поясняет:

— Часть этих заявлений, штук триста, придется вернуть: нет печатей, а кое-где не хватает и подписей.

Студент—технический сотрудник комиссии по рассмотрению претензий. Он передает материалы в комиссию и из комиссии. А материалов так много, что они не влезают ни в какой портфель,—приходится таскать в мешке...

Комиссия сидит часы, дни, долгие вечера. Проверяет, высчитывает, подытоживает, составляет акты и протоколы.

А из уездов, из деревень—по почте и с оказией—прибывают пухлые пачки новых претензий. Они часто перевязаны мочалой и от них еще пахнет степью и ветром.

2. Как мы их собираем.

В Губернском комитете Общества содействия жертвам интервенции работает почти исключительно интеллигенция: члены коллегии защитников, профессора, агрономы, врач, журналист...

В начале работы некоторые скептически говорили:

— Пожалуй, ничего не соберем. И по очень простой причине: мы, русские, слишком скоро прощаем и забываем. Кроме того, у подателей претензий нет гарантии что-нибудь получить. Обещать им возмещения убытков мы не можем, а без этого дело не пойдет.

Тем не менее, работу добросовестно начали и ни на один день не прерывали.

Делу много помогли рабфаковцы и студенты. Раз'езжаясь в мае и июне на каникулы, молодая ватага заходила по пути к нам, брала наши воззвания, бланки для заявлений, инструкции и двигалась «раскачивать деревню»...

Через два месяца начали сказываться результаты: пришла большая посылка из Калачинского уезда, сразу 800 заявлений, почти исключительно от крестьян. Правда, значительную часть этих заявлений пришлось возвратить для исправлений (не были заявителями соблюдены все формальности), но даже и скептикам стало ясно:

— Обиды не забыты, счет пишется.

Пишется, порой, грязно, коряво, неумело. И господа «культурные» интервенты, конечно, не преминут к этому придраться. Где уж нам тягаться с ними в чистописании и формалистике! Но пусть они учтут и то, что в глуши какого-нибудь Тарского уезда, в темной чаще урманов, на сотни человек едва найдется один замусоленный огрызок карандаша, и чуть не 90 проц. населения не умеют написать своей фамилии!

Однако, и из такой глуши, отовсюду, где побывали интервенты и поддерживаемые ими белые отряды, уже четвертый месяц самотеком текут десятки и сотни заявлений. Обществу остается только принимать их и подсчитывать.

И почти каждый день к секретарю общества приходят рабочие, служащие, инвалиды спрашивают: как написать заявление, как заверить доверенность.

Являются представители месткомов, профсоюзов, красноармейских частей, и у всех одно требование: дайте бланков.

Некоторые уезды, в силу требований с мест, печатали бланки самостоятельно, на собственные ничтожные средства от членских взносов.

Всего в губернию брошено уже около 18.000 бланков, но требования на них еще продолжают поступать.

3. Разговор около выставки.

С 1-го ноября губернский комитет общества решил развернуть широкую кампанию по сбору претензий, дабы поскорее выявить их основную массу.

В связи с этим устроили небольшую выставку. Договорились с центральным Омским магазином Сибторга, он уступил нам на неделю 3 окна-витрины, электротрест дал бесплатно лампочки, и мы выставили образцы форм заявлений, доверенностей и пр., несколько плакатов, цифры подсчитанных убытков от интервенции, кое-какую литературу о ней (книгу полковника *Уорда* «Интервенция в Сибири» и другие) и символический рисунок: две чашки весов, на одной счета иностранных банкиров, на другой—наших рабочих и крестьян.

В Октябрьские праздники (7—9 ноября) перед выставкой толпился народ, моментами вспыхивали летучие митинги. По долгу и влечению журналиста, я не раз наблюдал здесь характерные сцены и разговоры.

Проходят две хорошеньких совбарышни. Щебечут о Мозжухине и Лисенко. Остановились на полминуты, заглянули в окна: «Неинтересно», и, щебеча, затопали каблучками дальше. «Что им Гекуба! что они Гекубе!».

Не задерживаясь, проходили равнодушно мимо нэпманы, дамы в перьях и мехах и страдающие мыслебоязнью обыватели.

Но неизменно задерживались, стояли и смотрели рабочие, красноармейцы, *случайно бывшие в городе крестьяне.*

Смотрели сурово, читали внимательно. Кивали головой на весы и говорили:

— Куда им до нас! Наша перетянет. У них капиталы да имущество, а у нас тыщи жертв... одних вдов да сирот сколько...

— А правда, што англичане полтора миллиарда золотом требуют?

— Должно быть, правда. Англичане—они жадны... У них, брат, каждая копеечка на счету.

— Копеечку-то считать они ловкачи, а вот подсчитали бы, сколько нашего брата расстреляно да замучено.

— Они-то не расстреливали... это наши каратели...

— Наши, да ихними руками! оружие и аммуницию-то нешто не англичане дали? а чехо-словаки, польские легионы, японцы, нешто на прогулку сюда приходили? Тут, товарищи, сам чорт не разберет, где наши, а где не наши. И коли наши да заодно с чужестранцами—все равно один коленкор. Тои задавали иностранцы, пускай они и ответ держат... Мы их в гости не просили и подарков им не делали. Поэтому и разговор такой: лишку не запрашиваем, *а што взял—подай!..*

В этих простых словах было достаточно оправдания нашей работе. А большинство трудового элемента говорили и говорят именно так.

4. Поток заявлений.

Поток прорвался в тот самый день, когда мы получили 800 претензий из Калачинского уезда.

С тех пор прошло около трех месяцев, и мы имеем уже около трех тысяч заявлений. Поток их течет, то ослабевая, то усиливаясь, но не иссякая.

Впереди всех уездов идет Калачинский. Он один дал 1650 претензий. Остальные уезды слабее, а Омский и Калачинский начали раскачиваться только к началу декабря.

По приблизительному подсчету на 1 декабря, всего поступило претензий на сумму около 2-х миллионов рублей. Есть основания полагать, что к 1-му января эта сумма удвоится, а в дальнейшем, может быть, и удесятерится.

Каков контингент заявлений?

Больше всего—крестьяне. Всех возрастов и всех социальных групп. Любопытно и характерно, что наряду с беднотой и средняками подают заявления и кулаки, у которых было реквизировано контр-революционными отрядами по пять, по шесть лошадей, по несколько сот пудов хлеба.

Рабочих—меньше. И убытки у них чаще всего не имущественные, а личные: аресты, насилия и т. д.

Еще меньше—служащих, интеллигенции.

Поступил ряд заявлений от кооперативных организаций, главным образом, сельских потребительских кооперативов и кредитных товариществ. Это только начало. По этой линии работа еще развьется.

Что касается подсчета убытков в отношении государственных учреждений и сооружений, путей сообщения и т. д., то эта работа в задачи об-ва не входит. С нас достаточно и тех частных заявлений, которые приходится таскать мешками.

Важны ведь не только цифры подсчета имущественных убытков. Для истории гораздо важнее выявить моральное лицо интервенции:

— Интервенция, как она есть.

5. Убытки имущественные.

«1 лошадь 60 руб., двое саней 5 руб., два хомута 7 руб., тулуп 15 руб., 4 барана 40 руб., 20 пудов овса 10 руб., 50 пудов пшеницы 50 руб.».

Читаете одно за другим сотни заявлений и в глазах все время пестрят: лошади... коровы... бараны... тулупы... валенки... овес... пшеница... сено... хомуты... сапоги... сани...

Даты всех этих конфискаций и реквизиций относятся к двум периодам: к лету 1918 года—господству чехо-словаков, и к осени 1919 года—моменту отступления белых, а с ними и чехо-словаков, польских легионов, румын, англичан, японцев... При этом и в первый и во второй период конфискации, реквизиции и всяческие насилия производились и «в розницу» и «оптом».

Среди собранных ныне претензий не мало коллективных, поданных целыми деревнями и селами. В дер. Ярославке, Тюкалинского района, пострадало 45 домохозяев на 7.271 рубль. В селе Тевриз, Тарского уезда — 24 крестьянина на 11.422 рубля.

В селе Камышном, Крестенского района, Калачинского уезда, пострадало 97 человек. Здесь реквизировано: 109 лошадей, 8 голов крупного рогатого скота, 27 баранов, 4526 пудов хлеба, 170 сбруй, 430 предметов одежды, 337 пудов сена, 62 пары валенок, 84 шубы, 164 саней, 37 кошевок и 17 веревок; всего на сумму 17.603 рубля.

Брали не только предметы «первой необходимости», но не брезговали и кое-чем другим. В д. Тотентовской, Тевризского района, Тарского уезда, у Галея Чалимова взято 15 пудов кедровых орехов и 10 женских платьев. Там же, у Ибрагима Курманова, отобрана шелковая шаль. В Меньшиковском районе, Татарского уезда, у Григория Архипова отнято 8 женских платьев.

В с. Коневском взято... два колокольчика. У извозчика Щербакова, в Таре, взято, кроме лошадей и одежды, золотое кольцо и серьги.

При отступлении с бою брали подводы, загоняли на смерть лошадей.

В сотнях претензий одни и те же жалобы:

— Дежурил с подводой.

— Отдал двух лошадей в подводу.

— Угоняли с подводой за полтораста верст.

Максим Бажин, в Крутинском районе, проездил с подводами 15 дней.

Жену крестьянина Федора Еремина (село Коневское) взяли в подводу (очевидно, за недостатком мужчин) сразу после родов, отчего она полгода болела.

Крестьянин Калачинского уезда Семен Семенов был насильственно взят в подводу и увезен от своего села за 300 верст, откуда—пешком, по-

луголодный—вернулся домой только через 28 суток. Крестьянин Яков Несчисляев, Тюкалинского уезда, был увезен в Новониколаевск за 900 верст и вернулся домой через несколько месяцев пешком, с больными ногами.

На вопрос, каким образом и при каких обстоятельствах произошла реквизиция или конфискация, часто встречаются однородные, краткие, но выразительные ответы: «отобрали нахально», «нахальным образом увели», «нахально и без разговоров»... И таким наивным после этого кажется пункт 9-й заявления: «доказательства убытков—реквизиционные квитанции, расписки о конфискации».

— Какие уж там квитанции и расписки! Хорошо еще, что хоть свидетели-то есть...

Не церемонились ни со школами, ни с кооперацией. Так, в Еланской семилетней школе, Татарского уезда, «поломано 10 парт до негодного состояния», взято 10 штук счет и (очевидно, из физического кабинета) 2½ золотника золота и 2½ зол. платины. В Кушаковской школе «выбиты все стекла, уничтожена часть библиотеки и разрушены надворные постройки».

А вот выписка из кассовой книги Чановского союза кооперативов: «В ночь на 26 ноября 1919 года, при отходе последней части отступавших войск, был взломан склад и разбит гирями несгораемый денежный ящик с содержанием остатка наличной кассы в сумме 233.230 руб. 66 коп., каковые деньги расхищены. Кроме того, похищены документы, находившиеся в том же ящике, а именно: векселя от потребительских обществ, чековые книжки, договора с разными лицами и учреждениями, паспорта некоторых служащих, подлинный договор союза и пр. В заключение разгрома, склад был сожжен, что сим и удостоверяется. Председатель правления В. Н. Рухлядев, члены правления: П. Н. Акимов, К. Абасколов, П. Мельников. Кассир Малышев, артельщик А. Сазькин».

Пострадала в Чанах и районная контора Губсоюза: сожжено двухэтажное каменное здание, площадью 110 кв. сажен, в нем погибло на 50.000 рублей товаров и оборудования на 5.000 рублей.

Кооперативы пострадали еще и от другой беды, о которой, например, рассказывает в своей претензии председатель Егорьевского об-ва потребителей (Тарского уезда, Екатерининского района). В этой претензии мы читаем:

«В начале сентября 1919 года все паевые и вступительные взносы на 964 руб. 40 коп. и вклады членов правления в сумме 535 руб. 60 к., а всего на сумму 1.500 руб., по приказу колчаковской власти, были взяты и обменены на краткосрочные купоны, каковые через несколько недель оказались бесценными, на них ничего нельзя было приобрести, благодаря чему Егорьевское общество кончило функционировать».

Такая история произошла с Верхне-Бобровским об-вом потребителей, с Утьминским и другими.

Имущественные убытки тесно связаны во многих случаях с личными потерями. Длинный ряд заявителей об'единяет и то и другое.

Так, по Ключевскому району, Славгородского уезда, представлены следующие жуткие цифры: интервентами расстреляно 55 человек, подвергнуто порке 351 чел., сожжено 8 дворов, уничтожено 88 лошадей, реквизировано 6470 пудов хлеба.

По Волчихинскому району того же уезда подвергнуто порке 402 человека, реквизировано 2150 лошадей, уничтожено 4537 голов мелкого скота и птицы.

Вообще же личные потери занимают очень большое место, еще ярче выделяют лицо интервентов и их белых слуг, и на этом следует остановиться особо.

6. Личные потери, насилия.

Большое количество претензий говорит об убытках и личных потерях—от болезней.

Волна отступающих белых и интервентов несла с собой много всякой заразы, а, главным образом, сыпной тиф на людей и чесотку на животных.

Старик 67 лет Михаил Конев пишет: «стоявшие солдаты занесли тиф, на скотину свороб» (чесотку).

Старик 70 лет Егор Завьялов жалуется: «сын Ерофей 19 лет заболел от солдат тифом, получил после тифа малокровие, проболел до 1923 года и, не вставая с постели, умер».

У крестьянина Андрея Тюменцева, Крутинского района, «во время отступления вся семья заразилась сыпняком и болела три месяца».

А вот печальная сказка о трех сыновьях. Крестьянин Тюкалинского уезда Григорий Бажин заявляет: «первый сын прослужил у Колчака 6 месяцев и вернулся домой больной тифом, второй прослужил три месяца и вернулся больной цингой и малокровием, третий прослужил тоже три месяца и вернулся нетрудоспособный, с отмороженными ногами».

Дальше идут всевозможные физические насилия.

Прежде всего порка. Комиссия по рассмотрению заявлений не делала специального подсчета подвергнутых порке, но это количество во всяком случае превышает тысячу человек—по тем материалам, кои уже получены, а сколько еще не получено!

Пороли всеми способами: розгами, плетьми, шомполами. Не считались ни с возрастом, ни с полом, ни с состоянием здоровья.

Екатерина Потапова, из Тары, пишет: «сын был назначен в подводу и когда у него дорогой стали отнимать лошадь, а он не отдавал, его столкнули с саней и пороли бичами. Пришел домой весь в синяках и обмороженый»

В Тевризском районе, Тарского уезда, где порка практиковалась особенно усердно, был подвергнут этому насилию 65-летний старик, Иван Бурков, который получил 150 плетей.

Кр-н д. Тычкиной, Спасского района, Татарского уезда, Петр Зубов, сообщает: «я получил от порки увечье, а отца моего Сергея совершенно забили до смерти».

Очень часто не ограничивались одной поркой, а производили насилия, так сказать, «комбинированным методом». До чего доходил этот «метод», показывает жалоба кр-на Ивана Лапова из с. Пресновки, Калачинского уезда: Лапов получил 15 ударов шомполом, 5 ударов наганом по голове, 6 раз прессом по лицу и в заключение—табуреткой по голове.

Учительница Лидия Кавская, благодаря частым обыскам и волнениям, получила в 1919 году туберкулез легких.

У пекаря Петра Гришина, долго сидевшего в омской тюрьме, а затем отправленного в Александровский централ, жена и дети, вследствие длительной голодовки, заболели скоротечной чахоткой и умерли.

Начальник мобилизационного отдела Омской ж. д., Александр Карлов, чтобы избежать расстрела, бежал из Омска, а мать его, оставшись одна, и беспокоясь о сыне, сошла с ума.

Некоторые заявители очень скромны. Так, Яков Кохберг (ныне омский губернский финансовый инспектор) пишет: «личных потерь не было. Были просто угрозы расстрелять семью, если она не выдаст меня; такие угрозы в течение двух недель продолжались ежедневно»... Не слишком ли скромно звучит здесь это слово «просто»?

В с. Коневском кр-ну Потапу Несчисляеву за неподачу лошадей угрожали расстрелом, отца старика выпороли, жену били прикладом.

В Крутинском районе 70-летний старик Конев был подвергнут такому издевательству: командир отряда стрелял вверх, целясь в голову старика. В результате нервного потрясения Конев проболел 4 месяца и в феврале 1920 года умер. О таких издевательствах сообщают и другие крестьяне того же района. Один из них пишет: «по уходе отряда долго не мог притти в себя, был расстроен и перепуган». Другой рассказывает: «при появлении отрядов в остервенелом виде, семейство испугалось, произошел переполох, от упавшей лампы загорелся шкаф, в котором был охотничий порох, и взрывом пороха выжгло лицо, глаза и волосы жене и дочери, с утратой трудоспособности на 50 проц.».

Много заявлений о расстрелах. В частности из Татарского уезда, где проходили польские и румынские части.

Здесь, в Черепановском районе, у Ульяны Кашновой расстреляны муж и деверь. У Прасковьи Холодкиной—муж, сын и деверь. У Павла Свитова—сын. У Аграфены Ивановой расстрелян муж, а сама она выпорота. У Евлокии Тучковой, Марии Поцелевой, Евдокии Лаврищевой расстреляны сыновья. Список этот можно бы продолжить на целую страницу, и это—только по Татарскому уезду. Пожалуй не меньшее количество расстрелов было произведено в Тарском уезде, Славгородском и других.

Таковы, в сжатом виде, первые итоги нашего губернского мортиролога, осторожного, документального подсчета жертв интервенции.

Заявления продолжают поступать. Сумма народного счета увеличивается. Сейчас трудно сказать, каков будет этот счет в окончательном виде.

Но общая картина интервенции достаточно ясна и из всего вышеизложенного. И какие бы претензии не пред'являли Союзу Советских Республик господа иностранцы, у нас есть, что пред'явить им в ответ.

Памяти Василия Васильевича Сапожникова.

Е. Яницкий.

11 августа с. г. в гор. Томске скончался Василий Васильевич Сапожников, профессор Томского Университета, хорошо известный широким кругам общества, как исследователь русского и монгольского Алтая.

В. В. Сапожников родился в гор. Перми в 1861 году. По окончании гимназии он поступает в Московский Университет, где, вскоре же, благодаря своим выдающимся способностям, обращает на себя внимание профессора К. А. Тимирязева. Работа под его руководством над физиологией растений—определяет на долгое время направление ученой деятельности Сапожникова. Начиная с 1885 года, когда он был оставлен, по окончании курса, при Университете, для подготовки к профессорскому званию, В. В. в течение десяти лет работает исключительно в той же области, создавая себе, не только у нас, но и заграницей—имя крупного ученого ботаника. К этому времени относится ряд его работ по физиологии растений, наиболее крупной из которых является: «Белки и углеводы зеленых листьев, как продукт ассимиляции».

Возможно, что Сапожников так и остался бы «одним из славных» в ряду других ученых ботаников, если бы в его жизнь не вмешался случай. Летом 1891 года, отдыхая от лабораторных работ в одном из заграничных университетов, В. В. совершил небольшое, очень нетрудное восхождение на ледники в Швейцарии. Знакомство с горной природой не прошло незаметно. На следующий год, один, пешком, он через ледники и снега Теодуля перевалил из Швейцарии в северную Италию.

Эти первые восхождения на ледники оставили глубокий след в душе В. В. и, в дальнейшем, послужили к коренному перелому всей его научной деятельности. Последнее совпало с переездом его в Сибирь на кафедру ботаника Томского Университета. Не прошло двух лет (1895 г.), как В. В. предпринимает свое первое путешествие на Алтай, в обширный район: от Теленкого озера и Чулышмана до Белухи и Бухтармы.

И с тех пор, из года в год, с небольшими лишь перерывами, проф. Сапожников совершает все новые и все более трудные восхождения на могучие ледники Алтая с целью изучения процессов древнего оледенения и флоры этого почти неизвестного до того горного края. Это было главное в исследованиях проф. Сапожникова. Но наряду с этим—географическое положение, высота местности, биология, геология, этнография—все охватывал в своих исследованиях отважный путешественник-исследователь. Несмотря на крупные имена его предшественников по исследованию Алтая: Ледебурга, Палласа, Чихачева и др.—знакомство с Алтаем было в то

время далеко неполно, а многие сведения о нем были просто неверными. Так, напр., до проф. Сапожникова упорно держалось мнение, что «ледники в Сибири развиты мало» и что здесь «единственный ледниковый центр находится на Белухе, где главный Берельский ледник имеет не более 2—3 верст длины...» (Мушкетов, изд. 1896 года). Исследования проф. Сапожникова опровергли такое утверждение. Только по законченным его исследованиям в одном лишь русском Алтае насчитывается 40 ледников с общей площадью около 200 кв. верст. И не будет преувеличением сказать, что проф. Сапожников вновь открыл нам Алтай, открыл, как гигантский склад того белого угля, которому суждено сыграть такую громадную роль в будущей электрификации Сибири. Ему же мы обязаны и целым рядом других знаний, касающихся нашей «Сибирской Швейцарии», которые он оставил нам в своих многочисленных трудах. Наибольший интерес для широкой публики представляют: «По Алтаю», «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо», «Катунь и ее истоки» и др.

Но не в этом только заслуга проф. Сапожникова, как исследователя Алтая. Учитывая громадное научное и экономическое значение последнего для Сибири и сознавая всю трудность задачи по его всестороннему изучению—Сапожников прилагал все усилия к тому, чтобы привлечь к этому делу интерес самых широких кругов общества. Блестящий лектор—он собирал огромную аудиторию слушателей на своих многочисленных лекциях, посвященных Алтаю. Свои книги он писал всегда простым, легко понятным для любого читателя, языком. Им был даже создан специальный путеводитель: «Пути по русскому Алтаю», пользуясь которым каждый может легко ориентироваться в трудно проходимых теснинах Алтая.

Увлекая читателя на такое путешествие видом «пенистых горных потоков, ослепительно снежных вершин и ярко-цветистого луга с опрокинутым над всем глубоким синим небосводом»,—В. В. в этой же книге сурово замечает: «Но быть на Алтае только туристом—слишком роскошно для туриста и слишком мало для Алтая». «Каждый, говорит он дальше, может и должен привезти оттуда новые данные, хотя бы о топографии посещенных местностей, о быте населения, качестве дорог и т. п.».

Так снимает он тогу ученого, ревниво оберегающего тайны жреческого искусства и—исполняя завет своего учителя В. А. Тимирязева—призывает всех делать с ним одно общее дело.

Наряду с этим он совершал путешествия в Саяны, по Семиречью, на крайний Север, к устью реки Оби, а в 1916 году организовал экспедицию в Турецкую Армению. Все это также нашло отражение в целом ряде очерков и специальных трудов, создавая около его имени ореол отважного путешественника.

Естественно, что при таких условиях Сапожников—исследователь географ заслонил собою в представлении многих Сапожникова—ботаника. Но только заслонил, т. к., наряду с исследователями наших окраин, В. В. упорно и много работал и в узкой области ботаники. Одной из интересных его статей, в этой части, является статья, помещенная в сборнике, посвященном К. А. Тимирязеву его учениками—«У верхней черты растительности».

Работая в области естественных наук, Сапожников был «естественником» в самом широком смысле этого слова. Область спекулятивной философии была для него чужда. Но вместе с тем это был ум, готовый к самым широким обобщениям. Последовательный дарвинист, он умел, даже в изыскании об эстетике и искусстве, показать: «Что в область тонкого и неуловимого, в область красок, рифмы и аккордов тоже внедряется тот же неутомимый закон борьбы и естественного отбора». И отсюда, как вывод: «Не нужно говорить: дорогу красивому. Красивое и здоровое само пробьет себе дорогу. И в этом нам порукой Дарвин».

Здоровым оптимизмом веет от этих слов. Последний является одним из основных элементов и общего мировоззрения проф. Сапожникова. Этому же здоровому оптимизму обязан успех и многих его начинаний. Начинаний не только научно-исследовательских, но и *общественно-просветительных*, из которых наиболее крупными в жизни В. В. Сапожникова были: организация в 1910 году Высших женских курсов в гор. Томске и образование в составе Томского Университета в 1917 году физико-математического факультета. На курсах он был впоследствии директором, а деканом физико-математического факультета он был до последних дней своей жизни.

Касаясь деятельности В. В., как профессора, нельзя не отметить его популярности у студентов Рабфака. Здесь имело значение не только его обаяние, как блестящего лектора, как ученого громадной эрудиции. Плоть от плоти народа, сам сын простого крестьянина Вятской губернии, проф. Сапожников умел вплотную подойти к своей аудитории рабочих и крестьян и добиться максимального эффекта в их занятиях.

11-го августа 1924 г. Василия Васильевича не стало.

Он умер, имея звание заслуженного профессора и доктора ботаники. В его лице более десяти ученых обществ и их отделений потеряло своего члена, наука —блестящего работника, Сибирь—своего исследователя.

Глубокий разносторонний ум, отважность, настойчивость, редкая бескорыстность и простота—характеризовали этого человека.

С *надломленными силами, тяжело больной*, он все еще пытался работать над последним порученным ему делом районирования Кузнецко-Алтайской области, не бросая в то же время дорогих для него занятий со своими учениками.

Он умер, как умирают герои труда, на своем посту. И трудящиеся массы оценят это.

Критика и библиография

I.

В. Правдухин. — «Литературная современность». Москва. Госиздат, 1924. Ц. 2 р.

Начиная разбор книги В. Правдухина «Литературная современность», недавно изданной Госиздатом, мы не можем умолчать, что творчество В. Правдухина, как литературного критика, проходило на глазах читателей «Сибирских Огней». Даже больше того: вместе с ростом и укреплением «Сибирских Огней», развертывалось и творчество В. Правдухина.

Его книга «Литературная современность» включает в себя значительную часть статей, помещенных в свое время в «Сибирских Огнях». А так как «Сибирские Огни» являются журналом молодым, еще не прожившим полных трех лет своего существования, то мы, на основании этого, вправе считать В. Правдухина еще совсем молодым писателем, только что вступающим на чрезвычайно трудный и тернистый путь литературной критики. Называя В. Правдухина писателем молодым, мы испытываем чувство живейшей радости: то, что написано В. Правдухиным до сего времени, дает основание надеяться, что ему предстоит большая будущность. Заранее оговариваемся, что мы не можем подписаться под всеми положениями, высказанными в «Литературной современности», и совсем не намерены писать В. Правдухину панегирик. В голой похвале, если бы даже она соответствовала внутреннему состоянию хвалителя, всегда есть нечто фальшивое и оскорбительное для того, кого хвалишь.

Мы глубоко верим в способности и талант В. Правдухина и на основании этого предпочитаем деловую критику бесплодным восклицаниям. Бывает такая степень уважения, которая исключает всякую похвалу.

Прежде всего два слова о характере расположения материала, помещенного в книге. Не знаем, насколько правильно наше суждение, но нам кажется, что статьи, ранее помещенные В. Правдухиным в «Сибирских Огнях» и «Красной Нови», вошли в книгу почти без всякого изменения. Статьи эти писались на разные злободневные литературные темы: «Искусство в стихии революции», «Пафос современности и молодые писатели», «В борьбе за новое искусство» и т. д. Вследствие этого вся книга производит впечатление сборника статей, соединенных в книгу механически, без достаточной последовательности развития тех или иных идей. Но, должны сознаться, что, благодаря такому расположению материала, она выиграла во внутренней цельности: идея, занимающая автора, преломилась под разными углами и тем самым стала значительно яснее и выпуклее. Кроме того, автор оперирует с таким громадным количеством конкретного материала, что некоторой повторяемости основных положений критики почти не чувствуется. Вся книга буквально сочится материалом литературной современности, искрится прекрасными образами и читается с неослабевающим интересом. Интерес к книге растет еще и потому, что значительная ее часть посвящена полемике с другими современными течениями в русской литературе. Надо отдать В. Правдухину должное: полемизирует он с исключительным умением. Конечно, в этой полемике, как и во всяком бою, не обходится, без увлечений, но в общем полемика В. Правдухина хороша. Книга написана по форме изложения безупречно и читается так же, как хороший роман. Переходя к содержанию книги, мы обращаем внимание на выражение, помещенное вместо эпиграфа, что «каждому явлению жизни Российской присущ внутренний запах революции».

Вновь выпущенная книга это тоже явление, и книга Правдухина вполне оправдывает вышеприведенный тезис автора.

Сначала В. Правдухин пытается дать своей теории отвлеченно-теоретическое обоснование. Подражая целому ряду писателей, Правдухин выводит свою формулу искусства. Должны признаться, что формула В. Правдухина никакими достоинствами, по сравнению с формулами, ранее Правдухина выдуманными, не отличается: она так же туманна и беспредметна, как и другие формулы. Слов много, а толку мало. Послушайте, как В. Правдухин определяет искусство: «Искусство есть своеобразный, наиболее целостный и общественно-плодотворный процесс всеобъемлющего человеческого познания, содержание и формы которого, монолитно и гармонически спаянные, получают свое выражение в живых образах, зарисовываемых словом, звуком, краской и линией» *).

---

*) Стр. 8.

Должен сознаться, что прочитавши такое определение, я теряюсь: что же такое искусство? Формула мне не только не помогла, но она меня больше спутала. Очевидно, есть много таких явлений, которые еще трудно перевести на математический язык. Область искусства наиболее трудно поддается отвлеченным формулировкам. В. Правдухин, в полемике со своими литературными противниками, ни разу не сослался на авторитет своей формулы.

Наоборот: он сам их беспощадно клеймит за формализм и сектантство. А что такое формула искусства? Это голая схема, пустой мешок. В какую угодно схему можно вложить разнообразное содержание.

Мы с удовлетворением констатируем, что вышеприведенное определение искусства не помогает Правдухину разбираться в сложном лабиринте современной литературы.

Или вот еще определение: «искусство является средством познания, изображения лика исторических эпох, имеющих завершенную культуру». Если бы не знакомство со всей книгой, где это определение совершенно не применяется, то могло бы составиться неверное представление о воззрениях автора. В самом деле, если искусство является средством познания эпох с завершенной культурой, то неужели искусства переходных эпох совершенно не существует? Если бы автор стал последовательно на свои первоначальные теоретические позиции, то он мог бы искусство свести на положение фотографического аппарата. В. Правдухин великолепно понимает, что нельзя отнять у искусства права бороться за культуру. Искусство есть не только средство познания, но и способ действия: оно призвано не только об'яснять мир, но и изменять его. Если у искусства нет целеустремленности, то грош ему цена. Такое искусство можно бросить в мусорный ящик истории.

Еще одно определение: «искусство в отношении форм и содержания можно расположить в ряд, соответствующий экономическим эпохам». Тут тоже много неясного и во всяком случае недоговоренного. Если между формами и содержанием искусства, с одной стороны, и формами экономическими, с другой, существует определенное соответствие, то неясно, какой характер оно имеет: носит ли оно чисто формальный характер, или между ними имеется функциональная или причинная связь. Например, допустим, что периоду натурально-рабовладельческого хозяйства соответствует архитектура. Значит ли это, что все народы, переживающие стадию натурального хозяйства, должны характеризоваться в области искусства архитектурными сооружениями? В чем тут дело? Хочет ли автор провести параллель или установить зависимость? Искусство и экономика только пассажиры, случайно севшие в один вагон, или между ними имеется более глубокая интимная связь?

Но довольно определений. Повторяем, что не в определениях дело. Конечно, было бы хорошо, если бы автор в своих теоретических обоснованиях не давал повода к недоразумениям, но будем надеяться, что неясность неполноты теоретических воззрений в области искусства об'ясняется потребностью автора поскорее заполнить голые схемы и формы живым содержанием современной действительности.

«Нам,—говорит В. Правдухин,—родившимся в грохоте революции, которая всех нас—Иван Иванычей, Петрушек и Селифанов—позвала к участию в социальном строительстве, нам органически лично чуждо, в эпоху величайших восстаний, олимпийско-эстетическое созерцание».

«Будем постоянно помнить, что все искусство современности не избежит великого суда социальности. Это великое чистилище и есть основной метод для определения нужного и ненужного искусства».

Это не значит, что автор является реставратором Писаревщины. Термин: нужное и ненужное искусство—им понимается по-своему. Судьбу искусства он везде связывает с судьбой революции. Старая культура и старая литература уходят в вечность. «Она нам будет еще долго и крепко дорога. Но вернуть ее нельзя, да и не следует возвращать».

Мы все теперь охвачены огнем революции, мы строим новую жизнь и создаем искусство революционной эпохи.

Критикуя Гребенщикова, автор говорит, что в его произведениях совершенно не отражена революция, давшая искусству социально-эстетическое содержание.

Разбирая произведения Маяковского, В. Правдухин дает замечательный очерк его творчества и неизменно спрашивает: а что ты сделал для революции, для творчества новой культуры? Каждого писателя он спрашивает: понимаешь ли ты, что происходит, и что ты сделал, чтобы революция раздвинула рамки своей культуры?

«Маяковский, как поэт—это какая-то историческая клякса, пятно, для многих непонятное и загадочное, так ярко отразившее в себе брызги разбитого старого мира».

«Его рифмы и ритм—это лишь звериный ритм перекликающихся в отчаянии гибнущих зверей, которым революция переломила хребет». В творчестве Маяковского нет ни капли революционно-положительного содержания, кроме фразеологии и плакатной картинности.

Искусство—это один из элементов революционного бытия: оно является составной частью революции. Искусство должно равняться своей эпохе, жить ею и напол-

нять ее своим многогранным содержанием. Мысль автора прикована к стихии революции, и он подмечает в бурлящем революционном океане все то, что не только способствует познанию эпохи и укрепляет ее могучим рычагом искусства.

«Надо установить,—говорит автор,—и укрепить в прекрасных формах искусства раздвижку мира, приход человека из темных подвалов к культуре и творчеству жизни». Чувствуется, что В. Правдухина пленил образ восставших масс, пробивающих себе дорогу. Всем своим существом автор вместе с этими Селифанами и Иван Иванычами, вышедшими на историческую авансцену. Всякое явление общественной жизни должно расцениваться по его влиянию на культуру революции.

Всех писателей современности он зовет на суд революции.

Но революция—это острая борьба классов. Что должно делать искусство: итти-ли за победной колесницей класса-победителя и воскурять ему фимиам, ждать завершения революционного бытия, или смело ринуться в бой за идеалы новой, более совершенной культуры?

Искусство революции не должно быть искусством только одного класса. Задачи искусства определяются задачами революции. Революция ок ября несет с собою, на острие своего победного штыка, более совершенную внеклассовую культуру.

«Суб'ективная борьба класса наемных рабочих за свое лучшее будущее—об'ективно борьба за внеклассовое общество».

«Процесс истории влечет нас всех с необходимой суровостью по руслу классового общества в бесклассовое единство»*).

Революция развивается с об'ективной необходимостью. Противодействие ей равносильно попытке задержать об'ективный ход истории. «Идеалисты сидят на льдине, бурно увлекаемой весенним разливом революции, и, ориентируясь по нему или извлекая свои воззрения из своего индивидуалистического «пупа», тщатся эту льдину повернуть против течения. Бесполезное занятие.

Итак, искусство должно итти в ногу с революцией и ее конечные задачи поставить, как программу художественного творчества.

А конечные задачи революции—это создание внеклассового социалистического общества.

Искусство—это аппарат, не уживающийся в рамках класса или в условиях той или иной группировки. Искусство шире класса. Художник смотрит дальше своего класса. Искусство подчиняется своим, одному ему присущим, законам.

*) Стр. 148.

Каждый раз, когда хотят искусство использовать в интересах класса,—оно мстит этому классу за попытки его ограничить.

«Ясно одно: раз это произведение искусства, то в нем каждый класс найдет то, что ему надо, ибо не нужно забывать, что в самом восприятии искусства есть творческий момент, и рабочий и крестьянин, смотря на произведение, всякий раз творит его для себя заново. Искусство всегда внутренне подчиняется ему присущим законам воссоздания—познания жизни, которые и дают нам гармонический синтез жизни, и оно, вследствие этого, умеет освобождаться от власти королей, буржуазии и духовенства».

Между об'ективным процессом истории и художественным восприятием действительности, есть внутреннее взаимодействие и, если хотите, взаимное понимание. Художник, прочувствовавший действительность, обязательно предвосхитит дальнейшие пути жизни. Истинный художних похож на общественный барометр, тонко отражающий зигзаги исторического пути. Законы искусства лежат в темных глубинах психологии художника, но, во всяком случае, они дают ему возможность отвлечься от условий своей среды и суб'ективно отражать об'ективно-необходимые пути истории.

Толстой—дворянин, но он нужен пролетариату, потому что он художник, сумевший гениально охватить жизнь и вскрыть всю ложь социальных перегородок. «Рабочие и крестьяне его слышат и долго будут слышать, ибо он смотрит на жизнь, как художник, их глазами, глазами шестилетней девчурки Малашки на военном совете в Филях, глазами Ерошки из «Казаков», глазами рядового солдата из «Войны и Мира», и которые никак не хотят признать и принять буржуазно-классового общества, а знают лишь единый живой, человеческий интернационал. В этом смысле непреходящее, уходящее далеко в грядущее, социальное значение стихии Толстого будет возрастать все время».

Таким образом, история художественной литературы льет воду на нашу пролетарскую мельницу. Художники настоящие, искренние, принадлежа формально к тому или иному классу, на самом деле являются апостолами человечества. Из этого положения В. Правдухин делает оптимистический вывод, что все живое в стране, обладающее художественным чутьем, пойдет за пролетариатом, потому что он является идеологом внеклассового единства и выразителем об'ективного процесса истории.

Судьба искусства буржуазной эпохи одинакова с судьбой буржуазной культуры. «Когда буржуазия не была еще полным господином, она щедро, великодушно звала

в свое лоно все человечество; ее класс, как юноша, внес в искусство то, что нужно было всему человечеству. Пока роль буржуазии для человечества была общественно нужной, полезной, освобождающей, ее выходцы находили и для искусства те-же мотивы, которые чаровали все человечество».

Буржуазия свою историческую миссию выполнила и рано или поздно должна сойти со сцены. Вместе с буржуазией и ее культурой уходит и искусство буржуазной эпохи.

Мы должны для характеристики воззрений В Правдухина заметить, что он ни разу, насколько мы помним, не употребил выражение *«буржуазное искусство»*; он везде употребляет *«искусство буржуазной эпохи»*. Это характерно. Искусство призвано служить человечеству, поэтому оно не может быть ни буржуазным, ни пролетарским: оно может только брать материал из той или иной эпохи, но искусство отмечено перстом человечества.

«В искусстве революции оставлено только общечеловеческое, народное. Цель пролетариата – не сменить кого-либо на троне, его цель—создание внеклассового общества, противоположного до сих пор всем бывшим формам его. Поэтому искусство пролетарской эпохи должно поставить цели расширения своих образов до общечеловеческих, сверхклассовых, планетарных, как любит говорить М. Горький».

«Поэт грядущей эпохи должен достать из своих глубин, из глубин класса, те ценности, которые являются нетленными в веках, создать картины, музыку, слово, которые бы чаровали и неотразимо влекли нас к будущему».

В. Правдухин, в воззрениях на искусство пролетарской эпохи, поднимается на такую высокую позицию, что мелкие бугры и ямы низменности сливаются с общим фоном.

Правдухину кажется, что в человеке слишком сильна власть общечеловеческих настроений. Несмотря на все социальные перегородки между людьми разных классов, состояний и положений, в них есть нечто такое, что им дает право войти в «царство небесное» общечеловеческих идеалов. В самой жизни и в лучших ее проявлениях есть нечто, поднимающее нас над социальными отношениями и антагонизмами. Задача искусства состоит в том, чтобы в разнообразных проявлениях жизни собирать зародыши общечеловеческих идей и тщательно их накапливать и культивировать для грядущего внеклассового общества. Внутри каждого человека есть чувства и переживания, дающие ему возможность смотреть на себя, как на часть человечества.

«Жива жизнь и жив человек... Это живое просекает собой толщу наших религиозно-догматических выкладок, безнадежно-лживую толщу наших социальных отношений. И оно, это живое, не где-нибудь там, в мистическом, потустороннем мире, а постоянно живет здесь, с нами. Оно проявляется в смехе, в матерщине русских и французских мужиков-солдат, братающихся в Севастополе, оно в неожиданной радости Ростова... Оно во взгляде Андрея и деревенских голубоглазых девчурок... Оно смотрит из глаз всего живого, и даже глаза маршала Даву поддаются этой стихии, когда он, взглянув в глаза Пьера, отказывается от его расстрела. Этой страшной стихии боится губернатор Растопчин, когда он отводит свои глаза от взора отданного толпе на растерзание Верещагина. Интернационал, ведь это же не выдумка К. Маркса и В. Ленина и даже не их создание, а только гениальное научное оформление и действенное осуществление того, что сохранилось,—несмотря на рабство, крепостное право, классовый строй общества—разно в отдельных людях, в отдельных группах, главным образом, в трудовых классах, преимущественно у пролетариата, как основное и здоровое начало человека».

Читатель видит, что В. Правдухин принимает в интернационал даже маршала Даву. Автор влюблен в идею мирового, общечеловеческого интернационала и считает, что задача современного искусства приближать час его появления. В современной действительности нужно собрать все элементы общечеловеческих эмоций, и эту культуру будущего сберечь до тех пор, пока не созреют об'ективные условия для внеклассового общества.

Такова, в общем, точка зрения автора «Литературной современности». В. Правдухин изгоняет из области художественного творчества всякую тенденцию, нарочитую схему, искусственную надстройку в виде произведений И. Эренбурга и пр. Он требует, чтобы творчество писателя было органически целостным процессом восприятия действительности.

Будь непосредственным в своем творчестве, наблюдай жизнь и отображай ее в своих образах, и ты будешь полезен человечеству, а следовательно и тому классу, который стремится к внеклассовому единству.

Через человечество к пролетариату. Вот путь современного искусства и его основная заповедь.

В начале рецензии мы уже заявили, что не можем подписаться под всеми положениями автора. Нам кажется, что автор своей теорией общечеловеческого искусства становится на чрезвычайно опасный, с теоретической и практической точки зрения, путь.

Начнем хотя бы со следующей необходимой поправки. Интернационал К. Маркса и В. Ленина есть не что иное, как гениальное оформление здоровых начал человека. Совсем не случайно Правдухин заговорил об интернационале после изложения того, что здоровые начала есть даже в маршале Даву и генерале Растопчине.

Распространять общечеловеческую благодать даже на явных преступников и социально-вредные элементы—это значит обладать большим запасом оптимизма. Ведь был же на свете такой «безумец», как Роберт Оуэн, который убеждал Николая I жить на началах новой гармонии. Почему же не быть В. Правдухину? Но В. Правдухин суб'ективно может придерживаться каких угодно воззрений: это его личное дело, но когда он выступает на арену общественно-публицистической деятельности, то он должен считаться с опытом истории и с фактами действительности. В. Правдухин выдумал свой интернационал—интернационал чувства и настроений, и считает, что в этот интернационал может попасть даже маршал Даву. Но при чем же тут Карл Маркс и В. Ленин—основатели боевого интернационала, интернационала беспощадной борьбы со всякими маршалами и генералами?

Конечно, если подходить с биологической точки зрения, то между маршалом Даву и К. Марксом кое-какое сходство и найдется, но что же из этого следует? Ведь Правдухин сам совершенно правильно указал, что все искусство современности не избежит великого суда социальности. А если с точки зрения *социальности* подойти к творчеству писателя, утверждающего, что маршал Даву и генерал Растопчин в сущности уже не такие плохие люди, то можно сказать, что у него социальность какая-то рафинированная, маниловско-айхенвальдовская. Такой социальности в природе нет. Правдухин запел свою песню человечества слишком рано. Сама по себе идея человечества, конечно, хороша и привлекательна. Но все хорошо во благовремении. Что Правдухин скажет о человеке, который на похоронах запоет «Камаринскую», или во время наводнения будет воспевать нос Клеопатры? Я берусь за винтовку, чтобы участвовать в сражении. Правдухин меня одергивает и предлагает поговорить о райском блаженстве. Правдухин хочет от искусства времен Короленко и Толстого перескочить в царство социализма, минуя переходную мучительную и продолжительную эпоху. Переходная эпоха тоже имеет свою культуру, и искусство современности будет питаться культурой переходного периода.

Борьба классов продолжится целые десятилетия, она наложит свой отпечаток на все проявления общественной жизни, она пропитает собою всю общественную психологию приблизительно так же, как во времена средневековья религия проникала во все поры общественно-политической жизни. Окружающие общественные явления будут расцениваться по их классовой функции, по той роли, которую они выполняют в классовой борьбе. Искусство, наука и техника будут играть служебную, в отношении классовой борьбы, роль «Исторический путь,—сказал Н. Г. Чернышевский,—это не Невский проспект», и он ведет по пути ожесточенных классовых войн. Социальную революцию и ожесточенную классовую войну ни на каком коне об'ехать нельзя. Революцию можно только пережить, перенести на своих плечах все, что ложится на них ходом исторических событий.

Искусство, призванное играть социально-организующую роль, обязано принять участие в ожесточенной классовой войне. Одним словом, нам нужно пройти первый и самый важный исторический этап. Всю энергию и мощь рабочего класса надо организовать, чтобы пройти этот первый этап. Все интеллектуальные и моральные силы, имеющиеся у рабочего класса и социально-родственных ему элементов, должны быть направлены на преодоление разнообразных препятствий данного этапа исторического пути. Организация воли и чувства рабочего класса должна быть органической работой, ложащейся на все поколения революции.

Если мы не напряжем всех сил, не выявим всей потенциальной мощи рабочего класса, мы можем оказаться отброшенными назад не только на десятилетия, но и на столетия.

Если представить себе такую не лишенную реальности диллему, то перед общественным деятелем писателем, художником, социально-воспитанным, сознающим перед историей ответственность за свои поступки, станет очевидной программа его общественной работы. Может быть, при таких условиях программа общественной деятельности окажется не вполне гладкой, и вряд-ли она будет удовлетворять принципам гармонического общества. Но тут уж ничего не поделаешь. «Всякому явлению жизни Российской присущ внутренний запах революции». А революция, как известно, вещь не вполне гармоническая.

Когда Правдухин говорит о человечестве, то что он в это понятие вкладывает? Человечество—величина чисто арифметическая. В настоящее время никакого конкретного социального содержания в понятие человечества не вложишь. Нет еще в современной действительности об'ективных предпосылок, чтобы понятие «человечество» из голой схемы оделось живой плотью

народно-хозяйственной жизни. Об'единение всего человечества в определенных хозяйственных формах, уничтожение национальных, социальных и других перегородок,— это музыка отдаленного будущего.

Когда общечеловеческие идеалы пытаются притянуть к современной классовой действительности, то этим самым хотят или прибегнуть к своеобразному тактическому приему вуалирования классовой сущности своей программы, или свернуть с реальной почвы классовых отношений в область безбрежных мечтаний.

Говоря о человечестве, строит ли Правдухин программу общественной деятельности или пишет биографию своих настроений? Если первое, то в чем заключается «обще-человеческая программа», какие правила общественного поведения предписывает Правдухин ее последователю?

Выдвигая на первый план общечеловеческие задачи в области искусства, Правдухин невольно и, может быть, бессознательно попадает в лагерь оппозиции по отношению к современной классовой действительности. У каждой вещи есть два конца, и для того, чтобы не впадать в односторонность, нельзя один конец наделять всеми совершенствами, молчаливо обходя другой. Жизнь построена на противоречиях. Задача искусства состоит в том, чтобы суметь охватить жизнь во всех ее противоречиях. Сложность и многообразие процессов современной действительности не дает об'ективных оснований заключать, что все дороги ведут в Рим общечеловеческих идеалов. В хаосе современных противоречий мы улавливаем их классовую сущность, и этот признак является единственным для правильного понимания современной действительности.

Писатель, теряющий ариаднину нить современной действительности, зовущий всех в светлый храм человечества, не может претендовать на то, что его творчеству присущ внутренний запах революции. Наоборот, его общечеловеческие мечты, если бы они и были программой максимум революции, неизбежно превратятся в барьер, препятствующий правильному пониманию «внутреннего запаха революции».

Не зовите нас в храм в тот момент, когда мы идем на баррикады.

Улавливая по творчеству образ писателя, невольно вспоминаешь выражение В. Правдухина, что «старая литература будет нам долго и крепко дорога». Великие тени прошлого, в лице Толстого и Короленко, мешают В. Правдухину видеть действительность в ее настоящем свете. Он слишком много взял от идеологов общечеловеческой правды, чтобы без внутренней борьбы, не оглядываясь назад, пойти дорогой Октября.

В этом отношении творчество В. Правдухина отражает собою взгляды и настроения довольно широких кругов современной интеллигенции. Они приняли революцию чувством, но не владеют методом революции и поэтому рискуют попасть в западню эклектизма.

Мы верим, что книга В. Правдухина есть только один из этапов его творческого пути. «Литературная современность» показывает, что в ее авторе имеется громадный запас неизрасходованных сил и большое художественное чутье. Люди с таким богатым материалом нужны революции.

Творчество В. Правдухина дает основание надеяться, что он в скором времени преодолеет барьеры, мешающие ему поставить точки над i, и во всеоружии и блеске своего литературного гнева ринется в открытое море классовой борьбы с лозунгом: «*Через пролетариат к человечеству*»

Д. Чудинов.

«Литературно-художественный альманах для всех». Книга первая. Рабочее Из-ство «Прибой». Ленинград. 1924 г. 270 стр. Ц. 2 руб.

Издательство «Прибой» в 1924 году выпустило два альманаха. Первый из них «Стройка», как уже отмечалось на страницах «Сиб. Огней», об'единил вокруг себя пролетарских поэтов и писателей с произведениями, заслуживающими широкого общественного внимания.

Настоящий альманах составлен по большей части из крупных произведений как известных уже писателей (В. Иванов, А. Чапыгин, О. Мандельштам, В. Александровский), так и еще мало выявивших себя (Б. Лавренев, Н. Катков и пр.).

В альманахе мы находим большую повесть *Бориса Лавренева* «Ветер» (о днях Василия Гулявина). Сюжет повести развертывается на фоне первых дней революции, Октябрьского переворота и гражданской войны. Главный герой повести—Василий Гулявин—«Балтийского флота, первой статьи минер»—после того, как Москва, Ленинград начали жить по-новому, по-революционному, был отправлен в качестве начальника летучего матросского полка красной гвардии на Украину для борьбы с белогвардейскими отрядами. Оттуда—в Крым. Ранение. После выздоровления работает в совнархозе, но новое служебное положение не нравится.

— Что я—вошь, что-ли, по бумаге ползать?..

Его действенная натура не терпит покоя, сидячей жизни. Снова фронт.

По поручению нашего командования Гулявина отправляют в штаб генерала Алексеева с целью контр-разведки. У Гулявина документы поручика Волынского

148 каспийского полка и полномочия от восточной добровольческой армии.

Начальник штаба—генерал принял «господина поручика» очень радостно, но ошарашил Гулявина одним замечанием:

— Очень жаль, что Михаил Владимирович (Алексеев) нездоров и не может вас принять теперь... он просил передать вам лучшие свои пожелания и сообщить, что он хорошо вас помнит...

Дрогнул Василий Гулявин. Ему даже имя Алексеева не было известно.

Вечером по приглашению офицеров идет в ресторан в надежде от пьяных «вымотать» все, что нужно. Но тут Гулявин гибнет. К компании, в которой был Гулявин, присоединился князек и начал рассказывать о том, как он через семнадцатилетнюю большевичку «целый взвод казаков пропустил». За этим же столом сидела проститутка, Карменсита. Она выслушала, встала и заявила:

— Я за одним столом с подлецом, который хвастается своей подлостью, не сижу.

Князь начал оскорблять ее всячески, плеснул в лицо вином, но не успел еще поставить стакан, как Василий со всего размаху ударил его в зубы.

— Кадетня чертова! Всех расшибем! Кровь выпустим!

Начинается стрельба. Василий выхватил из кармана гранату, метнул ее в толпу...

Жрите!..

Потом чердак одного дома.

Но спастись не удалось и, когда вышли все патроны, вышел на крышу и сказал:

— Патроны вышли. Только слушайте, сволочи, гадово семя. Мне подыхать. Но и вы подохнете, мать вашу!

И прыгнул вниз на торчащие штыки...

Благодаря тому, что в повести слишком много действия, что главный герой ее нарисован живым, без особенно излишних прикрас,—повесть Б. Лавренева надо считать удачной, интересной вещью.

Лев Гумилевский дал в альманахе большой интересный рассказ «Сорок Сороков». Тема серьезно еще никем не затрагивалась. Он дает яркую картину жизни духовенства в Москве—в период поволжского голода—где под каждой церковью курили самогон, содержали притоны и пр. В то время, как в Поволжьи гибли тысячи людей, там, в этих катакомбах, решались вопросы, как пустить «слезы» с икон богоматери, там под колокольный звон князь Еникеев покупает хрупкую девченку Ганю; попы припрятывают драгоценности в надежде сплавить их на заграничный рынок...

В рассказе явно чувствуется крушение загнившего поповского быта.

Следующей большой вещью являются главы из романа «Пепел»—**Ник. Каткова.**

Автор в литературе новичек, но ему прекрасно удалось зарисовать первые дни нашей революции, сумятицу генералов, буржуазии. Язык у него простой, фраза цепкая, массовые сцены живы, интересны.

Всеволод Иванов в рассказе «Ферганский хлопок», рассказе слабом в сравнении с его ранними вещами, при всем своем старании «показать дыру, пробитую им в небо» пальцем (глава 4), не сумел показать нам того света, которым должно гореть каждое произведение. Чувствуется какой то упадок.

Интересен рассказ **А. Чапыгина** «Насельница», но тот быт, который дает Чапыгин в этом рассказе, слишком знаком нам по его другим произведениям.

Рассказы **М. Казакова** «Скат» и **М. Слонимского** «Сухопутная жизнь»—посредственные рассказы.

В альманахе даны стихи В. Александровского, В. Рождественского, Н. Брауна, О. Мандельштама, Григория Сорокина и Б. Соловьева.

Книжка издана хорошо, но цена высокая.

Сибиряк.

Дм. Четвериков. «Сытая земля». Изд. «Прибой». Ленинград. 1924 г. Стр. 150, цена 70 коп.

Многие рассказы, собранные в этой книжке, были напечатаны в разных газетах и в литературных прибавлениях. По своим художественным достоинствам они разнообразны, но во всей книжке нет ни одного крупного рассказа, на котором можно было бы остановиться. Вернее, это не рассказы, а коротенькие эпизоды, эскизы, зарисовки того, что видел автор, что доступно его художественному восприятию. У автора нет почвы, на которой бы он твердо стоял, и, может быть, от этого он перебрасывается из Сибири—к уфимским татарам, от татар на Украину. Причем все рассказы из быта Украины очень не обработаны в отношении языка. Здесь вы найдете, что хотите, вплоть до подражания Гоголю.

В рассказе «Аэроплан» есть такие выраженьица:

— Ну и базар!. Кто не бывал на базаре у нас у Прилуцех!.. пахучего мыла, де ленты, да бусы...

А у Гоголя:

— Господе, чого нема на тiи ярмарци!.. колеса, скло, деготь, тютюн.

Язык многих рассказов Четверикова из малороссийского быта страшно искажен. Конечно, трудно знать все языки народов, населяющих СССР, но путать, делать мешанину из великорусского и малорусского лексиконов нехорошо. И не только лексикон, но часто и быт путается. Получается Грыцко в азяме и бродних.

Из всех рассказов приходится отметить очень немногие. К числу лучших принадлежит, по нашему мнению, рассказ «Дурная кровь». Тема рассказа взята из времен отступления армии Колчака. С рассказом автор справился хорошо. Герой выступает более или менее ярко перед читателем. Видно, что сам автор пережил это отступление. Рассказ читается с неослабевающим интересом. Недурен рассказ «Сытая земля». Но в целом вся книга оставляет какое то жалкое впечатление.

Из 19 рассказов два-три можно считать удачными, а остальные автором не обработаны, остались вчерне, как были напечатаны в газетах. («Двести процентов», «Шкаф» «Госпожа идеология», «Матлет»).

Книжка легкая, неинтересная. Нельзя поставить **«рабочему»** издательству «Прибой» заслугой ее выпуск. **К. У.**

II.

«Былое», № 23 за 1924 год. Когда читаешь исторический журнал «Былое», то весьма часто испытываешь чувство досады.

Журнал, правда, как журнал. И размеры и внешний вид вполне журнальные. Содержание? Целый ряд статей не портят впечатления, ряд статей интересных, но чуть ли не в каждом номере проскальзывает и такая статейка, которая заставляет вспомнить о старых бурцевских традициях журнала.

Таков и № 25-й. Ряд статей заслуживает большого внимания. Таковы: «Чернышевский в Вилюйске», «Взволнованные Лоботрясы», «В. И. Ленин в Красноярске» и др.

Небольшая заметка Вл. Крутовского вносит необходимые исправления к ст. А. Киржница «В. И. Ленин в Сибири», помещенной №1 «Сибирских Огней». Было бы весьма желательно, чтобы сибиряки, знавшие В. И. во время пребывания его в Сибири, поделились о нем своими воспоминаниями. В этом отношении в биографии В. И. мы имеем значительный пробел.

Наряду с такими статьями и заметками мы имеем в «Былом» начало «воспоминаний» В. С. Панкратова —«С царем в Тобольске».

Эти «воспоминания» требуют, чтобы на них было обращено внимание. Иначе у читателя может получиться севершенно превратное представление о том, что вспоминает Панкратов. А ведь он был комиссаром временного правительства по охране бывш. царя.

Прежде всего о тоне воспоминаний. Трудно было от бывшего шлиссельбуржца ждать такого тона, каким повествует Панкратов.

Это тон не революционера, даже не «социалиста» в кавычках. Можно подумать, что за свои воспоминания принялся убеленный сединами и давно вышедший в тираж религиозный отставной генерал. Сорок лет он «верой и правдой» служил «царю и отечеству», затем вышел в отставку и, как полагалось отставным генералам, стал чуть-чуть либералом. А затем вдруг его заставляют быть комиссаром по охране уже не царя, а бывшего царя. Вообразите себе те воспоминания, которые может дать такой отставной генерал...

Таков и Панкратов в своих воспоминаниях.

И какой «божьей коровкой» представлен нам «Николай Александрович». Как упорно Панкратов старается доказать, что все разговоры о попытках бывш. царя к побегу не имели под собою никакой почвы. Сомневаемся, чтобы Панкратову не были известны многочисленные белогвардейские мемуары о многочисленных попытках освободить бывш. царя. Мы принуждены верить им больше, чем «воспоминаниям» Панкратова.

Огромный штат прислуги, который окружал б. царя, целая свита сановных царедворцев—на все это Панкратов смотрел крайне снисходительно и печаловался только тогда, когда придворная челядь «обкрадывала Николая Александровича».

Нече о и говорить о том, что большевистски настроенные массы у него именуются «толпами неизвестных лиц в солдатских шинелях», что с тобольским советом он говорил тоном завоевателя: «Я не допущу вмешательства... прошу больше меня не беспокоить»... и т. д.

А с каким сладострастием он считал битую царскую посуду, с которой несколько небрежно обращалась прислуга. Можно подумать, что его специально оплачивали за это.

Следует пожелать, чтобы «воспоминания» такого рода на страницах «Былого» не продолжались. Это в интересах самого же журнала, если он хочет остаться историческим журналом. **А. Абов.**

«Дальистпарт»—Сборник материалов по истории революционного движения на Дальнем Востоке.—Книга II. Владивосток. 1924 г.

Наконец, вышла вторая книга «Дальистпарта», в общих чертах составленная по плану первой, о которой мы дали отзыв в предыдущем номере «Сиб. Огней». И во второй книге «Дальистпарта» собран ценный материал.

Отдел «Статьи и воспоминания», охватывающий только 63 страницы, составлен из шести небольших статей.

В статье—«Воспоминания о П. Ф. Анохине» А. Буйко знакомит нас с деятельностью Петра Федоровича Анохина, приехавшего в июне 1921 г. на Дальний Восток

для работы «в качестве члена Дальбюро ЦКРП и убитого 10 мая 1922 г. недалеко от Читы бандитами».

«В дальневосточных условиях—говорит автор—бандитизм всегда имел прямых участников из среды активных белогвардейцев, которые мотивы хищнические. грабительские соединяли с политической борьбой против пролетарской власти и коммунистической партии, применяя террор по отношению к лучшим представителям рабочего класса».

Одним из этих «лучших» был и Анохин. Рабочий, типограф по профессии, «Анохин—по словам автора—достиг большой политической подготовки своим неустанным трудом и кипучей энергией».

Всего одиннадцать месяцев провел Анохин на Дальнем Востоке, но это были месяцы бурные. О деятельности, которую Анохин проделал за эти одиннадцать месяцев, и рассказывает в своих воспоминаниях Буйко.

В статье «Хабаровск и его район с 1 июня по 1 ноября 1920 г.» А. Михеев рассказывает, как и при каких обстоятельствах, после свержения белогвардейщины, советская власть водворилась в нынешнюю столицу Дальнего Востока.

Статья Н. Бодрого—«Костя Суханов» посвящена памяти председателя Владивостокского Совета Рабочих Депутатов—Суханова, которого 14 ноября 1918 г. чехо-словаки предательски убили. Бодрый знал Суханова с детских лет. Статья дает сжатый очерк революционной деятельности Суханова.

Статья Ф. Зайцева—«В вагоне смерти» уложилась всего на пяти страницах, но это жгучие пять страниц, без волнения читать их нельзя. «Вагон смерти»—так называется стоявший на станции Маннаево вагон, в котором семеновцы чинили расправу над арестованными большевиками. Автор, спасшийся от рук палачей, рассказывает о тех истязаниях, которым в этом вагоне подвергся Беренбаум (настоящая его фамилия—В. Неррис), сделавший 20 дек. 1918 года неудачную попытку убить атамана Семенова. «Покушение — как сообщает автор—было произведено в Чите, в стенах театра, в присутствии всей свиты атамана и многочисленных зрителей. Беренбаум бросил в Семенова две или три бомбы, взрывом одной из которых атаман был лишь легко ранен в ноги». Беренбаума схватили, неоднократно истязали на глазах товарищей, ожидавших вместе с ним своей участи в «вагоне смерти», и в конце-концов убили.

Последние минуты Беренбаума были таковы: в вагон смерти ворвались пьяные семеновские офицеры, а вслед за ними и начальник семеновского штаба, войсковой старшина Сергеев, которые начали избивать Беренбаума. Последний молчал, не говорил ни слова. «Тогда Сергеев приказал подбежавшему на его зов офицеру: «Остричь этого негодяя!». На вопрос офицера: «Как прикажете?»—последовал ответ Сергеева: «Конечно, шашкой». И Беренбаум, терпя адскую боль, был «острижен—оскальпирован», т.-е. его волосы, вместе с кожей, были соскоблены, причем весь пол был залит кровью. ПотомСергеев приказал раздеть Беренбаума. До-нага раздели его и еще пять товарищей, после чего их связали по рукам и ногам. «Когда все товарищи были связаны, их понесли на двор, при чем Сергеев говорил: «Вероятно, не замерзнут эти три версты»... «В 12 часов ночи вернулась китайская стража, и из разговоров их я уловил, что все шесть человек были зверски убиты в бане Катаевича; в особенности мучительным пыткам был подвергнут Беренбаум».

Так белогвардейцы расправлялись со своими жертвами-большевиками.

Как же держался Беренбаум в те дни, когда подвергался столь частым пыткам? В интервалы между пытками Беренбаум был весел, жизнерадостен, «пел романсы и рассказывал анекдоты», чем, видимо, желал развлечь своих товарищей. «Когда ушли палачи (нанесшие Беренбауму 30 нагаечных и 20 шомпольных ударов), Беренбаум стал вальсировать, наигрывая языком какой-то мотив. Затем он стал рассказывать какой-то анекдот, содержание которого я уже теперь забыл, но помню, что он передавал что-то очень смешное. Слушая его, пришлось на время вернуться к жизни; даже угрюмый и измученный тов. Ламшев громко рассмеялся».

Крепкая и стойкая натура, как видно, был Беренбаум!

Наибольшего же внимания из всех статей заслуживает очерк Г. Мучника (Сибиряк)—«Борьба за советы в Приморье», который составлен по материалам и по личным воспоминаниям. Очерк начинается с момента крушения первой советской власти в 1918 г. и кончается моментом восстановления этой власти в 1920 г. В связи с этим очерком интерес представляет и небольшая статья З. Машаева—«Советская печать в Приморье».

В этой статье даны подробные сведения о газетах, выходивших в Приморье за время революции, начиная с марта 1917 г.

Интересный и важный, но, к сожалению, слишком сжатый материал опубликован во втором отделе книги—«История революции и РКП на Дальнем Востоке». Этот отдел начинается статьей И. Воронцова—«Рабочие организации в Забайкалье», в которой речь идет о рабочих организациях 1900—1904 г.г. За ней следуют две статьи, посвященные Чите, а именно: Иннокентия Бабайлова—«Революционная Чита с 1905 по 1909 г.» и Ивана Бабайлова—«К истории читинской организации РСДРП с 1909 по 1923 г.», после которых помещена статья М. П-ского—«Жизнь и ре-

волюционная деятельность Д. И. Кривоносенко», записанная со слов его матери. Место, к сожалению, не позволяет остановиться подробнее на этой интересной личности.

Ограничимся указанием, что Кривоносенко погиб от рук белогвардейцев 24 мая 1918 г. в Томске. Кривоносенко — первая жертва белогвардейского террора в Сибири.

Партийный, так сказать, отдел заканчивается очерком М. Губельмана — «К истории РКП на Дальнем Востоке».

Отдел «Партизанское движение на Дальнем Востоке» представлен протоколами «заседания конференции на ст. Урульга, Заб. ж. д., 28 августа нов. ст. 1918 г.» и крайне интересной статьей Бессонова — «Борьба за советы в Приморье».

В книге помещено очень много документов и материалов, относящихся к интервенции и контр-революции на Дальнем Востоке. Ценность представляют материалы, относящиеся к восстанию Гайды во Владивостоке 17-го ноября 1919 г. Что касается документов, идущих под заголовком «Японцы в Благовещенске», то они напрасно помещены в таком большом количестве, тем более, что из них многие говорят об одном и том же (четыре раза, напр., опубликован один и тот же список 23 казненных коммунистов). А «Дальистпарт» — журнал не архивный, он вовсе не должен ставить себе задачей опубликовывать каждую сохранившуюся бумажку.

Среди материалов опубликован и протокол допроса Ф. Н. Мухина, председателя первого Совета народных комиссаров Амурской области, которого конвой, состоявший из белогвардейцев и японцев, убил 9 марта 1919 г. при переводе из помещения военного контроля в Благовещенскую тюрьму.

Книга содержит портреты Анохина, Суханова, Кривоносенко и Мухина и заканчивается библиографическим списком литературы о Дальнем Востоке.

Издана книга чисто и на хорошей бумаге. Стоит она 1 р. 50 к.—цена, на наш взгляд, умеренная.

В. Вегман.

Залежский. «В стране подневольной». Очерки нарымской политической ссылки. Изд. «Молодая гвардия» Москва—Ленинград. 1924 г. Стр. 66. Ц. 30 коп.

В этой небольшой книжке заключается ряд очерков из жизни политической ссылки Нарымского края, довольно живо набросанных, частью по непосредственным личным впечатлениям, частью по рассказам других подневольных обитателей края, которые делились с автором своими воспоминаниями.

На память, по личным переживаниям и восприятиям — в этом и достоинство и недостатки книжки. Она легко, нескучно читается и в то же время хорошо отражает действительность, не так уж давно минувшую, но уже подернутую мраком забвения. Но она, конечно, не может дать того, что мы вправе ожидать от исторических монографий, написанных на основании документальных материалов.

Все же общая картина жизни ссылки несомненно верна, а переживания революционера старого времени, оторванного жандармской рукой от подпольной работы и заброшенного в нарымские дебри, как личные впечатления автора, переданы вполне жизненно.

Мне лично пришлось побывать среди ссыльных, следовавших в Нарым в 1906 году, когда ссылка носила наиболее массовый характер, а затем я был в ссылке в 1913—15 г. г., как раз в то время, к которому относятся непосредственные личные воспоминания тов. Залежского.

Вот некоторые замечания по существу очерков.

Автор начинает с своего провала в Екатеринославе зимою 1913 г., где он работал в с.-д. организации. Ряд характерных штрихов из жизни подпольщика, следование в ссылку, бытовые и экономические условия Нарымского края... Далее он отмечает некоторые особенности истории нарымской политической ссылки с 1906 г., когда она впервые стала массовой, и далее по 1910-11 г. г., когда политическим ссыльным пришлось вести борьбу с засилием хулиганских элементов. Автор пользуется воспоминаниями очевидцев, ссылаясь, главным образом, на И. Н Смирнова. Здесь отмечены лишь некоторые, довольно случайные черты, рисующие ссылку 1906—7 г. А эта эпоха была, пожалуй, наиболее интересная. Ссылка отражала красочную картину идейной борьбы и политических течений того времени. В Нарымском крае сложилась своеобразная «свободная республика ссыльных». О ней должны бы вспомнить и рассказать подробнее ее непосредственные участники.

Личные воспоминания тов. Залежского относятся к 14-15 г. г., когда политическая ссылка была не столь широкой, но носила более выдержанный партийный характер, со значительным перевесом большевиков над всеми другими течениями—след нарастающего революционного рабочего движения.

Автор вспоминает об организационной борьбе ссыльных с администрацией, об учебе в ссылке, об организации побегов. На характеристике партийно-политического состава ссылки он мало останавливается, даже в отношении наиболее многолюдной Нарымской колонии, и для политической истории подпольной России книжка почти ничего не дает. В ней нет также достаточно полного и точного изображения общественной жизни ссылки: своеобразного самоуправления отдельных колоний ссыльных,

деятельности партийных и других организаций, охватывавших политическую ссылку всего края. Нужно, например, сказать, что с.-д. организация до последних дней ссылки правильно функционировала, а нарымский комитет регулярно избирался на партийных с'ездах. Была широкая охватывающая всех политиков библиотечная организация, в нужных случаях организовывались товарищеские и общественные суды и т. д.

Несколько подробнее автор останавливается на отношении ссылки к начавшейся войне с Германией. Ему лично пришлось выступать перед ссылкой с рефератами на эту тему. Автор не отмечает, что его партийная позиция была весьма обособленной, как меньшевика-партийца. Среди социал-демократов преобладали большевики. Было также несколько меньшевиков-ликвидаторов, отрицавших всякую необходимость и возможность работы в нелегальной партийной организации. Только среди латышей были меньшевики других течений. Залежский, выступив перед ссыльными в роли меньшевика-партийца, занял затем в вопросах войны позицию последовательного революционного интернационализма.

Как отнеслась ссылка к войне? Автор вспоминает свою беседу с тов. Гетлером, позиция которого, как последовательного ликвидатора, совершенно для ссылки не характерна. Я не ошибусь, если скажу, что война общей массой политических ссыльных, как большевиков, так и эсэров, была воспринята, как непосредственное преддверие революции. Ожили надежды на революционный взрыв. Впоследствии, когда дело с войной стало затягиваться, у нас пошли дискуссии о тактике революционного пролетариата, о которых говорит и тов. Залежский. Тогда нашлись и сторонники войны до конца, до победы над Германией. И не только среди ликвидаторов (Розенберг), но и среди большевиков (Чучин, Воеводин). Отмечу, что на такой позиции все же стояли лишь единицы, и при том разделяли ее чисто теоретически. Солидаризироваться с царским правительством, хотя бы на время войны, никто не помышлял. Был простой способ избавиться от ссылки — заявить о своей готовности посвятить себя «борьбе за отечество». Это политически было выгодно для власти. Насколько я помню, такие заявления, и при том с полным успехом, кое-кто использовал, но только не из числа партийно-политического состава ссылки.

Нужно надеяться, что книжка тов. Залежского поднимет интерес к истории политической ссылки в Нарымском крае и в других «гиблых» краях Сибири. О Нарымской ссылке несомненно можно найти не мало интересных документальных материалов, которые помогут полнее осветить историю революционного движения и политических течений в старой России. Стоит лишь покопаться в нарымских и томских архивах. За разные периоды жизни нарымской ссылки не раз проводились и разрабатывались подробные анкеты, характеризующие социальный состав и политическую физиономию ссылки. Результаты этих анкетных обследований частично опубликовывались и в легальной прессе. Нарымская политическая ссылка еще ждет своих исследователей.

Вместе с тем, мы рекомендуем книжку тов. Залежского для широкого чтения, для наших общественных и рабочих библиотек.

В. Шемелев.

III.

I. Сосновский Г. П. Остатки доисторического прошлого у села Распутина на реке Ангаре. Записки Иркутского Научного Музея, 1924. В. I, стр. 6.

Небольшая работа Сосновского Г. является извлечением из его предварительного отчета по поездке в Балаганский уезд Иркутской губернии, совершенной в 1921 г. по поручению Иркутского Музея

Еще в 1903 г. крестьянином села Распутина Е. Распутиным на левом берегу р. Ангары, в 1 версте выше села, был обнаружен скелет человека, с лежащими около него каменными и костяными изделиями. Предметы из этого погребения были впоследствии пожертвованы в музей, но сами остатки человека пропали бесследно. Через несколько лет тем же крестьянином было найдено там же второе погребение, но, к сожалению, и на этот раз кости скелета не попали в музей. Произведенной в 1921 г. Сосновским предварительной разведкой были найдены кости животных, позвонок человека и крупного ископаемого животного и глиняные черепки. Автор находит, что Распутинские погребения принадлежат к китайскому типу погребений и относятся к концу неолита (ново-каменного периода). Древние же насельники, оставившие распутинские могилы, судя по сохранившемуся остеологическому материалу, обладали всеми чертами особой длинноголовой расы, населявшей в эпоху ново-каменного периода и другие места Прибайкалья. Работа Сосновского Г. П. снабжена таблицей предметов из погребения, найденной в 1903 г. крестьянином Е. Распутиным. Среди этих предметов наиболее интересно изваяние человеческой головы, высеченное из камня, изображающее человека с узким лицом, низким и покатым лбом, длинным носом, заостренным подбородком и едва выступающими скулами.

Это единственная, насколько нам известно, находка на территории Сибири. Изображение это находится в Иркутском музее.

2. Подгорбунский В. И. К вопросу об изучении стоянок Торской и Тункинской котловин. Труды проф. и препод. Иркутского Государственного Университета. 1923 г. В. 4, стр. 13.

Небольшая работа В. И. Подгорбунского представляет извлечение из его отчета по командировке Общества Естествоиспытателей при Казанском университете, в пределы Тункинского края. Тункинские пески уже давно привлекали внимание многих исследователей, но все же они слабо изучены и нет ни одного труда, в котором бы автор описывал подробно добытый им археологический материал. К тому-же разбросанность археологического материала, собранного различными исследователями по многим музеям России (Иркутск, Казань, Москва) не дает возможности остановиться более детально на его изучении.

В. И. Подгорбунский во время своей командировки открыл новые доисторические стоянки (неолит, железо) по правому и левому берегу протоки Иркута Тыбыргей и у Торской Управы. Открытые им стоянки хорошо описаны. Но очень жаль, что автор при описании керамики, посещенных им стоянок не сделал ссылок на соответствующие таблицы и рисунки в работе *Бортвина И.* «Из области древней сибирской керамики», помещенной в Записках Отделения Русской Славянской археологии Русского Географического Общества за 1915. Т. XI. Н Бортвин в этой работе, между прочим, приводит образцы керамики с Тункинских песков. Если бы автором это было сделано, то исследователю края была бы более ясна керамика Тункинских песков, а, может быть, в находках В. И. Подгорбунского оказались и новые виды керамики. Это для местного археолога важно потому, что археологический материал, собранный автором, находится не в Иркутске, а в Казани.

П. Хороших.

IV.

Народное хозяйство Томской губернии. Сборник статистических и отчетно-ведомственных материалов за первую половину 1924 года под редакцией **В. С. Корнева** Изд. Т. Н. Союза Потребобществ. Томск. 1924 г. Стр. 232.

Рекомендовать эту книгу тем, кто ищет легкого, «удобоваримого» чтения, мы бы не решились. Изобилие цифр, таблиц и статистических выкладок должно совершенно подавить такого читателя, и он, очевидно, бросит книгу, не дочитав и первых десяти страниц. Другое дело—тот, кто всерьез интересуется вопросами экономики нашей окраины. Для такого читателя эта книга имеет все основания занять место среди других его настольных книг, ибо, если не в целом (об этом ниже), то в части она дает и ряд крайне ценных данных справочного характера и немалое число весьма существенных выводов.

Назвать ее только «сборником материалов за половину года», пожалуй, будет слишком скромно. В действительности, это ряд самостоятельных очерков, написанных каждый на специальную тему: «сельское хозяйство», «кредит», «промышленность», «торговля», «кооперация» и т. д., которые охвачены единством замысла—дать общую картину народного хозяйства губернии. Некоторые из этих очерков излагают события действительно в рамках половины текущего года, но большинство, и среди них лучшие по разработке темы, выходят далеко за эти пределы, охватывая целый ряд послереволюционных лет, а иногда даже и довоенное время.

Таким одним из лучших очерков надо признать *«Сельское хозяйство Томской губернии»*. На основе глубоко проработанного статистического материала, восполненного к тому-же рядом остроумных методических приемов, перед читателем, последовательно, в их ретроспективе, раскрываются: общие условия сельско-хозяйственного производства, важнейшие процессы в крестьянском хозяйстве и, наконец, результаты хозяйственной деятельности сельского населения в целом.

Несмотря на известную специфичность природных условий (климат, почва и т. д.)—сельское хозяйство Томской губ. проделало эволюцию общую и для других местностей республики: под'ем перед войной; кризис в конце эпохи военного коммунизма; крайняя депрессия в 1922 г.; перелом—в следующем и закрепление этого перелома—в текущем году. Интерес, однако, сосредотачивается не только в фиксации этой схемы, он еще и в тех крайне сложных и глубоких изменениях составных частей крестьянского хозяйства, которые сопутствовали названному процессу. В частности, большого внимания заслуживает мастерски выявленная здесь-же та перегруппировка бедняцких, маломощных, середняцких и зажиточных хозяйств, которая за годы революции так радикально изменила всю социально-экономическую структуру нашего крестьянства.

В pendant этому очерку—«материалам» стоят два других—*«Народное хозяйство Томской губ.»*, развернутой частью которого является «Сельское хозяйство» и вы-

текающий отсюда же—очерк «*Промышленность*».

Правда, в последнем, б. или м.,полное отражение нашла только местная промышленность, подчиненная раньше ГСНХ вся остальная отражена почти одной сводкой, но и при этой краткости и суженности темы, этот очерк безусловно представляет крупный практический интерес.

Увы, мы не можем сказать того-же про те «материалы», которые посвящены *финансам* губернии. Какая-то печать небрежности лежит на них. Небрежность в цифрах, небрежность выводов, порой не только не вытекающих из предыдущего,но даже стоящих с ним в противоречии, и, наконец... небрежность мысли.

Как иначе, если не небрежностью мысли, характеризовать вот такой, например, шедевр: «В качестве отрицательного *фактора финансово экономического характера* следует также признать и неустойчивость бюджетной *номенклатуры* (стр. 136).

Теперь о небрежности в цифрах: «общая сумма поступлений—читаем мы—по государственным налогам, местным налогам и сборам и коммунальным доходам в 1922-23 году достигает 1.929 079 р.» (стр.137).

Не верьте, читатель. Кто, как ни сам автор страницей раньше, уверял, что только один натурналог за 1922-23 год (в переводе на деньги) выполнен в сумме 3.127.448 руб.

Дальше—«количество дензнаков... *к началу* кампании по с.-хозналогу нынешнего года *вряд-ли* превышало 400 тыс. черв. р... *теперь* оно удвоилось и, *по всей вероятности*, составляет около 800 тыс. черв. р., считая в том числе и деньги, находящиеся в кассах НКФ и Госбанка» (стр. 148). И это буквально все, что поведали нам *о денежном обращении* в губернии. Неужели же нельзя было добыть и более точные даты, и более точные данные о находящейся в обращении денежной массы?!

Не спасает положения и выдвинутый сейчас-же вслед за этим вывод автора: «*Денежное обращение*» доказало свою живучесть и *способность оборачиваться* очень быстро» (стр. 149). Что за гениальный прогноз и что за изысканнейший *оборот* речи!

Небрежность вывода... Идет характеристика деятельности Промбанка. Дается справка:

«Задолженность госпромышл. 191.000 р.
Задолженность госторговли,
кооперации, госучреждений,
частных лиц . . . . . 978.000 р.»

И отсюда такой вывод—«таким образом, Томское отделение Промбанка встало на правильный путь, кредитуя *в преобладающем размере* госпромышленность». (стр. 145). Но ведь приведенные цифры говорят-то как раз обратное, что «преобладание» осталось не за госпромышленностью, а за другими клиентами банка. Или тут опять путаница в цифрах?

Перейдем *к местному бюджету*. На стр. 151 имеется такой вывод: «анализ выполнения бюджета за первое полугодие... *подтверждает* реальность намеченного им производственного плана». Глубокое заблуждение автора. Такой вывод ни откуда не вытекает. Для этого достаточно взглянуть на помещенные тут-же таблицы, из которых явствует, что расходные предположения выполнены всего лишь в 82,3 проц., а доходный план даже в 80 проц. (реальный план требует, как известно, выполнения в 100 проц.).

Читаем дальше: «Дополнительная смета расходов по губернии вылилась в сумме 277.757 руб. При этом дополнительных *доходов* в местном бюджете *не открылось*». Казалось бы, спорить не о чем, вывод ясен—при отсутствии доходов смета расходов оказалась *нереальной*. Отнюдь нет. У автора вывод как раз наоборот: «при отсутствии доходных источников, дополнительные расходные статьи явились *вполне реальными* (стр. 157)». Да не подумает читатель, что где-нибудь дальше ему раз'яснят это странное внутреннее противоречие. Здесь именно стоит точка.

Наряду с «финансами» большое разочарование дают и материалы «о местном хозяйстве». Исходя из совершенно неверной предпосылки, что «в круг ведения Отд. Местн. Хоз. входят *все стороны* хозяйственной жизни», т.-е., спутав понятия «коммунальное хозяйство» и «местное хозяйство», автор под заголовком последнего дает нам сведения лишь о предприятиях, жилищном фонде и дорожном строительстве.

Этого, конечно, безусловно, недостаточно. В понятие местного хозяйства («все стороны жизни») входит и то же коммунальное хозяйство, и здравоохранение, и народное образование, и соц. обеспечение, и ряд. других отраслей хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей местного населения. И, конечно, мы вправе были ожидать, что в этой части книги будут представлены данные о том, в какой степени удовлетворяются эти потребности; данные о числе школ и учащихся, о числе лечебных заведений и коек в них, о числе агропунктов и т. д. и т. п. Отсутствие этих сведений надо признать крупным пробелом в книге.

Торговля. О ней даны хоть в сжатой форме, но достаточно удовлетворительные сведения за полугодие. Только зачем-же было автору делать такой смелый вывод (опять вывод!), что в противовес государственной и кооперативной торговле, которые «имеют тенденцию к расширению деятельности в деревне»—«*частная торговля сосредоточивается в городе*» (стр. 163). Оставим это утверждение на совести ав-

тора. Нам же пока известно как раз обратное—что, в масштабе республики, *частный капитал уходит* «частью в те отрасли городской торговли, которые имеют связь с деревней, *большей же частью в самую деревню*» («Эк. Жизнь», № 349).

С гораздо большей тщательностью, полнотою и знанием дела разработаны материалы *о кооперации*. На протяжении тридцати страниц автор шаг за шагом знакомит читателя со всеми перепитиями, которые претерпела кооперация за три последних года, - отмечая и доказывая постоянный рост ее капиталов и расширение сети.

Крупный интерес представляет и последний очерк книги—«*Характеристика общего благосостояния населения*», где затронут и достаточно полно представлен наиболее жгучий вопрос современности—в каком размере и чем обеспечены трудящиеся города и деревни.

Таково, в главных чертах, содержание книги «Нар. хозяйство Томской губ.». Она имеет недостатки, которые, однако, с лихвою покрываются ее достоинствами. А главное, она написана и издана во-время.

Е. Яницкий.

Нагишкин Д. Баргузинская тайга (Экономический очерк). Верхнеудинск. Год не указан (видимо 1923), стр. 32

Северная часть Забайкальск. обл.—Баргузинский округ еще недостаточно полно исследован в экономическом и этнографическом отношениях. Исследователи прежнего времени наиболее касались вопросов: геологического, географического, ботанического и топографического изучения этой местности, а также и состояния золотопромышленности; сведения об экономическом быте края встречались очень редко, поэтому сделать сводку всего разбросанного материала было крайне необходимо. Работа Нагишкина как раз отвечает этим потребностям, она знакомит читателя с имеющимся материалом, об'единяет его в одно целое и, кроме того, пополняется многими личными наблюдениями автора. Теперь нам становится уже ясно, какие из районов Баргузинской тайги требуют дополнительного изучения.

Работа Нагишкина Д. разделена на XI гл. (кроме предисловия и заключения).

В первых двух главах автор касается географии, топографии, климата, почвы и растительности края. Следующая глава посвящена историческому прошлому края и быту современного населения края. Эта глава дает очень много интересных сведений не только экономисту, но и этнографу. В особенности интересен вопрос об орогонах.

Говоря о положении земледелия в крае, автор находит, что думать о развитии земледелия в крае едва-ли возможно, этому мешают вредные влияния общих температурных условий. По мнению автора, Баргузинский округ наиболее удобен для использования для надобностей скотоводческого хозяйства. Горный промысел в крае выражается исключительно в существовании одной только его отрасли—золотопромышленности. Что же касается других минеральных богатств края, залежей графита, серебра, колчедана, красной меди, малахита, свинцовых, железных и др. руд, а также асбеста и каменного угля,—то эти богатства еще ждут исследователей. Богата Баргузинская тайга и минеральными источниками. Правда, большая часть их досего времени не исследована и не оборудована и ими пользуется только местное население Исключение составляет Туркинский горячий минеральный источник, давно известный своими целебными свойствами. Нужно сказать, что главным препятствием к широкому использованию ключей и экономическому развитию края является полное отсутствие удовлетворительных путей сообщения. Говорить-же о водных путях сообщения не приходится, так как утилизация рек тайги возможна только для целей сплава.

Правда, за последнее время было обращено внимание на улучшение существующих путей сообщения и сооружение новых и даже возникло несколько проектов соединения тайги и вообще всего Ленского и Витимского золотоносных районов рельсовыми путями с сибирской магистралью. Этому вопросу автор уделяет много внимания и его соображения крайне интересны.

В заключение автор говорит, что «вся будущность экономического развития тайги зависит от создания в центре тайги административного пункта и в скорейшем проведении трактовых путей и железнодорожной линии».

Работа сопровождается рядом статистических таблиц: о числе населения края, экономическом благосостоянии, о количестве осадков, о количестве добываемого зверя и др.

Пав. Хорошх.

V.

Н. Леший. Изба-читальня. Формы и методы политико-просветительной работы в деревне. Сибкрайиздательство. 1924 год, тираж 3000, стр. 30, ц. 15 коп.

Политико-просветительная работа в деревне завоевывает все больше и больше места в общей системе советской работы. Самый характер ее становится гораздо более четким, законченным. Теперь уже стало совершенно очевидным, что политико-

просветительная работа - это одно из средств по ускорению втягивания беднейших и середняцких слоев населения деревни в дело практического советского строительства, в дело кооперирования мельчайших сельских хозяйств. Там, где работа начинает идти по указанному руслу, вокруг же разгораются страсти. Классовая борьба в деревне идет не только по линии борьбы за Советы, за кооперацию но и за избу-читальню, библиотеку, кружки. Не мало уже случаев, когда хорошо работающая изба-читальня сжигается теми, для кого эта работа вредна, когда политпросветработники убиваются.

Изданная Сибкрайиздатом книга посвящена как раз одному из таких работников—т. Носикову.

Трудна работа в деревне вообще, особенно трудна она в сибирской деревне, и поэтому издание Сибири руководства по работе в избе-читальне приходится особенно приветствовать.

Задача книжки—дать общее руководство по работе в деревне местными работниками. Сама эта задача опять-таки чрезвычайно жизненна, особенно для таких больших и отдаленных от центра районов, как Сибирь.

Переходя теперь непосредственно к разбору самой брошюры, необходимо отметить целый ряд интересных и положительных моментов в сибирской работе.

Прежде всего большим плюсом является установление твердого штата волостных изб-читален—заведующий избой-читальней, заведующий библиотекой, ликвидатор неграмотности и сторож. Вся работа мыслится тесно связанной с населением, в значительной мере вынесенной на улицу. Так например, даже стенную газету рекомендуется летом вывешивать на улице, большое внимание обращается на справочную работу. Брошюра конспективно охватывает все виды работы избы-читальни, дает в виде приложения ряд официальных положений и циркуляров.

К числу ее недостатков следует отнести слабость разработки таких вопросов, как агитация и пропаганда в избе-читальне, беседа в ней, от них веет поверхностностью, недостаточной проработкой. Совершенно неверным является утверждение автора, что «справочную работу должен вести библиотекарь". Справочная работа, как правило, должна вестись коллективно, с привлечением всего актива деревни (см. об этом статью т. Белбея в прошлом номере «Коммунистического Просвещения»).

Несмотря на эти недочеты, брошюра представляет ценный опыт конкретизировать общую линию работы изб-читален применительно к местным условиям, для местных работников.

Все губполитпросветы должны ознакомиться с ним и попытаться сделать что либо в этом же роде и у себя, потому что политико-просветительная работа в наше время должна строиться целиком на местной практике, на местных особенностях.

А. Кравченко.

Содержание пяти номеров журнала „Сибирские Огни“ за 1924 год.

Художественное слово.

	№ журн.	стр.
П р о з а.		
Ис. Гольдберг. Петька шевелит мозгами.—Рассказ . . .	3	77
Гроб подполковника Недочетова—повесть из цикла «Путь, неотмеченный на карте» . . .	4	3
Пав. Долецкий. Зеленый клин.—Повесть	5	3
Н. Дубняк. В те поры.—Рассказ	3	61
В. Зазубрин. «Смерть»	1	3
А. Новоселов. Лицо моей родины.—Сибирские очерки. .	2	51
Мих. Плотников. Городок.—Рассказ.	2	43
Г. Пушкарев. Надо воротиться.—Повесть.	4	81
О. Рунова. Косым ветром.—Рассказ.	1	41
Опара.—Повесть.	5	57
Л. Сейфуллина. Путники.—Роман. (Продолжение). . .	1	11
Н. Сибиряков. Пугающая психология.- Рассказ . .	4	74
Ан. Сорокин. Примитивы	3	90
Фед Тихменев. Миленочек.—Рассказ.	1	40
Сам по себе.—Повесть.	2	3
Кондр. Урманов. Заноза.—Рассказ.	2	34
Пестрядь.—Рассказ.	3	66
Марь.—Рассказ.	4	68
Н. Федотов. Удав.—Из «зоологических рассказов». . .	4	53
Р. Фраерман. Огневка.—Повесть.	3	3
Ст. Шилов. Мишкина «соль».—Очерк.	1	50
С т и х и.		
Ник. Асеев. Из московских песен.	1	74
Серг. Алимов. Кайе.	3	101
Бор. Благодатный. «Я не грущу, что я не дома». . .	4	102
Серг. Вологодский. Сонет	5	98
Мат. Гиндин. Стихи о Тифлисе.	3	103
П. Драверт. У грани.	2	59
О б ь.	5	98
Ив. Ерошин. У ручья	1	76
Б а б а.	4	100
В горной долине.	4	99

Вл. Заводчиков. «Я хотел весны».	2	61
Н. Изонги. Товарищ Тетерин.	1	47
Гамма веков.—Первая часть поэмы.	4	61
Простые радости.	5	99
В. Итин. Брест.—Эскиз к поэме	1	7
Февраль	1	37
Блок-нот поэта.—Стихи о поэзии.	4	65
Кс. Львова. Без заглавия.	5	100
Л. Мартынов. Балхаш	1	75
Море было.	3	100
Старый Омск.—Рассказ в стихах.	4	58
Адмиральский час.	5	53
Евл. Минин. Пастух.	2	60
Ив. Молчанов. Военорг.	2	63
Таежный город.	3	99
А. Несмелов. «Как старьевщик, роюсь...»	1	77
Георгий Павлов. «Свет высечен из песни».	2	60
Стихи о ветре.	1	73
Песня о матери и сыне.	3	102
Песня кули.	4	103
О недавнем.	5	95
А. Пиотровский. В тайге.	4	101
М. Скуратов. Копачи. Приисковые были.	2	62
Сибиряки.	3	95
Иркутск.—Сибирский сказ.	3	96
Сказ о бердане.	4	105
Раздумье.	5	97
Иосиф Уткин. С ч е т.	2	64
Х о д я.	1	9

Б ы л о е.

А. Абов. *(А. Ансон).* 1905 г. в Красноярске.—III очерк	1	143
Октябрь в Восточной Сибири.—Воспоминания	4	107
Н. Бакай. К биографии Бакунина.	5	160
Б. Балакшин. Воспоминания о декабристах в Сибири.	3	178
В. Болдырев. Из пережитого (окончание).	1	161
Е. Б. Товарищ с пародем «Валентин».	1	104
В. Вегман. Владимир Ильич Ульянов-Ленин.	1	78
Б. Г—ов. Ф. М. Достоевский в Семипалатинске.	4	140
Я. Диман. Ленин—теоретик, организатор, вождь.	1	107
А. Киржниц. В. И. Ленин в Сибири.	1	93
В полосе отчуждения (Китайско-Восточная железная дорога).	3	138
Б. Кубалов. Сибирь и самозванцы.	3	152
Декабристы и амнистия.	5	143
П. Парфенов. Предоктябрьские дни в Сибири.	3	107
Мих. Плотников. Старинные люди у Холодного океана.	4	151
Г. Потанин. Гавриил Степанович Батеньков.	2	66
Б. Семенов. Три встречи.	1	131
А. Ширямов. Иркутское восстание и расстрел Колчака.—(Воспоминания).	4	122
Бор. Шумяцкий. Первый Сибирский Совет.	5	101

Як. Шумяцкий. Туруханка. 5 113

Политико-экономический отдел.

И. Данилевский. Наш Ньюкестль. 3 190
А. Киржниц. Пятилетие Коминтерна. 1 135
А. Певзнер. Сибирь на перевале. 3 182
А. Поволоцкий. Борьба с частным капиталом в Сибири. . 2 101

Научный отдел.

В. Болдырев. Война и химическая промышленность. . . 2 75
В. Васильев. Северный морской путь. 5 190
Б. Вейнберг. Сибирские магнитные аномалии. 2 91
В. Громов. К вопросу о современном наступлении моря в Сибири. 3 201

Современность

В. Виленский *(Сибиряков).* Борьба за власть в Китае. . 4 157
Г. Вяткин. Бабий прокурор. 2 160
А. Николин. Советский школьник (по материалам школьной выставки в Новониколаевске). 4 171
Гл. Пушкарев. Ленин помер. 2 173
Е. Яницкий. Памяти В. Сапожникова. 5 235

Искусство и жизнь.

Д. А. Болдырев-Казаринов. Ленин и искусство. 2 113
Я. Браун. Десять странников в «осязаемое ничто». . . . 1 200
Б. Жеребцов. Заметки о творчестве Л. Сейфуллиной . . 3 211
Мих. Плотников. Послерусский Вогульский эпос. . . . 2 124
В. Правдухин. Художественная литература за семь лет. . 5 213

Письма в редакцию.

Проф. Б. Боднарский. Урало-Сибирская библиография. . 4 199
Сибирская студенческая подсекция Ц. Б. К. К научным и краеведческим организациям и краеведам Сибири. К школьным работникам, студенчеству и всем учащимся Сибири. 4 200
Е. Полюдов. По поводу статьи П. Парфенова «Предоктябрьские дни в Сибири». 4 201
Редакция «Сибирских Огней». Открытое письмо журн. «На посту». 2 220

Библиография.

А. А. Центро-Сибирь (В обозрении редких сибирских изданий). 2 210
Библиографический указатель . . . . . 5 I-VIII

Библиографический указатель

книг, о которых даны отзывы в отделе «Критика и Библиография» журнала «Сибирские Огни» за 1924 год.

Общий отдел [о].

Вся Сибирь. Справочная книга на 1924 год. Изд. Северо-Зап. отделения главной конторы «Изв. ЦИК'а и ВЦИК». 358 стр. CVII стр. Тираж 1600 экз. Ленинград 1924 г.

Весь Новониколаевск. Адресно-справочная книга с краткой историей и планом города. Изд. Сиброста. 1924 г. Цена 7 р. 50 к.

Социальные науки [з].

Я. Д. Кац. Иркутский рабочий и его бюджет (по данным бюджетного обследования 1923 г.). Материалы Ирк. губ. Статистического Бюро. Выпуск XVIII, стр. V+78.

Местный бюджет Томской губернии на 1923—1924 бюджетный год. Издание Томского Губисполкома. Томск. Ноябрь 1923 год. Стр. 48+364+547.

Литература по НОТ'у.

Ерманский, О. Л. «Научная организация труда и система Тейлора». Гиз. М. 1922 г., 2-е изд.

Проф. С. С. Чахотин. «Организация, принципы и методы. Гиз. М. 1924 г.

Керженцев, П. М. «Принципы организации». Гиз. П. 1923 г. Изд 2-е.

Годовые итоги на хозяйственно-политическом фронте Сибири 1922—1923 г. Новониколаевск. 1923 г. Издание Сибревкома. 572 + 111 стр.

Материалы по бюджетному обследованию рабочих и служащих Сибири в 1923 г. Выпуск второй. Изд. Об'единенного Бюро Статистики труда при Сиббюро ВЦСПС, Сибстатуправлении и Сибтруде, под редакцией заведывающего Бюро А. А. Мельникова.

Пушные районы Дальнего Востока и кооперирование туземцев. Выпуск второй. Материалы по туземному вопросу на Д. В. Издание туземного под'отдела отдела управления Д. Р. К. Чита. 1924 г.

А. М. Поволоцкий. «Задачи государственной торговли и кооперации в борьбе с частным капиталом». С предисловием М. М. Лашевича. Второе издание. Сибирское Краевое Издательство. Новониколаевск. 1924 г. Цена 50 к. Стр. 66.

Отчет Новониколаевской Товарной Биржи за 1923 г. Издание биржевого комитета. Тир. 300. Стр. 59.

Итоги земельной переписки в Якутии. Издание Статистического Управления ЯССР. 1924 г. Тир. 800. Стр. 25.

А. М. Глятетерн. Правовая база современных англо-русских отношений. Иркутск. 1923 г.

Из родословной советов. Н. Бабахан. Советы 1905 г. Издан. «Моск. Раб.». 1923 г.

Д. Сверчков. «Родословная Петербургского Совета Раб. Деп.». Статья в журнале «Красная Летопись». № 9—23 г.

В. Войтинский. «Годы побед и поражений». Берлин.

Сверчков. «На заре революции». Госиздат. 1922 г.

Л. Троцкий. «1905 г.». Госиздат. 1922 г.

Б. А. Монин. «Масло и маргарин на мировом рынке и восстановление сибирского маслоделия». Берлин. Издательство «Сотрудник». 1923 г. 60 стр.

Гуманитарные науки.

Хороших П. Исследования каменного века Иркутского края. Известия Биолого-географического Научно-Исследовательского Института при Государственном Иркутском университете. Т. I. В. I. 1924 г.

Сосновский Г. П. Новые стоянки палеолитического периода в окрестностях г. Красноярска. Записки Иркутского научного музея, вып. I. 1924 г. Стр. 1—16.

Прикладные знания.

Ежегодник государственного музея имени Н. Н. Мартьянова в г. Минусинске, т. I, вып. I и II. 1923 г. Т. II, вып. I—1924 г.

В. А. Ватин. Город Минусинск, ч. 1. Исторический очерк. Изд. Минусинского музея имени И. М. Мартьянова, г. Минусинск. 1916—1923 г. Стр. 394. Цена 3 р.

М. Азадовский. Беседы собирателя о собирании памятников устного творчества, применительно к Сибири. Иркутск. 1924 г. Стр. 86. Тираж 1000. Издание Этнологической секции Восточно-Сиб. Отд. Русск. Г. О-ва. Цена не указана.

Сборник материалов к изучению сельского хозяйства Сибири. Изд. Сибземуправления. Новониколаевск. 1924 г.

Г. Баранов. «Воспитательное значение шахматной игры». 1924 г. Стр. 31. Цена 32 к. Тир. 3000. Издан. Омского Отд. Сибкрайиздата.

ЛИТЕРАТУРА (8).

Звезда. № 1. Литературно-общественный и научно-популярный журнал. Ленинград. 1924 г. Стр. 311.

Ильичу. Литературно художественный сборник ИЛХО (Иркутского литературно-художественного общества). 40 стр. Тираж 4000.

Этьен Бюрне. Вдали от России. Роман из жизни русских эмигрантов. Перевод с французского Е. И. Благовещенской и А. П. Никольской. Издательство «А. Ф. Маркс». Петроград. 1924 г. Стр. 214.

М. Горький. «Мои университеты». Воспоминания. Полное собрание сочинений. Издательство «Книга». Берлин. 1923 г.

«Октябрь». № 1. Литературно-художественный и общественно-бытовой журнал московской ассоциации пролетарских писателей. 206 стр. Выходит раз в два месяца. Госиздат. 1924 г.

Русский современник. Литературно-художественный журнал. Книга первая. Ленинград—Москва. 1924 г.

Перевал.—Сборник. № 1. Под редакцией Арт. Веселого, А. Воронского, Мих. Голодного и В. Казина. Госиздат. Москва. Тир. 2000. Стр. 261.

Пьер Амп.—«Люди». Избранные рассказы. Изд. «Мосполиграф». 1924 г. Стр. 177. Тир. 5000.

Кондр. Урманов. Половодье. Рассказы. Новониколаевск. 1924 г. Стр. 178. Тир. 1000. Издание автора.

«Октябрь». Журнал МАПП. № 2. Государственное издательство. 1924 г.

Вл. Бахметьев. «На земле»,—рассказы. Изд-во «Мосполиграф», 1924 г. Стр. 129. Тираж 5000. Цена 80 коп.

Николай Левченко. «Таежное». Сибирские рассказы. Изд. Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК и кооперативного изд-ва «Жизнь и знание». Москва. 1924 г. Тираж 5000. Цена 1 рубль.

В. Ропшин. (Б. Савинков). «Конь вороной». Изд. «Прибой». 1924 г. Стр. 107.

«Стройка». Литературно-художественный альманах, № 1, Ленинград. Изд. «Прибой». 1924 г. Тир. 3000. Стр. 208.

А. Несмелов. Уступы. Стихи. Тираж 350. Владивосток. 1924 г.

Павел Антончик. Гудки (стихи). Издание рабкоровского кружка Омдора. 500 экземпл. Омск. 1924 г.

Иван Городецкий. Итоги. Выпуск 1. Стихотворения. Издание автора. Тираж 500. Семипалатинск. 1924 г.

Есенин. «Москва кабацкая». Ленинград. 1924 г.

Таежные огоньки. Ежемесячное литературное приложение к газете «Автономная Якутия», № 1.

А. Докучаев. «Излучины». М. Дудоров.—«Из полей». И. Трошин -«За свободу». В. Юренев.—«Медуница». Е. Шаров.—«Блики». Стихи издания «Тверского лит.-худож. О-ва имени И. С. Никитина».

Г. Деев-Хомяковский и Н. Нефедов. «Сарафан» (простые песни). Москва. Издание Всероссийского союза крестьянских писателей 1924 г.

Жизнь Бурятии. Ежемесячный журнал ЦИК и СНК Бурят-Монгольской ЯССР, № 1. Июль 1924 г. Верхнеудинск. Стр. 80.

Сибирский Педагогический журнал. Книга первая, вторая и третья. 1924 г Выходит один раз в два месяца. Сибкрайиздат. Новониколаевск.

С. П. Сабуров-Долинин. «Келья»—трагедия в 4-х действиях из монастырской жизни. Ачинская государственная типография. Тираж 200 экземпляров. Стр. 31. Цена 5 р. золотом. 1924 г.

Егоров-Чащин-Ваеч. Поэмы. Иркутск. 1924 г. Издание автора.

Б. Жданов. Вагон смерти. Д. В. Сиб. Изд. «Книжное Дело». Чита—Владивосток. 1924 г. 30 стр. Тир. 4000.

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ.

Н. Лукин-Антонов. Из истории революционных армий. Высший военный редакционный совет. Государственное издательство. Москва. 1923 г. Стр. 314.

Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914 -1918 г.г. Перевод с 5-го немецкого издания под редакцией А. Свечина, том первый. Высший военный редакционный совет. Государственное Издательство. Москва. 1923 г. Стр. 321. С 8-ю отд. картами и схемами в тексте.

«Былое Сибири». № 1. 1922 г., № 2. 1923 г. Изд. Истп. Томского Губкома РКП.

«Путь борьбы». Выпуск 1. 1923 г. Изд. Том. Губ. Ком. РКП(б). Бюро Истпарт.

П. И. Розенталь. Романовка (Якутский протест 1904 г.). Из воспоминаний участника. Изд. «Книга». Ленинград-Москва. 1924 г.

Г. Цыперович. «За полярным кругом». Десять лет ссылки в Колымск. Госиздат. Петроград. 1924 г. Стр. 242.

Н. К—н. «Материалы из истории политической административной ссылки в Степной край». (Записки Семипалатинского Западно-Сибирского п.-отдела Русского Географич. Общества. Выпуск XIV. Семипалатинск. 1923 г.).

Людендорф. «Мои воспоминания о войне 1914—1918 г.» Перевод с 5-го немецкого издания под редакцией А. Свечина, том II. Высший военный редакц. совет. Гос. Изд. Москва. 1914 г. Стр. 315, со схемами и 2 картинами.

К. В. Сахаров. (генерал-лейтен.). «Белая Сибирь». (Внутренняя война 1918—1920 г.). Мюнхен. 1923 г. Стр. 324.

Б. Борисов. «Дальний Восток». Вена. 1921 г. Изд. «Новой России». Цена 100 крон.

Н. Н. Даурец. «Семеновские застенки» (Записки очевидца). Харбин. 1921 г. Изд. «Маяк».

Д-р Франтишек-Штейдлер. «Наше выступление в России в 1918 году». Прага. 1923 г. Изд. «Памятника войны». Стр. 85.

Д-р Франт Вл. Штейдлер. «Чехо-словацкое движение в России». 2-е изд. Прага. 1922 г. Изд. «Памятника войны». Стр. 115.

Полковник Джон Уорд. «Союзная интервенция в Сибири 1918 -1919 г.г.». Записки начальника английского экспедиционного отряда. Предисловие И. Майского. Госиздат. Москва-Петроград. 1923 г.

Пр. Вл. И. Огородников. Очерк истории Сибири до начала XIX столетия. Часть II. Вып. I. Завоевание русскими Сибири. Владивосток. 1924 г. Стр. 108 с картой.

А. Берс. «Пугачевщина на Урале». Краткий очерк с портретами Е. Пугачева, тремя иллюстрациями и картой военных действий на Урале. 1773—1775 г.г. Изд. «Уралкнига». Екатеринбург. 1924 г. Стр. 48.

Пр. В. К. Кудряшев. «Александр I и тайна Федора Козьмича». Изд. «Время». Петербург. 1923 г. Стр. 168.

И. Архангельский. «Город Енисейск». 1613—1918 г. Г. Енисейск. 1923 г. Енисейская гос. типография, арендуемая енисейским уездным местом заключения. Стр. 72.

В. А. Смирнов. «Краткий обзор истории г. Красноярска за 300 лет». (Известия Красноярского отдела Русского Географ. Общества) т. 3, вып. I, город и год не указаны (Красноярск, 1923 г.).

«Дальистпарт». Сборник материалов по истории революционного движения на Дальнем Востоке. Книга первая. Изд Акц. Общ. «Книжное Дело». Чита—Владивосток. 1923 г. Цена 2 р. 50 к.

Колчаковщина. Сборник под редакцией Н. Райвида и В. Быкова. Изд. «Уралкнига». Екатеринбург. 1924 г. Стр. 294. Цена 1 р. 10 к.

А. С. Берг. «Открытие Камчатки и камчатские экспедиции Беринга». Госиздат. Москва. Петроград. 1924 г. Стр. 246.

СОВРЕМЕННОСТЬ (10).

Вл. Виленский (Сибиряков). Сунь-Ят-Сен. Отец китайской революции. Изд. «Красная Новь». 1924 г. Стр. 182. Цена 90 к.

Его-же. За великой китайской стеной (Люди, быт и общественность). Изд. «9-ое Января». Транспосекции. 1923 г. Стр. 107. Цена 50 к.

Г. Войтинский. Что происходит в Китае. С предисловием К. Радека. Госиздат. 1924 г. Стр. 60. Цена 18 к.

УЧЕБНИКИ.

А. Бердников и Ф. Светлов. Курс политграмоты. Под общей редакцией Н. И. Бухарина. Изд. «Красная Новь». 1924 г. Стр. 636. Тираж 30000. Цена 2 р. 50 к.

Редактор: **Редакционная Коллегия.**

СОДЕРЖАНИЕ.

		Стран.
П. Долецкий.	*Зеленый клин.*—Повесть	3
Л. Мартынов.	*Адмиральский час.*—Рассказ в стихах . . .	53
О. Рунова.	*Опара.*—Повесть	58
С Т И Х И:	Георгия Павлова, Мих. Скуратова, П. Драверта, Серг. Вологодского, Н. Изонги, Кс. Львовой .	95-100
Бор. Шумяцкий.	*Первый Сибирский Совет Рабочих и Солдатских депутатов 1905 г.*	101
Як. Шумяцкий.	*Туруханка.*—(Очерк по истории политической ссылки в Туруханский край)	113
Б. Кубалов.	*Декабристы и амнистия.*	143
Н. Бакай.	*К биографии М. А. Бакунина.*	160
Д. Чудинов.	*Забытый предтеча.*	170
В. Васильев.	*Северный морской путь*	190
В. Правдухин.	*Художественная литература за семь лет.* .	213
Г. Вяткин.	*Лицо интервенции.*	228
Е. Яницкий.	*Памяти В. В. Сапожникова*	245
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ		238-252
Содержание пяти №№ „Сиб. Огней" за 1924 год и библиографический указатель		I—VIII
ОБ'ЯВЛЕНИЯ.		

Гублит 3920, от 23 декабря 1924 г. Зак. № 689. Тираж 2000 экз.

Г. Новониколаевск. Тип. Сибкрайсоюза. Советская, 6.

Сибирское Краевое Издательство.

Открыта подписка на журналы на 1925 год:

КНИЖНАЯ ПОЛКА

(ЕЖЕМЕСЯЧНИК).

Задачей журнала является об'единение книжных и библиотечных работников Сибири, разработка форм и методов книжно-просветительной работы, вовлечение в дело распространения книги учителей и политпросветработников, пропаганда книги среди широких масс населения, рабочих библиотек, изб-читален, ячеек РКП и РЛКСМ.

В журнале будут иметь место постоянные отделы:

1) Статьи и заметки о методах и формах работы с книгой.
2) Обзоры книг по отдельным вопросам.
3) Рецензии и отзывы о новых книгах.
4) Списки книг для массового читателя.
5) Переписка с читателем.
6) Об'явления.

„Книжная Полка" издается под общей редакцией т.т. АНСОНА А. и БАСОВА М. и при участии литературных, педагогических сил и политпросветработников Сибири.

Подписная цена с пересылкой: на 1 год—3 руб., на полгода—1 р. 60 к., на 3 месяца—85 коп.

ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Сибирский Педагогический Журнал

Орган Сибирского Отдела Народного Образования.

Журнал посвящен учету опыта педагогики и практики просвещения в Сибири и ставит себе задачей педагогическое и методическое инструктирование на основе сибирского материала.

Журнал выходит 11 раз в год, под общей редакцией т.т. Вейнгрова, Вейсберга и Смирнова.

В журнале принимают участие непосредственные работники городской и сельской школы Сибири, члены методических бюро Губоно и Сибоно, а также представители педагогической мысли Сибири и Европейской России.

В журнале имеются постоянные отделы:

Общий педагогический. ▽ Хроника.
Практика просвещения. ▽
Детского движения. ▽ Критика и библиография.

Журнал, являясь необходимым средством революционного воздействия на массового работника просвещения, должен стать настольной книгой сибирского учителя в его повседневной работе.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—6 руб., на полгода 3 руб. 25 коп., на 3 мес.—1 руб. 65 коп.

СИБКРАЙИЗДАТ

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

„СИБИРЬ"

В журнале, кроме литературно-художественного материала, помещается ряд статей по вопросам советского строительства, быта, богатств Сибири, промыслы Сибири, сатира, шахматы.

Журнал богато иллюстрирован.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА с пересылкой: на год—4 руб., на полгода 2 руб., на 3 мес.—1 руб. 10 коп. Цена отдельного номера 40 коп.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

ДЛЯ ШКОЛ И ИЗБ-ЧИТАЛЕН.

А. Ансон и В. Пулышев -**НАША СИЛА СОВЕТЫ.** Букварь для взрослых. Цена 18 коп.

„ „ **НАША СИЛА СОВЕТЫ.** Сибирская хрестоматия для взрослых, Допущена ГУС'ом. Цена 60 коп.

Н. Осмоловский - **МЫ В ШКОЛЕ.** (вместо букваря). Цена 20 коп.

Н. Венгров и Н. Осмоловский **МЫ В ШКОЛЕ.** Книга вторая для работы в школах Сибири. Допущена ГУС'ом. Цена 65 коп.

И. Л. Смирнов. Как работать по комплексной программе в деревенской школе I ступени.

Для сибирского крестьянина.

Книги по вопросам сельского хозяйства в условиях Сибири.

*** «Сельско-хозяйственные кружки» (как их организовать и как в них работать). Рекомендована Агитпропом Сибкрайкома РКП (б.), Сибкрайкомом РЛКСМ, Метод. Бюро Сибоно, Сибземуправлением для с.-х. кружков в условиях Сибири. . Ц. 7 к.

*** «Как улучшить сибирскую корову» . . . Ц. 5 к.

*** Подготовка семян к посеву» . . . . . Ц. 5 к.

А. Поволоцкий. -«Дешевый кредит для крестьян» . . . . . Ц. 5 к.

Меретиков. — «Огородничество в условиях Сибири» . . . Ц. 30 к.

М. Лашевич. «Ближайшие задачи партии в деревне» . . . Ц. 4 к.

Открыта подписка на 1925 год

на ежемесячный журнал по вопросам хозяйства и управления Сибири и краеведения

= „ЖИЗНЬ СИБИРИ" =

ЖУРНАЛ СИБИРСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Лаврова В. М., проф. Новомбергского Н. Я. и Эпштейна Л. И

В 1925 году «ЖИЗНЬ СИБИРИ» будет выходить регулярно между 3—5 числом каждого месяца книжками по 8 печатных листов.

В журнале принимают ближайшее участие:

Алимов П., Ауэрбах Н. К., Ботвиник, Вележев Д. П., Васильев Н С, Введенский С. А. проф., Дементьев Г. П., Дмитриев Н. В., Каврайский В. А, Казанский Н. П, Кокосов И. И., Лавров В. М., Лашевич М. М, Месяцев проф., Новомбергский Н. Я. проф., Нодель С., Осипов И. И. проф., Павлуновский И. П., Певзнер А. М., Пинус В. А., Поволоцкий А. М., Розе, Сборовский Н. А, Скворцов А. А., Скурский Ф. Ф, Тамарин А. Н, Тихомиров В. Ф., Усов М. А. проф., Черемных Г. И., Эйхе Р. И., Эпштейн Л. И., Яницкий Е. И., Яковой И. В.

Вступая в четвертый год издания, „ЖИЗНЬ СИБИРИ" встретилась с необходимостью обслужить более широкий круг читателей, включив в него практических работников районных исполкомов, всех отделов уездных исполкомов, а также и низовых хозяйственных, кооперативных и профессиональных организаций.

ИДЯ НАВСТРЕЧУ ПОТРЕБНОСТЯМ НОВЫХ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СЛОЕВ,

Жизнь Сибири в 1925 году будет давать руководящий материал по всем отраслям хозяйства и управления Сибири статьями наиболее авторитетных работников краевых организаций.

Жизнь Сибири в 1925 году, оставаясь на платформе марксизма и ленинизма, будет уделять место и дискуссионным статьям, как по вопросам общей политики и экономики, так и по вопросам практической работы в отдельных отраслях жизни.

Жизнь Сибири в 1925 году будет полно и своевременно представлять динамику народного хозяйства Сибири, давая в диаграммах и сжатых статьях аналитические очерки текущих процессов и их перспектив.

Жизнь Сибири в 1925 году уделит особое внимание работе уездных и районных исполнительных комитетов, освещая и обслуживая их нужды

Жизнь Сибири в 1925 году будет выходить аккуратно между 3 и 5-м числом каждого месяца, книжками по 8 печатных листов (128 стр.).

Жизнь Сибири в 1925 году станет необходимой настольной книгой каждого практического работника Сибири. Ибо только будучи в курсе всей экономической жизни края, в курсе всех вопросов, возникающих в процессе советского строительства, можно правильно поставить свою работу.

Условия подписки:		Цена об'явлений:	
На 1 год	7 р. 50 к.	На 1 странице	100 р.
» 6 мес	4 р — к.	» 1/2 »	50 р.
» 3 мес.	2 р. — к.	» 1/4 »	25 р.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА В СИБИРИ—75 КОП.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Новониколаевск—при конторе Об'единения «Совсибири»—Красн. пр., 14, и во всех отделениях и агентствах Сибрайиздата.

Четвертый год издания.

Сибирские Огни

Художественно-литературный и научно-публицистический журнал.

Выходит один раз в два месяца.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

Ансон А., Ауэрбах Н. К., проф. Бакай Н., Басов М., Берников В., Бесединн К., Вегман В., Вайсберг, Виленский (Сибиряков), Вяткин Г., Гиндин М., Гольдберг Ис., Громов В., Данилевский Н., Диман Я., Дович В., проф. Драверт П., Дубняк Н., Ерошин И., Зазубрин В., Заводчиков В., Иванов Б., Изонги Н., Итин В., Каменев Т., Камский, Караваева А., Киржниц А., Комаров П., Кравков М., проф. Кулябко А., Лесная Лидия, Майский И., Мартынов Леонид, Минин Е., Молчанов И., Монастырский Б., Немчинов В., Несмелов А., Оленич-Гнененко А., Павлов Г., Павлуновский И., проф. Петри Б., Правдухин В., Премиров М., Пушкарев Г., проф. Пономарев, Поволоцкий А., проф. Рузский М., Сейфуллина Л., Семенов Б., Сорокин А., Смирнов И., Скуратов Мих., Сосновский Г. П., Тумаркин Д., Тихменев Ф., проф. Топорков, Урманов К., Уткин И., Федотов Н., Черемных Г., Чудинов Д., Ширямов А., Шиша А., Шумяцкий Б., Шумяцкий Я., Ямин В., Ярославский Ем. и друг.

В 1922-24 г.г. в журнале были напечатаны лучшие произведения **Л. Сейфуллиной,** повести и рассказы **Всев. Иванова, В. Зазубрина, В. Итина, К. Урманова, Г. Пушкарева, И. Гольдберга** и др.; лучшие произведения сибирских поэтов, ряд статей о былом Сибири, статьи о современной литературе, подробная библиография.

Комплект журнала за 1922 год—**5** р., с пересылкой **5** р. **50** к. Комплект журнала без № 3 и 4—**1** руб. Комплект журнала за 1923 г.—**3** р., с пересылкой—**3** р. **50** к. за 1924 г.—5 рублей с пересылкой.

Заказы направлять: Новониколаевск, Сибкрайиздат, Красный пр., № 21 и в отделения Сибкрайиздата.

Подписная плата на весь год 6 рублей с пересылкой. на полгода 3 р. 25 коп.

Прием об'явлений: страница — **60** руб., 1/2 страницы — **40** руб., 1/4 страницы — **25** рублей.

Для годовых и полугодовых особая скидка по соглашению.

1 р. 50 к.

СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НОВОНИКОЛАЕВСК.